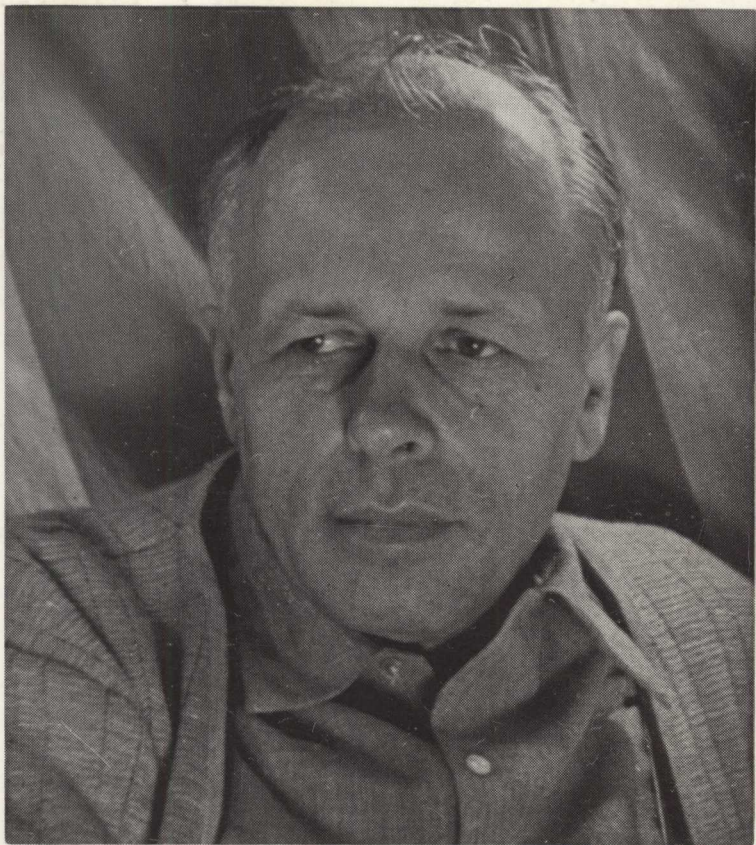


КОНТИНЕНТ 5

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ



К выдвижению на Нобелевскую премию

Главный редактор: Владимир Максимов

Заместитель главного редактора: Виктор Некрасов

Ответственный секретарь: Евгений Терновский

Редакционная коллегия:

Раймон Арон · Джордж Бейли · Сол Беллоу

Александр Галич · Ежи Гедройц

Густав Герлинг-Грудзинский

Милован Джилас · Вольф Зидлер

Эжен Ионеско · Артур Кестлер

Роберт Конквест · Наум Коржавин

Михайло Михайлов · Людек Пахман

Андрей Сахаров · Игнацио Силоне · Странник

Иозеф Чапский · Зинаида Шаховская

Александр Шмеман · Карл-Густав Штрём



КОНТИНЕНТ

**Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал**

5

**Издательство «Континент»
1975**

Мера ответственности

Первое сентября 1939 года навсегда останется в истории человечества как дата начала Второй Мировой Войны, а 17 число того же месяца для народов нашей страны и России в особенности — это еще и точка отсчета национальной вины перед польским народом. В этот день два тоталитарных режима — Востока и Запада — при циническом попустительстве свободного мира совершили одно из тяжчайших злодеяний двадцатого века — Третий разбойничий и несправедливый Раздел польского государства.

Вторая мировая война, как известно, была начата Западом во имя независимости Польши. Страна-агрессор потерпела поражение. Вроде бы, справедливость восторжествовала. Но, к сожалению, Польша так и не обрела свободы, а следовательно и все жертвы, понесенные ради этого, оказались напрасными.

Разумеется, главную ответственность за содеянное зло несет политическая мафия, осуществлявшая в ту пору кровавую диктатуру над народами нашей страны, но известно: преступления совершают люди, отвечает нация. Поэтому сегодня, оглядываясь в прошлое, мы — русские интеллигенты, с чувством горечи и покаяния обязаны взять на себя вину за все тяжкие грехи, совершенные именем России по отношению к Польше.

Убийства безвинных в Катыни, вероломное предательство Варшавского восстания сорок четвертого года, попытка подавления волнений пятьдесят шестого — все это несмываемые меты нашей общенациональной вины, загла-

дить которую — наш исторический долг и обязанность.

Но полностью осознавая свою ответственность за прошлое, мы сегодня все же с гордостью вспоминаем, что на протяжении всей, чуть ли не двухвековой борьбы Польши за свою свободу, лучшие люди России — от Герцена до Толстого — всегда были на ее стороне.

Эта благородная традиция продолжается и в наши дни. Перед лицом тиранической диктатуры происходит духовное единение наиболее представительных сил наших народов. Недаром в минуту опасности, нависающей над русскими интеллектуалами, одними из первых в их защиту поднимают свой голос польские братья. И наоборот.

Мы глубоко убеждены, что в общей борьбе против тоталитарного насилия и разрушительной лжи между нами сложится совершенно новый тип взаимоотношений, который навсегда исключит какую-либо возможность повторения ошибок и преступлений прошлого. И это для нас не слова, а кредо и принцип.

Иосиф Бродский
Андрей Волконский
Александр Галич
Наум Коржавин

Владимир Максимов
Виктор Некрасов
Андрей Синявский

Я глубоко переживаю это событие 38-летней давности — третий раздел Польши. Я надеюсь, что память об этом для двух наших народов будет основой общей ответственности за судьбу наших народов и всего человечества.

21 августа 1975 г.

А. Сахаров

ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО

Главы из второй книги романа

40

Ночью у зэка Абарчука был приступ тоски. Не той привычной и угрюмой лагерной тоски, а обжигающей, как малярия, заставляющей вскрикивать, срываться с нар, ударять себя по вискам, по черепу кулаками.

Утром, когда заключенные поспешно и одновременно неохотно собирались на работу, сосед Абарчука газовый десятник, кавалерийский комбриг времен гражданской войны, длинноногий Неутолимов спросил:

— Что это ты мотался так ночью? Баба снилась? Ржал даже.

— Тебе бы только баба, — отвечал Абарчук.

— А я думал, ты во сне плачешь, — сказал второй сосед по нарам придурак Монидзе, член президиума Коммунистического Интернационала молодежи, — я тебя разбудить хотел.

А третий лагерный друг Абарчука, фельдшер Абраша Рубин, ничего не заметил и сказал, когда они выходили в морозную тьму:

— Мне, знаешь, сегодня снился Николай Иванович Бухарин, будто он приехал к нам в Институт Красной Профессуры веселый, живой и идет дикий шум по поводу теории Енчмена.

Абарчук пришел на работу в инструментальный склад. Пока его помощник Бархатов, зарезавший ко-

гда-то с целью грабежа семью из шести человек, растапливал печь кедровыми чурками — отходами от лесопильной рамы, Абарчук перекладывал инструменты, лежавшие в ящиках. Ему казалось, что колючая острота напильников и резцов, напивавшихся обжигающим холодом, передает чувство, испытанное им ночью.

День ничем не отличался от предыдущих. Бухгалтер прислал с утра утвержденные техотделом заявки дальних лагпунктов. Надо было отобрать материалы и инструменты, упаковать их в ящики, составить сопроводительные ведомости. Некоторые посылки были не комплектны и требовалось составление особых актов.

Бархатов, как всегда, ничего не делал и заставить его работать нельзя было. Он, приходя на склад, занимался лишь вопросами питания и сегодня с утра варил в котелке суп из картофеля и капустных листьев. На минуту забежал к Бархатову профессор латыни из Харьковского фармацевтического института — посыльный при первой части, и дрожащими красными пальцами высыпал на стол немного грязного пшена. Бархатов за какие-то дела брал с него калым.

Днем Абарчука вызвали в финчасть — в отчете не сходились цифры. Замнач финчасти кричал на него, грозился написать рапорт начальнику. От этих угроз Абарчуку стало тошно. Один, без помощника, он не справлялся с работой, а пожаловаться на Бархатова он не смел. Он устал, боялся потерять работу кладовщика, попасть опять в шахту или на лесоповал. Он уж поседел, сил стало мало... Вот, наверное, и от этого охватила его тоска — жизнь ушла под сибирский лед.

Когда он вернулся из финчасти, Бархатов спал, подложив под голову валенки, видимо, принесенные ему кем-то из уголовников; рядом с его головой стоял пустой котелок, к щеке прилипло трофейное пшено.

Абарчук знал, что Бархатов иногда уносит со склада инструменты, возможно, валенки появились в результате обменных операций со складским имуществом. А когда Абарчук, однажды, недосчитавшись трех напильников, сказал:

— Как не стыдно во время Отечественной войны воровать дефицитный металл, — Бархатов ему ответил:

— Ты, вошь, молчи. А то, знаешь!

Абарчук не смел прямо будить Бархатова и стал греметь, переключивать ленточные пилы, кашлять, уронил на пол молоток. Бархатов проснулся, спокойными и недовольными глазами следил за ним.

Потом он негромко сказал:

— Малый со вчерашнего эшелона рассказал — есть лагеря хуже озерных. Эки в кандалах, полчерепа побритые. Фамилий нет, одни номера понашиты на груди, на коленях, а на спине бубновый туз.

— Брехня, — сказал Абарчук.

Бархатов мечтательно сказал:

— Надо было всех фашистов политических туда собрать, а тебя, падло, первым, чтобы не будил меня.

— Простите, гражданин Бархатов, я нарушил ваш покой, — сказал Абарчук.

Он очень боялся Бархатова, но иногда не мог справиться со своим раздражением.

В час смены на склад зашел черный от угольной пыли Неумолимов.

— Ну, как соревнование? — спросил Абарчук. — Включается народ?

— Разворачиваем. Уголек-то на военные нужды идет, — это все понимают. Плакаты сегодня из КВЧ принесли — «Поможем родине ударным трудом!»

Абарчук вздохнул, сказал:

— Знаешь, надо написать труд о лагерной тоске. Одна тоска давит, вторая наваливается, третья душит, дышать не дает. А есть такая особая, которая не

душит, не давит, не наваливается, а изнутри разрывает человека, вот как разрывает глубинных чудовищ давление океана.

Неумолимов грустно улыбнулся, но зубы его не блеснули белизной, они у него были порченные, сливались по цвету с углем.

Бархатов подошел к ним, и Абарчук, оглянувшись, сказал:

— Всегда ты так бесшумно ходишь, я вздрагиваю даже: вдруг уж ты рядом.

Бархатов, человек без улыбки, озабоченно проговорил:

— Я схожу на продсклад, не возражаешь?

Он ушел и Абарчук сказал своему другу:

— Вспомнил ночью сына от первой жены. Он, наверно, на фронт пошел.

Он наклонился к Неумолимову.

— Мне хочется, чтобы парень вырос хорошим коммунистом. Я вот думал, встречусь с ним, скажу ему: помни, судьба твоего отца случайна, мелочь. Дело партии — святое дело! Высшая закономерность эпохи!

— Он твою фамилию имеет?

— Нет, — отвечал Абарчук: — я считал, что из него вырастет мещанин.

Накануне вечером и ночью он думал о Людмиле, ему хотелось видеть ее. Он искал обрывки московских газет, вдруг прочтет: «лейтенант Анатолий Абарчук». И ему станет ясно, что сын захотел носить фамилию отца.

Впервые в жизни ему захотелось жалости к себе и он представлял, как подойдет к сыну, дыхание прервется и он покажет рукой на горло: «Не могу говорить».

Толя обнимет его, и он положит голову сыну на грудь и заплачет, без стыда, горько-горько. И они так будут долго стоять, сын выше его на голову...

Сын постоянно думал об отце. Он разыскал товарищей отца, узнал, как отец участвовал в боях за революцию. Толя скажет: «Папа, папа, ты совсем белый стал, какая у тебя худая, морщинистая шея... все эти годы ты боролся, ты вел великую, одинокую борьбу».

Во время следствия его кормили три дня соленым и не давали воды, били.

Он понял, что дело не в том, чтобы заставить его подписать показания о диверсиях и о шпионаже и не в том, чтобы он оговорил людей. Главное было в том, чтобы он усомнился в правоте дела, которому отдал жизнь. Когда шло следствие, ему казалось, что он попал в руки бандитов и стоит добиться встречи с начальником отдела и бандит-следователь будет схвачен.

Но шло время и он увидел, что дело не только в нескольких садистах.

Он узнал законы эшелона и законы арестантского пароходного трюма. Он видел, как уголовные проигрывали в карты не только чужие вещи, но и чужую жизнь. Он видел жалкий разврат, предательство. Он видел уголовную Индию, истеричную, кровавую, невероятно жестокую. Он видел страшные побоища между «суками» — работающими и «ворами» — ортодоксами, отказывающимися от работы.

Он говорил: «зря не сажают», считал, что посажена по ошибке маленькая кучка людей, в том числе и он, остальные репрессированы за дело, — меч правосудия покарал врагов революции.

Он видел угодливость, вероломство, покорность, жестокость... Он называл эти черты родимыми пятнами капитализма и считал, что их несли на себе бывшие люди, белые офицеры, кулачье, буржуазные националисты.

Его вера была непоколебима, его преданность партии — беспредельна.

Неумолимов, собираясь уходить со склада, неожиданно сказал:

— Да, забыл, ведь тебя тут один спрашивал.

— Это где же?

— Со вчерашнего эшелона. Их на работу распределяли. Один тебя спросил. Я говорю: «случайно знаю, я с ним случайно четвертый год рядом на нарах сплю». Он мне назвался, но фамилия вылетела из головы.

— А он какой по виду? — спросил Абарчук.

— Да, знаешь, плюгавенький, шрам на виске.

— Ох! — вскрикнул Абарчук, — неужели Магар?

— Во, во.

— Да это же мой старший товарищ, учитель мой, он меня в партию ввел! О чем он спрашивал? Что говорил?

— Обычное спрашивал, — какой у тебя срок? Я сказал: просил пять, получил десять. Теперь, говорю, кашлять стал, освободится досрочно.

Абарчук, не слушая Неумолимова, повторял:

— Магар, Магар... Он работал одно время в ВЧК. Это был особый человек, знаешь, особый. Всё товарищу отдаст, шинель зимой с себя снимет, последний кусок хлеба товарищу отдаст. А умен, образованный. И чистых пролетарских кровей, сын керченского рыбака.

Он оглянулся и наклонился к Неумолимову.

— Помнишь, мы говорили, коммунисты в лагере должны создать организацию, помогать партии, а Абарашка Рубин спросил: «Кого же в секретари?» Вот его.

— А я за тебя голосну, — сказал Неумолимов, — я его не знаю. Где найдешь его, — десять машин с людьми пошли на лагпункты, наверное, и он поехал.

— Ничего, найдем, ах, Магар, Магар. Значит, спрашивал обо мне?

Неумолимов сказал:

— Чуть не забыл, зачем к тебе шел. Дай мне бумаги чистой. Вот память стала.

— Письмо?

— Нет, заявление Семе Буденному. На фронт буду проситься.

— Не пустят.

— Меня Сема помнит.

— Политических в армию не берут. Вот дадут наши шахты больше угля, и за это бойцы спасибо скажут, там и твоя доля будет.

— Я в войска хочу.

— Тут Буденный не поможет. Я Сталину писал.

— Не поможет? Шутишь — Буденный! Иль тебе бумаги жалко? Я бы не стал просить, но мне в КВЧ бумаги не дают. Я свою норму использовал.

— Ладно, дам листик, — сказал Абарчук.

У него имелось немного бумаги, за которую он не должен был отчитываться. А в КВЧ бумагу давали по счету и надо было потом показывать, на что она использована.

Вечером в бараке шла обычная жизнь.

Старый кавалергард Тунгусов, моргая глазами, рассказывал бесконечную историю-роман: уголовные внимательно слушали, почесываясь, и одобрительно покачивали головами.

Тунгусов плел путаную, замысловатую баланду, всаживая в нее имена знакомых балерин, знаменитого Лоуренса, события из жизни трех мушкетеров, плавание жюль-верновского Наутилуса.

— Постой, постой, — сказал один из слушателей, — как же она перешла границу Персии, ты вчера говорил — ее лягавые отравили?

Тунгусов помолчал, кротко посмотрел на критика, потом бойко проговорил:

— Положение Надин лишь казалось безнадежным. Усилия тибетского врача, влившего в ее полу-

открытые губы несколько капель драгоценного отвара, добытого из синих высокогорных трав, вернули ей жизнь. К утру она настолько оправилась, что могла передвигаться по комнате без посторонней помощи. Силы возвращались к ней.

Объяснение удовлетворило слушателей.

— Ясно... дуй дальше, — сказали они.

В углу, который назывался «колхозный сектор», хохотали, слушая старого глупостника, немецкого старосту Гасюченко, нараспев говорящего похабные частушки:

— Гоп сыдор, макотер
Дид на печке...

Дальше шли такие рифмы, что слушатели изнемогали от смеха. Страдающий от грыжи московский журналист и писатель, добрый, умный и робкий человек, медленно жевал белый сухарь — он накануне получил посылку от жены. Видимо, вкус и хруст сухарей напоминал ему прошлую жизнь — в глазах его стояли слезы.

Неумолимов спорил с танкистом, попавшим в лагерь за убийство из низменных побуждений. Танкист развлекал слушателей и глумился над кавалерией, а Неумолимов, бледный от ненависти, говорил ему:

— Мы своими клинками, знаешь, чего делали в двадцатом?

— Знаю, — кур ворованных кололи. Одна машина КВ всю первую конную завернуть может. Вы гражданскую войну с отечественной не сравнивайте.

Молодой вор Колька Угаров приставал к Абраше Рубину, уговаривал его сменять ботинки на рваные, с оторванными подошвами тапочки.

Рубин, чуя беду, нервно зевал, оглядывался на соседей, ища поддержки.

— Смотри, жид, — говорил похожий на одноглазого дикого кота Колька, — смотри, падло, ты мне последние нервы треплешь.

Потом Угаров сказал:

— Почему ты мне освобождения не подписал от работы?

— Ты ведь здоров, я не имею права.

— Не подпишешь?

— Коля, милый, клянусь тебе, я бы с радостью, но не могу.

— Не подпишешь?

— Ну пойми. Неужели ты думаешь, если б я мог...

— Ладно. Все.

— Постой, постой, пойми меня.

— Я понял. Теперь ты поймешь.

Обрусевший швед Штеддинг, о нем говорили, что он действительно шпион, отрываясь на миг от картины, которую он рисовал на куске картона, выданного ему в культурно-воспитательной части, поглядел на Кольку, на Рубина, покачал головой и снова обратился к картине. Картина называлась «Тайга ма-тушка». Штеддинг не боялся уголовных — они почему-то не трогали его.

Когда Колька отошел, Штеддинг сказал Рубину:

— Безумно ведете себя, Абрам Ефимович.

Не боялся уголовных и белорус Конашевич, он до лагеря был авиационным механиком на Дальнем Востоке, завоевал в тихоокеанском флоте звание чемпиона по боксу в полутяжелом весе. Конашевича уголовные уважали, но он никогда не вступался за тех, кого воры обижали.

Абарчук медленно шел по узкому проходу между двухэтажными нарами-крестами, тоска вновь охватила его. Дальний конец стометрового барака тонул в махорочном тумане и каждый раз казалось, что дойдя до барачного горизонта Абарчук увидит новое, но

было все то же, — тамбур, где под деревянными желобами-умывальниками стирали портянки заключенные; прислоненные к штукатуреной стене швабры, крашенные ведра, матрасики на нарах, набитые вылезавшими сквозь мешковину стружками, ровный гул разговоров, испытые, все под один цвет, лица заключенных.

Большинство эзков, ожидая вечернего отбоя, сидели на нарах, говорили о супе, о бабах, о нечестности хлеборежа, о судьбе своих писем Сталину и заявлений в Прокуратуру СССР, о новых нормах для отбойки и откатки угля, о сегодняшнем морозе, о завтрашнем морозе.

Абарчук шел медленно, слушая обрывки разговоров, — и казалось, все одна и та же нескончаемая беседа длится годами среди тысяч людей на этапах, в эшелонах, в лагерных бараках: у молодых — о бабах, у старых — о еде. Особенно было нехорошо, когда о женщинах жадно говорили старики, а о вкусной вольной еде — молодые ребята.

Проходя мимо нар, где сидел Гасюченко, Абарчук ускорил шаги: старый человек, чью жену дети и внуки зовут «мама», «бабушка», нес такое, что страшно делалось.

Скорей бы отбой, — лечь на нары, закрыть голову ватником, не видеть, не слышать.

Абарчук посмотрел на дверь — вот войдет Магар. Абарчук уговорит старосту, их положат рядом и ночами они будут беседовать — откровенно, искренно — два коммуниста, учитель и ученик, члены партии.

На нарах, где размещались хозяева барака, — бригадир угольной бригады Перекрест, Бархатов, староста барака Зароков, — устроили пирушку. Шестерка — перекрестовский холуй плановик Желябов — постелил на тумбочку полотенце, раскладывал сало, селедку, пряники — калым, полученный Перекрестом с тех, кто работал в его бригаде.

Абарчук прошел мимо хозяйских нар, чувствуя, как замирает сердце: вдруг окликнут, позовут. Очень хотелось поесть вкусенького. Подлец Бархатов! Ведь делает всё, что хочет, на складе, ведь Абарчук знает, что он ворует гвозди, украл три напильника, но ни слова не заявил на вахте... мог бы подозвать: эй, заведующий, присядь с нами. И, презирая себя, Абарчук чувствовал, что не только желание поесть, но и другое чувство волнует его, — мелкое и подлое лагерное чувство. Побывать в кругу сильных, по-простому разговаривать с Перекрестом, перед которым трепетал весь огромный лагерь.

И Абарчук подумал о себе: падло. И тут же думал о Бархатове: падло.

Его не позвали, позвали Неумолимова и, улыбаясь коричневыми зубами, пошел к нарам кавалерийский комбриг, кавалер двух орденов Красного Знамени. Улыбающийся человек, подходивший к воровскому столу, двадцать лет тому назад вел в бой кавалерийские полки добывать мировую коммуны...

Зачем он говорил Неумолимову сегодня о Толе, о самом своем дорогом.

Но ведь и он шел в бой за коммуны, и он из своего кабинета на кузбасской стройке рапортовал Сталину, и он волновался, окликнут ли его, когда потупившись, с деланно безразличным лицом, проходил мимо тумбочки, покрытой вышитым, грязным полотенцем.

Абарчук подошел к нарам Монидзе, тот штопал носок и сказал:

— А мне сегодня Перекрест сказал: «Имей в виду, кацо, дам тебе кулаком по черепу, доложу на вахте и мне благодарность будет, — ты последний изменник».

Абраша Рубин, сидевший на соседних нарах, сказал:

— И не это самое плохое.

— Да, да, — сказал Абарчук, — видел, как комбриг обрадовался, когда его позвали?

— А ты огорчился, что не тебя позвали? — сказал Рубин.

Абарчук с той особой ненавистью, которая рождается болью от справедливого упрека и подозрения, сказал:

— Читай свою душу, а в мою не лезь.

Рубин по-куриному полузакрыв глаза:

— Я? Я даже огорчаться не смею. Я низшая секта, неприкасаемый. Слышал мой разговор с Колькой?

— Не то, не то, — отмахнулся Абарчук, встал и вновь зашагал в сторону тамбура, по проходу между нарами, и вновь до него доходили слова длинной, не имеющей конца беседы.

— Борщ со свининкой и в будни и в праздники.

— У нее грудь, ты не поверишь.

— А я по-простому — баранину с кашей, зачем мне майонезы, граждане.

Он снова вернулся к нарам Монидзе, присел, прислушался к разговору.

Рубин говорил:

— Я не понял его, — почему он сказал: «станешь композитором». А это он имел в виду стукачей — пишут оперу, ну, оперуполномоченному.

Монидзе, продолжая штопать, сказал:

— Ну его к черту, стучать последнее дело.

— Как, стучать? — сказал Абарчук. — Ты ведь коммунист.

— Такой же, как ты, — ответил Монидзе, — бывший.

— Я не бывший, — сказал Абарчук, — и ты не бывший.

И опять Рубин обозлил его, высказав справедливое подозрение, которое всегда оскорбительней и тяжелее несправедливого.

— Тут дело не в коммунизме. Надоели кукурузные помои три раза в день. Я этот суп видеть не могу. Это — за. А против — не хочется, чтобы ночью сделали темную, а утром нашли, как Орлова, в уборной, спущенным в очко. Слышал мой разговор с Колькой Угаровым?

— Головой вниз, ногами вверх! — сказал Монидзе и стал смеяться, должно быть потому, что смеяться было нечему.

— Ты что ж, считаешь, мной руководят животные инстинкты? — спросил Абарчук и почувствовал истерическое желание ударить Рубина.

Он снова сорвался с места и пошел по барaku.

Конечно, надоела кукурузная болтушка. Сколько уж дней он гадает о грядущем обеде в день октябрьской революции: рагу из овощей, макаронны по-флотски, запеканка?

Конечно, от оперуполномоченного многое зависит, и таинственны, туманны дорожки к высотам жизни, — зав. баней, хлеботорез. Ведь он может работать в лаборатории, — белый халат, заведующая вольнонаемная, не зависеть от уголовных, он может работать в плановом отделе, заведовать шахтой... Но Рубин неправ. Рубин хочет унижить, Рубин подрывает силу, ищет в человеке то, что воровски прокрадывается из подсознания. Рубин — диверсант.

Всю жизнь Абарчук был непримиримым к оппортунистам, ненавидел двурушников и социально чуждых.

Его душевная сила, его вера были в право собственного суда. Он усомнился в жене и расстался с ней. Он не поверил, что она воспитает сына непоколебимым борцом, и он отказал сыну в своей фамилии. Он клеймил тех, кто колебался, презирал нытиков и проявляющих слабость маловверов. Он предавал суду итерверовцев, тосковавших в Кузбассе по московским семьям. Он засудил сорок социально неясных рабочих, по-

давшихся со стройки в деревни. Он отрекся от мещанина-отца.

Сладко быть непоколебимым. Совершая суд, он утверждал свою внутреннюю силу, свой идеал, свою чистоту. В этом была его утеха, его вера. Он ни разу не уклонился от партийных мобилизаций. Он добровольно отказался от партмаксимума. В его самоотречении было его самоутверждение. В своей неизменной гимнастерке и сапогах он ходил на работу, на заседания коллегии наркомата, в театр, гулял в Ялте по набережной, когда партия послала его лечиться. Он хотел походить на Сталина.

Теряя право судить, он терял себя. И Рубин чувствовал это. Почти каждый день он намекал на слабости, на трусость, на жалкие желания, прокрадывающиеся в лагерную душу.

Позавчера он сказал:

— Бархатов снабжает складским металлом шпану, а наш Робеспьер молчит. Цыпленки тоже хотят жить.

Когда Абарчук, готовясь осудить кого-нибудь, ощущал, что он и сам подсуден, начинал колебаться, его охватывало отчаяние, он терял себя.

Абарчук остановился у нар, где старый князь Долгорукий говорил с молодым профессором экономического института Степановым. Степанов вел себя в лагере надменно, отказывался вставать, когда в барак входило начальство, открыто высказывал несоветские взгляды. Он гордился тем, что, в отличие от массы политических заключенных, сидел за дело: написал статью под заголовком «Государство Ленина-Сталина» и давал ее читать студентам. Не то третий, не то четвертый читатель донес на него.

Долгорукий вернулся в Советский Союз из Швеции. До Швеции он долго жил в Париже и стосковался по родине. Через неделю после возвращения он был

арестован. В лагере он молился, дружил с сектантами и писал стихи мистического содержания.

Сейчас он читал Степанову стихи.

Абарчук, опершись плечом на перекрашенные доски, набитые между нарами первого и второго этажа, послушал чтение. Долгорукий, полузакрыв глаза, читал дрожащими, потрескавшимися губами. И негромкий голос его был дрожащий и потрескавшийся.

— Я не сам ли выбрал час рожденья,
Год и область, царство и народ,
Чтоб пройти все муки и крещенья
Совести, огня и вод.
Апокалипсическому зверю
Вверженный в зияющую пасть,
Павший ниже, чем возможно пасть,
В гноище и смраде, — верю!
Верю в правоту верховных сил,
Расковавших древние стихи,
И из недр обугленной России
Говорю: ты прав, что так судил!
Надо до алмазного закала
Прокалить всю толщу бытия,
Если ж дров в плавильной печи мало,
Господи, вот плоть моя!

Окончив чтение, он продолжал сидеть с полузакрытыми глазами, и губы его продолжали беззвучно шевелиться.

— Мура, — сказал Степанов, — декадентство.

Долгорукий показал бледной, бескровной рукой вокруг себя.

— Вы видите, куда привели русских людей Чернышевский и Герцен. Помните, что писал Чаадаев в своем третьем философическом письме?

Степанов учительским тоном сказал:

— Вы в своем мистическом мракобесии мне так же противны, как и организаторы этого лагеря. И вы

и они забываете о третьем, самом естественном пути России: пути демократии, свободы.

Абарчук уже не раз спорил со Степановым, но теперь ему не хотелось вмешиваться в разговор, клеймить в Степанове врага, внутреннего эмигранта. Он прошел в угол, где молились баптисты, послушал их бормотанье.

В это время раздался зычный голос старосты Заорокова:

— Встать!

Все повскакивали с мест, — в барак вошло начальство. Скосив глаза, Абарчук видел бледное длинное лицо стоявшего руки по швам фитиля-доходяги Долгорукого, губы его шептали. Он, вероятно, повторял свои стихи. Рядом сидел Степанов, он, как всегда, из анархических побуждений, не подчинялся разумным правилам внутреннего распорядка.

— Шмон, шмон, — шептали заключенные.

Но обыска не было. Два молодых конвойных солдата в красно-синих фуражках прошли меж нарами, оглядывая заключенных.

Поравнявшись со Степановым, один из них сказал:

— Сидишь, профессор, попу боишься простудить.

Степанов, повернув свою курносую, широкую морду, громким голосом попугая ответил заученную фразу:

— Гражданин начальник, прошу обращаться ко мне на «вы», я являюсь политическим заключенным.

Ночью в бараке произошло ЧП — был убит Рубин.

Убийца приставил к его уху, во время сна, большой гвоздь и затем сильным ударом вогнал гвоздь в мозг. Пять человек, в том числе Абарчук, были вызваны к оперуполномоченному. Опера, видимо, интересовало происхождение гвоздя. Такие гвозди недавно поступили на склад, и с производства на них еще не было требований.

Во время умывания Бархатов стал у деревянного желоба рядом с Абарчуком. Повернув к нему свое мокрое лицо, Бархатов, слизывая капли воды с губ, тихо сказал:

— Запомни, падло, если стукнешь оперу, — мне ничего не будет. А тебя пришью в эту же ночь, да так, что лагерь содрогнется.

Вытеревшись полотенцем, он заглянул своими спокойными, промытыми глазами в глаза Абарчука и, прочтя в них то, что хотел прочесть, пожал Абарчуку руку.

В столовой Абарчук отдал Неумолимову свою миску кукурузного супа.

Неумолимов дрожащими губами сказал:

— Вот зверь. Абрашу нашего! Какой человек! — и придвинул к себе абарчуковский суп.

Абарчук молча встал из-за стола.

При выходе из столовой толпа расступилась, в столовую шел Перекрест. Переступая порог, он нагнулся, лагерные потолки не были рассчитаны на его рост.

— Сегодня у меня рождение. Приходи гулять. Водочки выпьем.

Абарчук устало кивнул головой. Угроза Бархатова тяжело оседала в нем, рождая одновременно и безучастность, и лихорадочную тревогу.

Вскоре Абарчука вызвали к оперу.

Капитан Мишанин сидел за столом и безо всякого интереса взглянул на Абарчука. На его простоватом, крестьянском лице сильно выделялся недобрый прищур голубовато-пустых глаз.

Продолговатыми крепкими пальцами вертя длинный гвоздь, опер спросил:

— Ну что, заключенный, может, вы знаете, как со склада разлетелись гвозди? — И лениво ухмыльнувшись своим словам, умолк.

Похоже, он не торопился с расспросами, понимая, что многоопытный заключенный, боясь неминуемой расправы, никогда не скажет, каким образом гвозди попали в руки убийцы, и несколько мгновений смотрел на Абарчука.

Абарчук тоже смотрел на него, разглядывал молодое лицо капитана, его волосы и брови, веснушки на носу и думал, что капитан старше его сына не больше, чем на два-три года.

Капитан задал вопрос, тот, ради которого вызвал Абарчука, вопрос, на который уже не ответили трое допрошенных.

Абарчук некоторое время молчал.

— Вы что, глухой?

Абарчук продолжал молчать.

Как хотелось ему, чтобы оперуполномоченный, не открыто и искренно, а лишь применяя установленный следствием прием, сказал: «Слушай, товарищ Абарчук, ведь ты коммунист. Сегодня ты в лагере, а завтра мы с тобой будем в одной организации членские взносы платить. Помоги мне, как товарищ товарищу, как члену партии».

Но капитан Мишанин сказал:

— Заснули, что ли, так я вас сейчас разбужу.

Но Абарчука не надо было будить.

Осипшим голосом он сказал:

— Гвозди воровал со склада Бархатов. Он взял недавно со склада три напильника. Убийство, по-моему, совершил Угаров. Я знаю, что Бархатов передал ему гвозди, а тот несколько раз грозил убить. И вчера обещал: Рубин не подписал ему освобождение по болезни.

Затем он взял протянутую ему папиросу и сказал:

— Я считаю своим партийным долгом заявить вам об этом, товарищ оперуполномоченный. Товарищ Рубин — старый член партии.

Капитан Мишанин дал ему прикурить и начал быстро, молча писать. Потом он сказал мягким голосом:

— Вы должны знать, заключенный, — ни о каком партийном членстве вам говорить не полагается. Вам запрещено обращение — товарищ. Я для вас гражданин начальник.

— Виноват, гражданин начальник, — сказал Абарчук.

Мишанин сказал ему:

— Деньков несколько, пока я не закончу дознания, у вас тут порядок будет. А потом, знаете. Можно вас перевести в другой лагерь.

— Нет, я не боюсь, гражданин начальник, — сказал Абарчук.

Он шел на склад, зная, что Бархатов его ни о чем не спросит. Бархатов неотступно будет глядеть на него, вытянет правду, следя за его движениями, взглядами, покашливаниями...

Он был счастлив, он победил себя.

Он вновь обрел право суда. И вспоминая Рубина, Абарчук жалел, что не может высказать ему того плохого, что думал о нем вчера.

Прошло три дня, а Магар не появлялся. Абарчук спрашивал о нем в управлении шахт, ни в одном из списков знакомые Абарчуку писаря не нашли фамилии Магара.

Вечером, когда Абарчук понял, что судьба их развела, пришел в барак занесенный снегом санитар Трюфелев и, выдирая ледяшки из ресниц, сказал Абарчуку:

— Слышите, тут к нам в санчасть поступил один заключенный, просил вас прийти до него.

Трюфелев добавил:

— Давай, лучше сейчас тебя проведу. Отпросись у старосты, а то знаешь, в наших зэках сознательности никакой — накроется в два счета, агитируй его, когда наденет деревян бушлат.

41

Санитар привел Абарчука в больничный коридор, пахнувший своим особым, отличным от бараков, плохим запахом. Они прошли в полутьме мимо наваленных деревянных носилок и связанных в тюки старых ватников, видимо, дожидаящихся дезинфекции.

Магар лежал в изоляторе — камерке с бревенчатыми стенами, где почти вплотную одна к другой стояли две железные кровати. В изолятор обычно клали либо больных инфекционными заболеваниями, либо доходяг-умирающих. Тоненькие ножки кроватей казались проволочными, но они не были погнуты, полнотелые люди никогда не лежали на этих кроватях.

— Не сюда, не сюда, правей, — раздался голос, настолько знакомый, что Абарчуку показалось — нет седины, нет неволи, а снова то, чем жил и ради чего счастлив был отдать жизнь.

Он, вглядываясь в лицо Магара, исступленно, медленно сказал:

— Здравствуй, здравствуй, здравствуй...

Магар, боясь не справиться с волнением, произнес нарочито буднично:

— Да садись, садись прямо против меня на койку.

И видя взгляд, которым Абарчук поглядел на соседнюю койку, добавил:

— Ты его не потревожишь, его уж никто не потревожит.

Абарчук наклонился, чтобы лучше видеть лицо товарища, потом снова оглянулся на прикрытого покойника:

— Давно он?

— Часа два назад умер, санитары его не тревожат пока, ждут врача, это лучше, а то положат другого, живой говорить не даст.

— Это верно, — сказал Абарчук и не задал вопросы, страстно интересующие его: — «Ну как, ты с Бубновым проходил, или по делу Сокольников? А срок какой у тебя? Ты был во Владимирском или Суздальском политизоляторе? Особое совещание или военная коллегия? Ты подписал на себя?»

Он оглянулся на прикрытое тело, спросил:

— А кто он, отчего умер?

— Умер от лагеря, раскулаченный. Звал какую-то Настю, все хотел уходить куда-то...

Абарчук постепенно различил в полумраке лицо Магара. Он не узнал бы его, какое уж там не изменился — умирающий старик!

Чувствуя спиной прикосновение твердой, согнутой в локте, руки покойника, ощущая на себе взгляд Магара, он подумал: «Тоже, наверно, считает: в жизни б не узнал».

А Магар сказал:

— Я только сейчас понял, — он все бубнил что-то вроде — би... би... би... би, а это он просил: «пить, пить» — кружка рядом, хоть бы выполнил его последнюю волю.

— Видишь, мертвый тоже вмешивается.

— А это понятно, — сказал Магар, и Абарчук услышал знакомую, всегда волновавшую его интонацию: так обычно Магар начинал серьезный разговор. — Ведь говорим о нем, а разговор о себе.

— Нет, нет! — Абарчук, поймав горячую ладонь Магара, сжал ее, обнял его за плечи, затрясся от беззвучного рыдания, задохнулся.

— Спасибо тебе, — бормотал он, — спасибо тебе, спасибо, товарищ, друг.

Они молчали, оба тяжело дыша. Их дыхание смешивалось в одно, и Абарчуку казалось, что не только дыхание их слилось.

Магар заговорил первый.

— Слушай, — сказал он, — слушай, друг, я тебя так в последний раз называю.

— Брось ты, ты будешь жить! — сказал Абарчук.

Магар сел на постели.

— Как пытки не хочу, но должен сказать. А ты слушай, — сказал он покойнику, — это тебя касается, твоей Насти. Это мой последний революционный долг, и я его выполняю! Ты, товарищ Абарчук, особая натура. Да и встретились мы когда-то в особое время, — мне кажется, наше лучшее время. Вот я скажу тебе... Мы ошиблись. Наша ошибка вот к чему привела — видишь... мы с тобой должны просить прощения у него. Дай-ка мне закурить. Да какое уж там каяться. Сего не искупишь никаким покаянием. Это я хотел сказать тебе. Раз. Теперь два. Мы не понимали свободы. Мы раздавили ее. И Маркс не оценил ее: она основа, смысл, базис под базисом. Без свободы нет пролетарской революции. Вот два — и слушай, три. Мы проходим через лагерь, тайгу, но вера наша сильнее всего. Не сила это — слабость, самосохранение. Там, за проволокой, самосохранение велит людям меняться, иначе они погибнут, попадут в лагерь — и коммунисты создали кумира, погоны надели, мундиры, исповедуют национализм, на рабочий класс подняли руку, надо будет, дойдут до черносотенства... А здесь, в лагере, тот же инстинкт им велит не меняться — если не хочешь покрыться деревянбушлатом, то не меняйся в лагерные десятилетия... Две стороны медной монетки...

— Перестань! — крикнул Абарчук и поднес к лицу Магара сжатый кулак. — Тебя сломали! Ты не вынес! То, что ты сказал, — ложь, бред.

Электрическая машина ведет математические расчеты, запоминает исторические события, играет в шахматы, переводит книги с одного языка на другой. Она превосходит человека в способности быстро решать математические задачи, память ее безупречна.

Есть ли предел прогресса, создающего машину по образу и подобию человека? Видимо, нет этого предела.

Можно представить себе машину будущих веков и тысячелетий. Она будет слушать музыку, оценивать живопись, сама рисовать картины, создавать мелодии, писать стихи.

Есть ли предел ее совершенству? Сравнится ли она с человеком, превзойдет ли его?

Все нового и нового роста электроники, веса и площадей будет требовать воспроизведение машиной человека.

Воспоминание детства... слезы счастья... горечь разлуки... любовь к свободе... жалость к больному щенку... мнительность... материнская нежность... мысли о смерти... печаль... дружба... любовь к слабым... внезапная надежда... счастливая догадка... грусть... беспричинное веселье... внезапное смятение...

Все, все воссоздаст машина! Но ведь площади всей земли не хватит для того, чтобы разместить машину, все увеличивающуюся в размере и весе, по мере того как она будет воссоздавать особенности разума и души среднего, незаметного человека.

Фашизм уничтожил десятки миллионов людей.

В просторном, светлом и чистом доме в лесной уральской деревне командир танкового корпуса Новиков и комиссар Гетманов заканчивали просмотр доне-

сений командиров бригад, получивших приказ о выходе из резерва.

Бессонная работа последних дней сменилась тихим часом.

Новикову и его подчиненным, как и всегда в подобных случаях, казалось, что им не хватило времени для полного овладения учебными программами. Но кончилась эпоха учения, овладения режимом работы моторов и ходовой части, артиллерийской техникой, оптикой, радиооборудованием; кончились тренировки в управлении огнем, оценке, выборе и распределении целей, выборе способа стрельбы, определении момента открытия огня, наблюдении разрывов, внесении поправок, смене целей.

Новый учитель — война — быстро подучит, подтянет отстающих, заполнит пробелы.

Гетманов потянулся к шкафику, стоявшему в простенке между окнами, постучал по нему пальцем и сказал:

— Эй, друг, выходи на передний край.

Новиков открыл дверцу шкафа, вынул бутылку коньяка и налил два синеватых толстых стаканчика.

Комиссар корпуса, раздумывая, произнес:

— Кого же нам славить?

Новиков знал, за кого полагалось выпить, потому Гетманов и спросил, «за кого пить».

Мгновенье поколебавшись, Новиков сказал:

— Давайте, товарищ комиссар корпуса, выпьем за тех, кого мы с вами в бой поведем, пусть воюют малой кровью.

— Правильно, — прежде всего забота о вверенных кадрах, — проговорил Гетманов, — выпьем за наших хлопцев!

Они чокнулись, выпили.

Новиков с торопливостью, которую не мог скрыть, вновь налил рюмки и произнес:

— За товарища Сталина! За то, чтобы оправдать его доверие.

Он видел скрытую усмешку в ласковых, внимательных глазах Гетманова и, сердясь на себя, подумал: «Эх, заспешил».

Гетманов добродушно сказал:

— Что ж, ладно, за старичка, за батьку нашего. Доплыли до волжской воды под его водительством.

Новиков посмотрел на комиссара, но что прочтешь на толстом, скуластом, улыбающемся лице умного сорокалетнего человека с прищуренными, веселыми и недобрыми глазами.

Гетманов вдруг заговорил о начальнике штаба корпуса генерале Неудобнове.

— Славный, хороший человек. Большевик. Сталинец настоящий. Большой опыт руководящей работы. Выдержка большая. Я его помню по тридцать седьмому году. Его Ежов прислал произвести расчистку в Военном округе, а я, знаете, в ту пору сам не яслями заведовал. Но уж он поработал. Не дядя, а топор, по списку в расход пускал, не хуже Ульриха Василь Васильича, оправдал доверие Николая Ивановича. Надо, надо его сейчас пригласить, а то еще обидится.

В тоне его как будто слышалось осуждение борьбы с врагами народа, борьбы, в которой, как знал Новиков, Гетманов участвовал. И снова Новиков глядел на Гетманова и не мог понять его.

— Да, — сказал медленно и неохотно Новиков, — кое-кто наломал в ту пору дров.

Гетманов махнул рукой.

— Пришла сегодня сводка генштабовская, жуткая: немец к Эльбрусу подходит, в Сталинграде спихивают наших в воду. И я прямо скажу, в этих делах есть наша доля, — по своим стреляли, перемолотили кадры.

Новиков внезапно ощутил прилив доверия к Гетманову, сказал:

— Да уж, ребята эти загубили замечательных людей, товарищ комиссар, много беды в армии натворили. Вот комкору Криворучко глаз на допросе выбили, а он следователю чернильницей башку разбил.

Гетманов сочувственно кивал и проговорил:

— Неудобнова нашего Лаврентий Павлович очень ценит. А уж Лаврентий Павлович в людях не ошибется, умная головушка, ох, умная.

— Да, да, — протяжно подумал, не проговорил Новиков.

Они помолчали, прислушиваясь к негромким, шипящим голосам из соседней комнаты.

— Врешь, это наши носки.

— Как ваши, товарищ лейтенант, да вы что, опупели окончательно, — и тот же голос добавил, уже переходя на «ты», — куда кладешь, не трогай, это наши подворотнички.

— На-ка, товарищ младший политрук, какие же они ваши — смотри. — Это адъютант Новикова и порученец Гетманова разбирали белье своих начальников после стирки.

Гетманов проговорил:

— Я их, чертей, все время наблюдаю. Шли мы с вами, а они сзади идут, на стрельбах, в батальоне у Фатова. Я по камушкам перешел через ручей, а вы перескочили и ногой дрыгнули, чтоб грязь сбить. Смотрю — мой порученец перешел по камушкам через ручей, а ваш лейтенант скокнул и ногой дрыгнул.

— Эй, волки, потише ругайтесь, — сказал Новиков и голоса по соседству сразу смолкли.

В комнату вошел генерал Неудобнов, бледный человек с большим лбом и густыми, сильно поседевшими волосами. Он оглядел рюмки, бутылку, положил на стол пачку бумаг и спросил Новикова:

— Как нам быть, товарищ полковник, с начальником штаба во второй бригаде? Михалев вернется через полтора месяца, я получил письменное заключение из окружного госпиталя.

— Да уж какой он начальник штаба без кишки и без куска желудка, — сказал Гетманов и налил в стакан коньяку, поднес Неудобнову. — Выпейте, товарищ генерал, пока кишки на месте.

Неудобнов приподнял брови, вопросительно посмотрел светло-серыми глазами на Новикова.

— Прошу, товарищ генерал, прошу, — сказал Новиков.

Его раздражала манера Гетманова чувствовать себя всегда хозяином, убежденным в своем праве многословно высказываться на совещаниях по техническим вопросам, в которых он ничего не смыслил. И так же уверенно, убежденный в своем праве, Гетманов мог угощать чужим коньяком, укладывать гостя отдыхать на чужой койке, читать на столе чужие бумаги.

— Пожалуй, майора Басангова временно назначим, — сказал Новиков, — он командир толковый, участвовал в танковых боях еще под Новоград-Волынским. Возражений нет у бригадного комиссара?

— Возражений, конечно, нет, — сказал Гетманов, — какие у меня могут быть возражения... Но соображения есть, — замкомандира второй бригады, полковник — армянин, начальник штаба у него будет калмык, добавьте — в третьей бригаде начальником штаба подполковник Лифшиц. Может быть, мы без калмыка обойдемся?

Он посмотрел на Новикова, потом на Неудобнова.

Неудобнов проговорил:

— По-житейски все это верно, от сердца говоря, но ведь марксизм дал нам другой подход к данному вопросу.

— Важно, как данный товарищ немца воевать будет, вот в чем мой марксизм, — проговорил Новиков, — а где дед его Богу молился — в церкви, в мечети... — он подумал и добавил: — или в синагоге, мне все равно... Я так считаю: самое главное на войне — стрелять.

— Вот, вот, именно, — весело проговорил Гетманов. — Зачем же нам в танковом корпусе устраивать синагогу или какую-то там еще молельню. Все же мы Россию защищаем. — Он вдруг нахмурился и зло сказал: — Скажу вам по правде, хватит! Тошнит прямо! Во имя дружбы народов всегда мы жертвуем русскими людьми. Нацмен еле в азбуке разбирается, а мы его в наркомы выдвигаем. А нашего Ивана, пусть он семи пядей во лбу, сразу по шапке, уступай дорогу нацмену! Великий русский народ в нацменьшинство превратили. Я за дружбу народов, но не за такую. Хватит!

Новиков подумал, посмотрел бумаги на столе, постучал по рюмке ногтем и сказал: — Я, что ли, зажимаю русских людей из особых симпатий к калмыцкой нации, — и, повернувшись к Неудобнову, проговорил: — Что ж, давайте приказ, майора Сазонова — врио начальника штаба второй бригады.

Гетманов негромко произнес:

— Отличный командир Сазонов.

И снова Новиков, научившийся быть грубым, властным, жестким, ощутил свою неуверенность перед комиссаром... «Ладно, ладно, — подумал он, утешая самого себя: — Я в политике не понимаю. Я пролетарский военспец. Наше дело маленькое: немцев раскокать».

Но хоть он и посмеивался в душе над неучем в военном деле Гетмановым, неприятно было сознавать свою робость перед ним.

Этот человек с большой головой, со спутанными волосами, невысокий, но широкоплечий, с большим

животом, очень подвижный, громкоголосый, смешливый, был неутомимо деятелен.

Хотя на фронте он никогда не был, в бригадах о нем говорили: «Ох, и боевой у нас комиссар».

Он любил устраивать красноармейские митинги: речи его нравились, говорил он просто, много шутил, употреблял иногда довольно-таки крепкие, грубые слова.

Ходил он с перевалочкой, обычно опираясь на палку, и если зазевавшийся танкист не приветствовал его, Гетманов останавливался перед ним и, опираясь на знаменитую палку, снимал фуражку и низко кланялся, наподобие деревенского деда.

Он был вспыльчив и не любил возражений; когда с ним спорили, он сопел и хмурился, а однажды пришел в злость, замахнулся и, в общем, в некотором роде наддал кулаком начальника штаба полка капитана Губенкова, человека упрямого и, как говорили о нем товарищи, «жутко принципиального».

Об упрямом капитане с осуждением говорил порученец Гетманова: «Довел, чёрт, нашего комиссара».

У Гетманова не было почтения к тем, кто видел тяжелые первые дни войны. Как-то он сказал о любимце Новикова, командире первой бригады Макарове:

— Я из него вышибу философию сорок первого года!

Новиков промолчал, хотя он любил поговорить с Макаровым о жутких, чем-то влекущих первых днях войны.

В смелости, резкости своих суждений Гетманов, казалось, был прямо противоположен Неудобнову.

Но оба эти человека при всей своей несхожести были объединены какой-то прочной общностью.

Новикову становилось тоскливо от невыразительного, но внимательного взгляда Неудобнова, от его овальных фраз, всегда неизменно спокойных слов.

А Гетманов, похохатывая, говорил:

— Наше счастье, что немцы мужику за год опротивели больше, чем коммунисты за двадцать пять лет.

То вдруг усмехался:

— Чего уж, папаша наш любит, когда его называют гениальным.

Эта смелость не заражала собеседника, наоборот, поселяла тревогу.

До войны Гетманов руководил областью, выступал по вопросам производства шамотного кирпича и организации научно-исследовательской работы в филиале угольного института, говоря и о качестве выпечки хлеба на городском хлебозаводе, и о неверной повести «Голубые огни», напечатанной в местном альманахе, и о ремонте тракторного парка, и о низком качестве хранения товаров на базах Облторга, и о эпидемии куриной чумы на колхозных птицефермах.

Теперь — уверенно говорил о качестве горючего, о нормах износа моторов и о тактике танкового боя, о взаимодействии пехоты, танков и артиллерии при прорыве долговременной обороны противника, о танках на марше, о медицинском обслуживании в бою, о радиошифре, о воинской психологии танкиста, о своеобразии отношений внутри каждого экипажа и экипажей между собой, о первоочередном и капитальном ремонте, об эвакуации с поля боя поврежденных машин.

Как-то Новиков и Гетманов в батальоне капитана Фатова остановились возле машины, занявшей первое место на корпусных стрельбах.

Командир танка, отвечая на вопросы начальства, незаметно проводил ладонью по броне машины.

Гетманов спросил у танкиста, трудно ли ему было добиться первого места. И тот, вдруг оживившись, сказал:

— Нет, чего ж трудно. Уж очень я полюбил ее. Как приехал из деревни в школу, увидел и сразу полюбил ее до невозможности.

— Любовь с первого взгляда, — сказал Гетманов и рассмеялся, и в его снисходительном смехе было что-то осуждающее смешную любовь паренька к машине.

Новиков почувствовал в эту минуту, что и он, Новиков, плох, и он ведь умеет по-глупому любить. Но об этой способности любить по-глупому не хотелось говорить с Гетмановым и, когда тот, став серьезным, назидательно сказал танкисту:

— Молодец, любовь к танку — великая сила. Поэтому ты и добился успеха, что полюбил свою машину, — Новиков насмешливо проговорил:

— А за что его, собственно, любить? Цель он крупная, поразить его легче легкого, шумит, как дурной, сам себя демаскирует, и экипаж балдеет от шума. В движении трясет, ни наблюдать толково, ни прицелиться толково нельзя.

Гетманов усмехнулся, посмотрел на Новикова. И вот сейчас Гетманов, наливая рюмки, точно так же усмехнулся, посмотрел на Новикова и сказал:

— Маршрут наш через Куйбышев лежит. Кое с кем удастся нашему комкору повидаться. Давайте — за встречу.

«Вот только мне не хватало», — подумал Новиков, чувствуя, что жестоко, по-мальчишески, краснеет.

Генерала Неудобнова война застала за границей. Лишь в начале 1942 года, вернувшись в Москву, в Наркомат обороны, он увидел баррикады в Замоскворечье, противотанковые ежи, услышал сигналы воздушной тревоги.

Неудобнов, как и Гетманов, никогда не спрашивал Новикова о войне, может быть, стеснялся своего фронтowego невежества.

Новиков все хотел понять, за какие качества Неудобнов вышел в генералы, обдумывал жизнь начальника штаба корпуса, как березка в озерце, отраженную в листах анкет.

Неудобнов был старше Новикова и Гетманова и еще в 1916 году за участие в большевистском кружке попал в царскую тюрьму.

После гражданской войны он по партийной мобилизации некоторое время работал в ОГПУ, служил в пограничных войсках, был послан учиться в Академию, во время учебы был секретарем курсовой партийной организации... потом он работал в военном отделе ЦК, в центральном аппарате Наркомата обороны.

Перед войной он дважды ездил за границу. Он был номенклатурным работником, был на особом учете, раньше Новиков не совсем ясно понимал, что это означает, какие особенности и какие преимущества имеют номенклатурные работники.

Удивительно быстро проходил Неудобнов обычно долгий период между представлением ко званию и получением звания, казалось, нарком только и ждал представления Неудобнова, чтобы подписать его. Анкетные сведения обладали странным свойством: они объясняли все тайны человеческой жизни, причины успехов и неудач, но через минуту, при новых обстоятельствах, оказывалось, что они ничего не объясняли, а наоборот, затемняли суть.

Война по-своему пересмотрела послужные списки, биографии, характеристики, наградные листы... И вот номенклатурный Неудобнов оказался в подчинении у полковника Новикова.

Неудобнову было ясно, что кончится война и кончится это ненормальное положение...

Он привез с собой на Урал охотничье ружье, и все любители в корпусе остолбенели, а Новиков сказал, что, наверное, царь Николай в свое время охотился с таким ружьем.

Неудобнову оно досталось в 1938 году по какому-то ордеру, так же, как достались ему по ордеру, с каких-то особых складов, мебель, ковры, столовый фарфор и дача.

Шла ли речь о войне, о колхозных делах, о книге генерала Драгомирова, о китайской нации, о достоинствах генерала Рокоссовского, о климате Сибири, о качестве русского шинельного сукна, либо о превосходстве красоты блондинок над красотой брюнеток, — он никогда в своих суждениях не преступал стандарта.

Трудно было понять, то ли это сдержанность, то ли выражение его истинного нутра.

Иногда, после ужина, он становился разговорчив и рассказывал истории о разоблаченных вредителях и диверсантах, действовавших в самых неожиданных областях: в производстве медицинских инструментов, в армейских сапожных мастерских, в кондитерских, в областных дворцах пионеров, в конюшнях московского ипподрома, в Третьяковской галерее.

У него была превосходная память и он, видимо, много читал, изучал произведения Ленина и Сталина. Во время споров он обычно говорил: — Товарищ Сталин еще на семнадцатом съезде... — и приводил цитату.

Однажды Гетманов сказал ему:

— Цитата цитате рознь. Мало ли что было сказано. Было сказано: «Чужой земли не хотим, своей ни вершка не отдадим». А немец где?

Но Неудобнов пожал плечами, точно немцы, стоявшие на Волге, ничего не значили по сравнению со словами о том, что ни вершка своей земли не отдадим.

И вдруг все исчезало — танки, боевые уставы, стрельбы, лес, Гетманов, Неудобнов... — Женя! Неужели он увидит ее снова?

«ИНДЕКС»

(на английском языке)

Журнал по вопросам цензуры

Издается организацией Райтерс энд Сколарс
Интернэшонал в Лондоне

№. 3, 1975 г.

(цена 1 фунт стерлингов)

В номере:

Я. Сойферт:	Венок сонетов о Праге.
А. Твердохлебов:	Два розыска и четыре допроса.
О. Фред Моррис:	Как меня арестовали и пытали в Бразилии.
А. У. Габаньи:	Писатель в Румынии.
Л. Сирц:	Свобода — кому? (Югославия)
А. Шварц:	Международная разрядка и советское агентство по охране авторских прав.
С. Кассади и Д. Лент:	Сингапур — Пресса при Ли Куан Йе.

Португалия — Владельцы прессы — кто они?

Литва — Как цензуруют Шекспира (Ионас Юрашас).

Чехословакия — Три запрещенных поколения (Ота Филип).

Адрес редакции: 21 Russell St., London, WC2B 5HP

Годовая подписка: 3.60 ф. ст. (10 дол. США)

Заказы на подписку направлять:

The Journals Manager, Oxford University Press, Press Rd.,
London NW10 0DD.

В США и Канаде журнал распространяется по книжным
магазинам издательством Рэндом Хаус Инк., Нью-Йорк.

Цена одного номера: 2.50 американских доллара.

Александр Г а л и ч

И з ц и к л а « О п ы т ы »

ВЕЧЕРНИЕ ПРОГУЛКИ

(Маленькая поэма)

В. Максимова

1

Бывали ль вы у Спаса-на-крови?
Там рядом сад с дорожками. И кущи.
Не прогуляться ль нам на сон грядущий
И поболтать о странностях любви?

Смеркается. Раздолье для котов.
Плывут косые тени по гардине,
И я вам каюсь, шепотом, в гордыне,
Я черт-те в чем покаяться готов!

Пора сменить — уставших — на кресте,
Пора надеть на свитер эполеты,
И хоть под старость выбиться в поэты,
Чтоб ни словечка больше в простоте!

Допустим этак:
— Медленней, чем снег,
Плывет усталость, каменная птица.
Как сладко всем в такую полночь спится,
Не спит — в часах — песочный человек.

О, этот вечно-тающий песок,
Немолчный шелест времени и страха,
О, Парка, Парка, сумрачная пряха,
Повремени, помедли хоть часок!

А ловко получается, шарман!
Здесь каждый звук и слог подобен эху.
И...

... ай-ай-ай — еще открыт шалман!
Вы видите, еще открыт шалман!
Давайте, милый друг, зайдем в шалман,
Бессмертье подождет, ему не к спеху!..

2

Ах, шалман — гуляй, душа,
Прочь, унынье черное.
Два очкастых алкаша
Спорят про ученое:

— Взять, к примеру, мю-мезон,
Вычисляй и радуйся!
Но велик ли в нем резон
В рассужденье градуса?!

Ух, шалман — пари, душа,
Лопайтесь, подтяжки!
Работяга не спеша
Пьет портвейн из чашки.

— Все грешат на свой фасон,
Душу всем изранили!
Но уж если ты мезон,
То живи в Израиле!..

Ну, шалман — ликуй, душа!
Света, Света, Светочка!
До чего же хороша,
Как в бутылке веточка!

Света пиво подает
И смеется тоненько.
Три пустые достает
Света из-под столика.

— Это, Света, на расчет,
И вперед — в начало!
Работяга, старый черт,
Машет ручкой:
— Чао!

Вот он встал, кудлатый черт,
Пальцами шаманя.
Уважение и почет
Здесь ему, в шалмане!

3

Он, подлец, мудрец и стоик,
Он прекрасен во хмелю!
Вот он сел за крайний столик
К одинокому хмырю.
— Вы, прошу простить, партийный?
Подтвердите головой.
Хмырь кивает.
Работяга улыбается:
— Так и знал, что вы партийный!
Но заходите в питейный,
И по линии идейной
Получаетесь как свой!
Эй, начальство, света брызни,
Дай поярче колорит!
Наблюдение из жизни! —
Работяга говорит.

И окинув взглядом тесный
Зал на сто семнадцать душ,
Он, уже почти что трезвый,
Вдруг понес такую чушь:

— На троллейбусной остановке
 Все толпятся у самой бровки,
 И невесело, как в столовке,
 На троллейбусной остановке.
Хоть и улица, а накурено
 И похожи все на Никулина,
 На того, что из цирка, клоуна.
 Так же держатся люди скованно,
 Но попробуй, у них спроси —
 Где тут очередь на такси!..

А где очередь на такси,
 Там одни:
 «Пардон» и «мерси»...
 Там грузины стоят с корзинками,
 И евреи стоят с грузинками,
 И глядят они вслед хитро
 Тем, кто ехать решил в метро,
 И вдогонку шипят:
 — Ай — вай! —
 Тем, кто топает на трамвай!..
 А трамвайная остановка —
 Там особая обстановка.
 Эй, ты — в брючках, пшено, дешевка,
 Ты отчаливай, не форси.
 Тут трамвайная остановка,
 А не очередь на такси!..

И платком, вместо флага,
 Сложный выразив сюжет,
 Наш прелестный работяга
 Вдруг пропел такой куплет:

— А по шоссе, на Калуги и Луги,
 В дачные царства, в казенный уют,
 Мчатся в машинах народные слуги,
 Мчатся и грязью народ обдают!..

У хмыря лицо, как тесто,
И трясется голова.
Но приятный гром оркестра
Заглушил его слова.

Был оркестр из настоящих
Трех евреев — первый сорт!
А теперь запрятан в ящик
Под названием «Аккорд».

И ведет хозяйство это
Ослепительная Света.

И пускает, в цвет моменту,
Отобрав из сотни лент,
Соответственную ленту
В соответственный момент!

Вот сперва завыли трубы —
Все, мол, в жизни, трын-трава.
У хмыря трясутся губы
И трясется голова.

Вот поддал ударник жару,
Показал, бродяга, класс.
А за ними под гитару
Произнес нахальный бас:

— Доля, доля, злая доля,
Протрубила б ты отбой!
Сверху — небо, снизу — поле,
Посередке — мы с тобой.
Мы с тобою — по середке,
Ты — невеста, я — жених.
Нам на личность по селедке
И поллитра на двоих!

Мы культурно свет не застим,
Взять судьбу не можем в толк.
И поет нам:
— С новым счастьем!
Наш парторг — тамбовский волк.

Он поет один, в гордыне,
Как свидетель на суде:
— С новым счастьем, молодые,
И с успехами в труде!..

...Тут слегка заело ленту,
Отслужила, видно, срок,
Но опять же, в цвет моменту,
Бойко грянул тенорок:

— Чтобы очи мои повылазили,
Чтоб не видеть мне белого дня,
Напридумали Лазари лазеры
И хотят уколошить меня!..

И шалман зашелся смехом,
Загудел, завыл шалман,
И частушке вторя, эхом,
Об стакан гремит стакан.

6

Света, Света, добрый друг,
Что же ты примолкла вдруг?
Где твой Лазарь, где твой милый,
Завбуфетом в цвете лет?
Он убит и взят могилой,
Как сказал один поэт.
Брал он скромно, брал по праву,
Брал не с верхом, а в очко,
Было заму, было заму,

Было всем на молочко!
Уносите, дети, ноги,
Не ходите, дети, в лес.
В том лесу живет в берлоге
Лютый зверь Обехаэс!
Всем впаяли мелочишку,
Все равно как за прогул.
Только Лазарь принял «вышку»,
Даже глазом не моргнул.
Точно так же, как когда-то,
Не моргнул и глазом он,
Когда гнал его, солдата,
Дезертир из школы вон!
Мол, не так он учит деток,
Подозрительный еврей,
Мол, не славит пятилеток,
А долдонит про царей.

Заседанье педсовета
Подвело всему итог...

С ним ушла тогда и Света,
Физкультурный педагог.

Что ты, что ты, что ты, что ты,
Что ты видишь сквозь туман?
Как мотались без работы?
Как устроились в шалман?
Как без голоса — кричала
В кислом зале горсуда?

Эй, не надо все сначала,
Было — сплыло навсегда!
Было — сплыло...

Тут линияет гром оркестра —
Мал в шалмане габарит.
И опять, оркестра вместо,
Работяга говорит.

(А в руке гуляет кружка
И смеется левый глаз!)
— Это все была петрушка,
А теперь пойдет рассказ!..

7

Мы гибли на фронте,
Мы хрипли в комбеде,
А вы нас вели
От победы к победе!
Нам бабы кричали:
— Водицы попейте!
Умойтесь, поешьте, поспите хоть ночку!
А вы нас вели
От победы к победе
И пуля свинцовую ставила точку!
Мы землю долбили,
Мы грызли железо,
Мы грудь подставляли под дула обреза.
А вы, проезжая в машине «Победа»
В окно нам кричали:
— Достройте!.. Добейте!..
И мы забывали
О сне и обеде,
И вы нас вели
От победы к победе!

А вы:
«Победы» меняли на «Волги»,
а после:
«Волги» меняли на «Чайки»,
а после:
«Чайки» меняли на «ЗИЛы»...

А мы надрывались,
Долбили, грузили!..

И вот уже руки
Повисли как плети,
И ноги не ходят,
И волосы седы.
А вы нас вели
От победы к победе
И тост поднимали
Во славу победы!
— Ну, пусть не сегодня,
Так — завтра, так — в среду!
А мы — положили на вашу победу!..

8

Хмырь зажал рукою печень,
Хмырь смертельно побледнел.
Даже хмырь — и тот не вечен,
Есть для каждого предел!

Работяга (в кружке пена),
Что ж ты, дьявол, совершил?
Ты ж действительного члена
Нашу партию лишил!

И пленительная Света,
Сандалетами стуча,
Срочно стала из буфета
Вызывать в шалман врача.

9

Какая ночь! Как улицы тихи!
Двенадцать на часах Аэрофлота.
И кажется — дойдешь до поворота
И потекут бессмертные стихи!

26 апреля 1975 г.
Осло, Норвегия.

“СЁРВЕЙ”

Журнал изучения Востока и Запада на английском языке

Текущий номер журнала «Сёрвей» (№ 94/95) содержит:

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: 30 ЛЕТ СПУСТЯ

Роберт Даллек

Дэвид Дилкс

Хью Сетон-Ватсон

Александр Далин

Джордж Кеннан

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ «РАЗРЯДКИ»

Ричард Пайпс

Джордж Урбан

МАРКС, ЛЕНИН, СТАЛИН

Сэмюэль Х. Бэрон

Адам Б. Улам

Михаил Геллер

СОВЕТСКИЕ ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ ТЮРЬМЫ

Виктор Некрасов

Владимир Буковский

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ ТЕАТР

Маркета Гётц Станкевич

Годовая подписка (4 номера):	4 ф. ст. или	10 ам. дол.
Подписка для студентов:	2 ф. ст. или	5 ам. дол.
Цена одного номера:	1 ф. ст. или	2,50 ам. дол.

Заказы направлять по адресу:

The Journals Manager, Oxford University Press,
Press Rd, Neasden, London NW10 0DD, England

ПРОИСШЕСТВИЕ В «МЕТРОПОЛЕ»

(Быль, похожая на детектив)

Итак, 11 мая 1975 года в гостинице «Метрополь» я был отравлен. Очевидно, мои первые заявления по этому поводу показались иностранным корреспондентам слишком сбивчивыми и потому не получили должной огласки. Если мое исключение из Союза писателей несколько дней подробно комментировали все радиостанции, то об этом случае, неизмеримо более зловещем, сообщили лишь некоторые. Вероятно, журналисты, которых советские власти постоянно обвиняют в тенденциозном изображении нашей действительности, хотели доказательств. Каких? КГБ, к сожалению, не выдало мне справки о том, каким способом и каким веществом меня отравили. Остается только строить догадки. Но мне не хочется делать этого в одиночестве. Надеюсь, этот подробный отчет о двух моих встречах с работниками КГБ будет проанализирован криминалистами, химиками, медиками и поможет приблизиться к истине.

Самое смешное заключается в том, что я все знал наперед. Знал, что не следует ходить по звонку. Знал и обычный жандармский прием: грубая лесть, переходящая в грубый нажим. И другой прием, широко применявшийся еще чинами III отделения: мы такие же, как и вы. Мы тоже люди, мы тоже видим все безобразия (нет, помягче: отдельные недостатки), мы понимаем, что с ними надо бороться. Так давайте же объединим наши усилия.

Повторяю: все это я знал наперед. Отчасти по литературе, отчасти по собственному опыту. Те же приемы применяются в Союзе писателей и в смежных организациях.

И все-таки, когда 4 мая мне позвонил человек, который назвался Захаровым, я почти без колебаний согласился прийти. Во-первых, давно хотел посмотреть на людей, которые мной занимаются. Во-вторых, подумал: не пойду, потом буду гадать — зачем вызывали? Лучше уж сразу.

Не успел положить трубку, опять звонок и тот же Захаров:

— Владимир Николаевич, у нас к вам просьба. Пожалуйста, пока никому не говорите, что вы к нам идете. А потом вы будете вольны поступать, как захотите.

— То есть как никому не говорить? Даже родственникам?

— Нет, ну, родственникам, конечно, можно, но все-таки нам бы хотелось пока без широкой огласки. Поговорим, потом поступайте, как хотите.

Положив трубку, я подумал, что бы это могло значить? Может, они рассчитывают, что я сам к ним приеду, никому не сказав, они меня тихонько возьмут и никто не узнает, где могила моя. Или... нет, ничего хорошего я себе представить не мог. По дороге взял у жены (она меня провожала) три рубля на ларек. Она предложила больше, но я сказал, что там и три рубля — деньги. Дал ей несколько телефонов, по которым нужно звонить, если я не вернусь... ну, допустим, через два часа.

В приемной КГБ (Кузнецкий мост, 24) меня встретил рыжеватый упитанный человек, лет тридцати, с обручальным кольцом на пальце. Это и был Захаров. Увидев, что я не один, он выразил ужасное смущение. Ему неудобно, показал он всем своим видом, что он беспокоит не только меня, но и жену. Сделав несколь-

ко недоуменных ужимок («Право, вам не следует беспокоиться... но, в общем, как хотите...»), он повел меня в их главное здание, где сердитый прапорщик долго ворчал, не желая меня пропускать по водительским правам (паспорт я забыл дома). Я подумал, что если сюда не пускают без паспорта, его следует сжечь, но оказалось, что по протекции Захарова можно пройти и так.

В скромном кабинете на девятом этаже меня ждал старший соратник Захарова, высокий человек лет пятидесяти с хвостиком. Вытянутое загорелое лицо, очки на горбатом носу, черные курчавые волосы коротко стрижены. Вышел из-за стола, протянул мне руку: Петров Николай Николаевич, очень рад познакомиться, давно мечтал (уж в этом-то я не сомневался). Садимся.

На столе журнал «Грани» с моим рассказом «Путем взаимной переписки», «Литгазета» с интервью Панкина*, номер «Русской мысли», какие-то вырезки, машинописные тексты.

Хозяин кабинета смотрит на меня приветливо.

— Вы кому-нибудь сказали, что к нам идете?

— Сказал.

— Жене?

Да, жене. Но она стоит там внизу. Сейчас он кому-нибудь мигнет, ее схватят и...

— Не только жене, — говорю я.

— А кому еще?

— Сказал нескольким людям, вам не обязательно знать, кому именно.

Улыбается.

— Не доверяете органам?

— Не очень.

— А почему?

* Панкин Борис Дмитриевич, председатель ВААП (Всесоюзное агентство по авторским правам).

— Такая у вас репутация.

— Владимир Николаевич, а разве вы не замечаете, что мы меняемся?

— Не знаю. Может быть, вы изнутри и меняетесь, но снаружи не очень заметно.

Слова мои его явно огорчили, он стал мне доказывать, что они все-таки меняются, что они не такие, как прежде, хотя многие не хотят этого замечать.

— Ну, ладно, — сказал он, меняя тему. — Как праздник провели, Владимир Николаевич?

— Обыкновенно.

— Что значит — обыкновенно? Хорошо или плохо?

Интересно, как, по его представлению, я должен был провести этот праздник? Выехать на пикник, пить, петь «На побывку едет молодой моряк...»?

— Зачем вам знать, как я провел праздник? Вы мне лучше скажите, кто вы?

— Я вам сказал: Петров, сотрудник Комитета.

— Я бы хотел знать должность и звание.

— Да зачем вам это нужно? Потом, посмотрим, как сложится разговор, я вам, может быть, и скажу. А пока давайте просто поговорим.

Я думаю: и в самом деле, какая разница, кто он? Он может сказать все, что угодно. Вот и фамилию, наверно, придумал. Захаров, пожалуй, Захаров, а этот... Я мысленно окрестил его Лжепетровым. достаю сигареты, спрашиваю, можно ли курить?

— Да сколько угодно. Вот вам пепельница, располагайтесь как дома. Забудьте, где вы находитесь, хотите, окно откроем настежь, чтоб было прохладно, хотите, совсем закроем, чтоб было жарко, как вам удобнее.

Бойко говорит, не без обаяния.

Закурив, кладу сигареты на столик рядом с собой. Захаров тянется: «Можно, я у вас возьму сига-

ретку?» Можно, конечно. Раньше, судя по литературе, следователи угощали, теперь сами стреляют. Может, и правда, меняются. С лица Лжепетрова не сходит улыбка.

— Вот, Владимир Николаевич, смотрю я на ваши руки. Это рабочие руки. Это не руки писателя. Думает, что мне это лестно.

— Но я этими руками пишу, — говорю я на всякий случай.

— Да, вы ими пишете, но все-таки видно до сих пор, что это рабочие руки.

Если он считает, что такими руками надо держать не перо, а лопату, я не согласен.

А он гнет свою линию дальше. У меня такая трудовая биография, и как же это получилось, что я вдруг оказался вне советской литературы?

— Неужели они вас так втянули?

— Кто это они?

— Ну, например, те, кто вас издает на Западе, рекламирует.

— Видите ли, — говорю я. — Точнее будет сказать, меня не втянули, а втолкнули.

— Да? — оживляется мой собеседник. — Кто же?

— В первую очередь — руководство Союза писателей.

— Как?

— А вот перед вами мои интервью, там все написано.

— Да, здесь написано. — Он грустно качает головой. — Но вы же советский человек?

— Не знаю.

— Как не знаете?

— А так и не знаю. Был когда-то советским, а теперь и сам не пойму, какой.

— Нет, Владимир Николаевич, вы советский человек, — говорит Лжепетров убежденно.

- Вы так считаете? А я уже думал, что нет.
- Почему же вы так думали?
- Мне так говорили.
- Кто?
- Да в том же Союзе писателей неоднократно.

Лжепетров досадливо морщится. Да, дураков у нас еще много. Стоит ли обращать внимание на то, кто чего скажет. На каждое чиханье не наздравствуешься. Вот он, Лжепетров, видит, что я человек советский.

Ничего не могу понять. Ведь вот еще лет пять назад, когда я пытался доказать свою советскость, мои многочисленные собеседники ни за что не хотели в это поверить. Да и в прошлом году в Союзе писателей мне сказали, что я враг и напоминали слова Горького о том, что делают с такими, как я, если они не сдаются. А теперь все наоборот.

— Вот, Владимир Николаевич, это же вы писали. — Подсовывает мне одно из писем в защиту Синявского и Даниэля. — «Мы, всем сердцем преданные идеям социализма...»

Объясняю, что во-первых, я не писал, а подписал. Во-вторых, говорю, меня текст не интересовал. Я очень хотел, чтобы Синявского и Даниэля освободили и ради этого готов был подписать что угодно. В-третьих, добавляю, прошу вас обратить внимание на дату. Сколько лет прошло? Девять. Я это время не стоял на месте. Я развивался. Я и сейчас не против социализма, но теперь к этому слову я бы добавил определение «с человеческим лицом». И, кстати, процесс Синявского и Даниэля очень способствовал моему развитию. Вы не мне это письмо показывайте, а сами перечитайте его и подумайте, что произошло. Вот люди писали письма. Предупреждали, какой вред принесет этот процесс государству. Вы не захотели прислушаться. Ну и что? Какую пользу извлекло государство из этого процесса? Вы теперь видите, что

никакой. Вы теперь, может быть, поняли, что нельзя сажать писателей за их книги.

— Хи-хи, — неуверенно встревает Захаров. — Значит, бухгалтера можно сажать, а писателя нельзя?

— Если писатель что-то украл, то не только можно, а нужно. Кстати, среди руководства Союза писателей такие есть. Вот ими бы вы и занялись.

— И все-таки, — уверяет меня Лжепетров, — вы, Владимир Николаевич, советский человек.

— Что ж, спасибо за комплимент. А я уж было подумал...

— Ну что вы, Владимир Николаевич! Вы советский.

В том, что я советский, он уже, кажется, совсем убедился. Хотя его и огорчают некоторые мои интервью и открытые письма, некоторые высказывания, сделанные, может быть, сгоряча.

— Вот, например, здесь, в письме Панкину, — тычет карандашиком, — вы предлагаете передать в ведение ВААПа Лефортовскую или Бутырскую тюрьму да еще со штатом, как вы пишете, охранников и овчарок. Как это можно понять?

— А вы, — спрашиваю, — заметили, что у меня есть некоторая склонность к сатире?

— Это я заметил! — восклицает он торопливо и радостно, показывая, что еще не совсем закоснел на своей работе и кое-что соображает.

— Ну так вот, — говорю, — сатира несколько отличается от панегирика. Сатира — это прежде всего преувеличение, гротеск...

— Хи-хи, — вмешивается, смущаясь, Захаров. — Но вот это про тюрьму... это уже не гротеск... хи-хи.

— Совершенно верно, — соглашаюсь, — это не гротеск. В своем интервью «Литгазете» Панкин вполне прозрачно намекает, что писателей, отдающих свои рукописи за границу, будут сажать. А я попытался представить себе это конкретно. Может, я и ошибся.

Может, он имел в виду не Бутырки и Лефортово, а, допустим, Владимирскую тюрьму, я не знаю.

Представьте себе, что-нибудь похожее я бы сказал в Союзе писателей! Батюшки, что бы было! А тут ничего. И Лжепетров улыбается, и Захаров хихикает. Культурные люди, понимают, что у писателя может быть такой парадоксальный образ мышления.

— А что, — интересуется Лжепетров, — у вас с Панкиным, может, какие-то личные счеты?

— Весьма сожалею, — говорю, — но я его даже и в глаза никогда не видел. Слышал, правда, что он человек приличный. Но зачем же приличному человеку говорить такие неприличные вещи?

— Но мне кажется, — говорит Лжепетров не очень уверенно, — что с этим письмом вы все-таки поторопились. ВААП еще только организовывался, еще неизвестно было, на каких принципах он будет существовать.

— Так вот, я как раз и хотел помочь, чтобы он существовал на нормальных цивилизованных принципах. Могу вам сказать по секрету, что многие писатели, которые боятся говорить, вроде меня, открыто, тоже недовольны ВААПом. Обдираловка, говорят. Вдов, говорят, ограбили да и самих писателей тоже. Один писатель пошел получать гонорар за заграничное издание. Рубль получил. Правда, сертификатный.

Слушают, качают головами. Жалко им вдов. И писателей тоже.

Поговорили и о моем творчестве. Оказывается, мои новые знакомцы давно и с пристальным интересом следят за всем, что я пишу. И книги читали, и пьесы смотрели. Вспомнили, как в пьесе «Два товарища» бабушка смешно говорит вместо «петух» «хетуп». Но наивысшим моим достижением Лжепетров считает, конечно, «Чонкина».

— «Чонкина»? — Я даже ушам своим не поверил.

— А что? Очень талантливо. И смешно.

— Мне кажется, вам не должно было понравиться.

Улыбается.

— Ну почему же? Может быть, я чего-то не понимаю, я просто средний читатель, но книга, по-моему, хорошая. Третью часть пишете?

— Третью уже написал.

— И там, — смеется, — тоже про органы?

— Нет, там про другое.

— Да, такая книжка. Жалко, что на Западе вышла.

— Как будто она могла выйти здесь.

— А что? Лет восемнадцать — двадцать тому назад могла бы.

Я мысленно отнял от семидесяти пяти восемнадцать и двадцать, но ни 57-й ни 55-й годы мне не показались подходящими для печатания «Чонкина» (не говоря уж о том, что его тогда и быть не могло).

— Так вот, Владимир Николаевич, о чем я хотел вас спросить. Вы издаетесь на Западе. У вас что, совсем нет никакого желания печататься здесь?

Я пожимаю плечами.

— Печатайте, не откажусь.

— Ну, мы, правда, издательствами не заведем...

— Вы всем заведуете.

Оба смеются. Я слишком преувеличиваю их возможности. Но в чем-то, конечно, они могут помочь.

Захаров опять лезет за моей сигаретой и спрашивает, можно ли. Я отвечаю «можно» и пододвигаю сигареты к нему.

— Но, Владимир Николаевич, — говорит Лжепетров. — Вот ваше письмо секретариату Союза писателей. Здесь вы пишете, что могли бы выступить на открытом собрании рабочих и доказать, что вы не акула империализма... ну, этого, конечно, никто не говорит... Но вот второе, насчет иностранных разве-

док... тут можно и поспорить. Я думаю, сейчас вам на таком собрании трудно пришлось бы.

— Даже если я скажу все, что хочу?

— Да, вы скажете свое, а мы свое.

— Давайте попробуем. Боюсь, что вы на это не пойдете.

— Как знать, — пожал он плечами.

— Угрожаете? — спросил я.

— Кто угрожает? Что вы, Владимир Николаевич!

— Я не возражаю, можете угрожать, — сказал я, — только учтите, я ко всему приготовился.

— К чему? — спросил он с любопытством.

— Ко всему, — сказал я, не желая подсказывать ему варианты.

— Ну, а конкретно?

— Конкретно — ко всему.

— Сухари, что ли, засушили? — засмеялся Захаров, вытягивая из моей пачки очередную сигарету.

— Засушил.

Оба смеются весело и смущенно. Захаров даже хватается за голову. Боже мой! Казалось бы, писатель, культурный человек, а такие дикие представления о КГБ. Вообще Захаров держится скромно. Смущается и даже краснеет. Но иногда и он вставляет в разговор отдельные реплики. Реплики обязательно сопровождаются застенчивым «хи-хи». Он как бы говорит: «Я, конечно, человек еще молодой, может быть, по молодости чего-то не понимаю, может быть, я слишком предан партии и правительству, но мне — хи-хи — некоторые ваши высказывания кажутся странными».

— Владимир Николаевич, — с некоторой даже обидой обращается ко мне Лжепетров, — неужели вы и сейчас не видите, что мы уже совсем не такие.

— Ну да, не такие. А Твердохлебова я посадил?

— Ну, Твердохлебов, Твердохлебов...

И Лжепетров туманно мне намекает, что здесь у них разные люди, одни вроде сажают, а другие как бы противятся.

До меня тоже доходили слухи, что среди них есть разные люди. О выставке художников слышал: милиция ее разогнала, а КГБ разрешило. Не от кого-нибудь, от диссидентов я слышал, что как раз КГБ в нашей стране чуть ли не самая либеральная организация.

— А в психбольницах вы здоровых людей не держите?

— Каких здоровых людей? — обиженно восклицает Захаров. — Ведь существуют врачи, комиссии, консилиумы.

Я сказал что-то про Плюща. Лжепетров ответил: «Плюща на днях выпустим».

— И вообще, — сказал я, — вот так посмотреть на вас, вроде люди, как люди. Неужели вам не больно, когда вы читаете, как мучают людей в лагерях?

— Кого мучают? — спрашивает Лжепетров. — Откуда у вас такие представления?

— Читаю кое-что.

Воспринимают, как должное. Не спрашивают, где беру и кому отдаю то, что читаю.

— Марченко, что ли? — спрашивает Захаров.

— Да хотя бы и Марченко.

— А вы знаете, что Марченко первый раз сидел за уголовное преступление?

— Да и вообще, — подхватывает Лжепетров, — он там сильно сгустил краски.

— Не думаю, — говорю я. — Там все написано достоверно. Я Марченко верю.

От Марченко перешли к Солженицыну. В письме секретариату Союза писателей я назвал его величайшим гражданином. А он не величайший гражданин.

Он плохой человек и антисемит, к тому же*. И вообще эти его идеи — православие, самодержавие, народность — это же сейчас ни в какие ворота не лезет.

— Не лезет? Но ведь вы же знаете, что с идеями можно бороться только идеями. Если у вас нет своих идей, дайте высказаться Сахарову, у него они есть.

— Вот к Сахарову, — подхватывает Лжепетров, — мы совсем иначе относимся. Правда, он в политике ничего не понимает. Но он совсем другой человек. А Солженицын...

— Видите ли, Солженицын прежде всего большой писатель.

— Писатель большой, с этим никто не спорит.

— А если понимаете, что он писатель большой, не надо с ним бороться. С большим писателем бороться, — говорю, — еще глупее, чем с ветряной мельницей. Чем больше вы на него наскакиваете, тем выше воздвигаете под ним пьедестал.

— А вы знаете, — говорит Лжепетров с обидой за меня, — что он к вам плохо относится?

— Вот как! И в чем его плохое отношение ко мне выражается?

— Он тормозил выход вашей книги.

— Ай-яй-яй! И зачем же ему это нужно было?

— Значит, нужно было зачем-то. А вот, интересно, вы к Дементьеву как относитесь?

— К Александру Григорьевичу? Хорошо отношусь.

— Естественно. Он же давал вам рекомендацию в Союз писателей. А посмотрите, что пишет о нем Солженицын в своем «Теленке». Вы еще не читали?

— Нет, пока не читал.

— Ну, еще прочтете, до вас дойдет. А пока прочтите вот это. — Сует мне два листа бумаги с цитатами.

* Раньше — числился евреем.

— Может, не надо, — говорю я нерешительно. — Вы, небось, рассчитываете, что я, прочтя, захочу откликнуться, а я вряд ли захочу.

— Да ни на что я не рассчитываю. Прочтите и все.

Все-таки любопытно. Прочел.

— Ну, что вы скажете?

— Ничего не скажу.

— Как? Вы же только что говорили, что хорошо относитесь к Дементьеву.

— Ну да. У меня к Дементьеву одно отношение, у Солженицына другое.

— Вот видите, вы внутренне с нами согласны, но и тут свое отношение высказать не хотите. А вы слышали, что он сказал про Бёлля? Что тот переправлял его рукописи за границу. Разве можно так говорить?

— А разве нельзя? — спросил я.

Лжепетров даже захлебнулся от удивления. Как же я не понимаю такой простой вещи, что нельзя выдавать человека, который тебе помогает. (Это-то я понимал, но не знал, что найду единомышленников на Лубянке.)

— А вы знаете, что говорит о нем Якубович? Что он женился на своей крестной дочери.

— Ну и что? — спросил я.

— Как что? Так нельзя делать.

— А вы что, верующий?

— Я — нет.

— Ну вот видите, и я неверующий. И Якубович, насколько я знаю, тоже. Что же мы с вами будем судить о том, чего не знаем. По мне, так он хоть бы на крестной внучке женился.

От Солженицына, естественно, перешли к лагерьной теме. Мои собеседники считают, что о лагерях пишется слишком много.

— А вы, что же, — сказал я, — хотите, чтобы миллионы погибших были сразу забыты?

— Нет, — горячо возразил Лжепетров, — жертвы Сталина никогда не простят ему его преступлений*. Но не надо забывать, что это был человек, который тридцать лет стоял во главе нашего государства.

— Николай Первый, — сказал я, — тоже тридцать лет стоял во главе нашего государства.

— Не может быть! — воскликнул Лжепетров и был удивлен, когда я доказал, что было именно так.

Затем я предложил моим собеседникам выпустить на свободу всех политических заключенных, а на месте хотя бы одного из бывших лагерей устроить музей, вроде Освенцима. И там же заложить могилу Неизвестного Заключенного. Чтобы родственники и потомки пропавших без вести эков могли придти, поплакать, положить цветочек. Чтобы юные следопыты объявили поиск под девизом: «Никто не забыт, ничто не забыто». Вот тогда, объяснил я, можно будет про вас сказать, что вы совсем не такие.

И как, вы думаете, отреагировали на это мои собеседники? Стали на меня кричать, угрожать, топтать ногами? Ничего подобного. Лжепетров улыбается, Захаров хихикает. И мне кажется, они меня понимают. И даже отчасти со мною согласны. Может, и правда, не такие?

— Согласитесь, Владимир Николаевич, в 37 году здесь бы с вами не так разговаривали.

— Да уж, в тридцать седьмом и вы неизвестно где были бы.

Соглашается.

* Похоже, что это официальная точка зрения. Обижаться на Сталина имеют право только те, кто непосредственно от него пострадал. «Полицейскому уму, — писал Дорошевич, — никак не понять, что нельзя есть с аппетитом, если стена об стену со столовой помещается за стенок:

— Ведь вас не секут, вы и кушайте!»

— Да, и работники органов многие тогда погибли.

Не успел я взгрустнуть по работникам органов, как речь зашла о «Посеве». Это издательство ужасно тем, что за ним стоит политическая партия.

— За нашими издательствами тоже стоит политическая партия.

— Правильно, — сказал Лжепетров, — но ведь их партия стремится к свержению нашего строя.

— А вы, — сказал я, — ей помогаете.

— Кто? Мы?

— Вы, — сказал я.

— Интересно, — засмеялся Лжепетров, — каким же это образом?

— Очень простым. Как только у нас появляется в литературе что-нибудь интересное, вы отдаете «Посеву». Вот у меня есть план, как разорить «Посев». Хотите, поделюсь?

— Давайте.

— Как только у нас появляется что-нибудь острое, серьезное, талантливое, печатайте здесь, и «Посев» вылетит в трубу.

Опять им смешно. Эка, загнул! Ну и сатирик!

— Но нельзя же печатать все, что пишется, — считает Лжепетров.

— Если нельзя все, печатайте лучшее, а худшее отдавайте «Посеву». Тогда вы его разорите не сразу, а постепенно.

— Значит, вы считаете, что мы сами помогаем «Посеву»?

— Еще как помогаете! Изо всех сил.

Лжепетров покачал головой, словно мои слова показались ему справедливыми.

Перескочили на иностранных корреспондентов: зачем я с ними общаюсь, зачем даю интервью? А раз-ве нельзя?

— Нет, можно, конечно, — говорит он, — но они же, наверное, вас искажают.

— Не знаю, не замечал.

— Не замечали? А вот посмотрите. — Лжепетров показывает мне «Русскую мысль» с переводом моего интервью немецкой газете. — Здесь вы Ильина называете генеральным секретарем Союза писателей. Вы же не могли так сказать?

— Я не мог бы. Я, конечно, говорил, что он секретарь по оргвопросам.

— Вот видите! А они что пишут?

— Погрешности обратного перевода.

— Это, Владимир Николаевич, не обратный, это тенденциозный перевод.

— Да, — крутит головой Захаров, — генеральный секретарь, это, знаете ли, хи-хи...

Лжепетров хочет понять, неужели меня не беспокоят подобные искажения? Развожу руками. У меня есть более серьезные поводы для беспокойства.

— Но посмотрите, под каким подзаголовком они дают ваше интервью. «Глумление над талантливым писателем.» Разве вы не видите здесь тенденции?

— Нет, я вижу здесь чистую правду.

Тут и Захаров не выдержал.

— Но они же вас... хи-хи... возвеличивают.

— А вы хотите, чтобы они вас возвеличивали?

Захаров смущается, краснеет, потупляет глаза. Нет, он человек скромный, он не хочет, чтобы его — хи-хи — возвеличивали.

Ну, ладно. Смирились мои оппоненты с тем, что кто-то возвеличивает, а я против этого никак не протестую. Но возникает новая тема.

— Вот здесь, Владимир Николаевич, — тычет Лжепетров карандашиком, — вы говорите, что вы человек аполитичный.

— Совершенно верно. Именно это и говорю.

Улыбается мягко и недоверчиво.

— Но разве может быть писатель аполитичным?

— Может быть. Вот, например, Чехов был аполитичен.

— Чехов? — удивляется Петров.

— Чехов. И многие другие. И я вот тоже. А вот этот мой рассказ в «Гранях» — пример аполитичности.

— Ну да! — захихикал Захаров. — Этот рассказ не аполитичный. В нем самый отрицательный герой... хи-хи... член КПСС.

— А что ж, если он член КПСС, я ему должен голову елеем мазать?

Лжепетров улыбается. Захаров краснеет и пожимает плечами. Может, он чего-то не понимает, может, он... хи-хи... действительно слишком предан партии и правительству, но ему очень трудно со мной согласиться.

Наступает минута молчания. Сижу, жду. Вроде, я все сказал. По нормам 37 года одной десятой доли того, что сказал, хватит на высшую меру. Нет, я не призывал ни к свержению советской власти, ни к ослаблению и даже наоборот, как мне казалось, предлагал меры к ее укреплению. Но у них же об этом другие понятия. Сейчас Лжепетров нажмет незаметную кнопку, войдет дядя с кобурой на боку и, во исполнение моих предложений по охране авторских прав вместе с носителем прав, отвезет меня на казенной машине в Лефортово.

— Так что ж, Владимир Николаевич, вы хотите печатать свои книги в Советском Союзе?

— Что? Я вас не понял.

— По-моему, я понятно говорю. Я спрашиваю: вы что же, совсем не хотите больше печататься здесь? Хотите только на Западе?

— А разве можно и здесь?

— А почему же нельзя? Давайте издаваться здесь. Давайте сделаем так, чтобы не за границей, а у нас ваши книги шли нарасхват.

— Да я, собственно, не против. Давайте. С чего начнем?

— Вот об этом как раз и надо подумать.

— А-а, — говорю понимающе. — Вы, небось, хотите начать с того, чтобы я дал отпор буржуазной пропаганде, Солженицыну или себе самому.

— Да что вы, Владимир Николаевич! Я вам разве что-нибудь подобное сказал. Я хочу только одного, чтобы вы печатались здесь. Вы согласны?

— Если остановка только за моим согласием, то я вам его даю.

— Но как практически?

Объясняю, что практически способ печатания книг известен приблизительно со времен Гутенберга.

— Нет, мне бы хотелось услышать от вас какое-то конкретное предложение. Может, для начала что-то переиздать?

— Переиздайте.

— Или издать что-то новое?

— Могу предложить и новое. Только я чего-то не понимаю, — говорю, — вы же такие непримиримые бойцы и вдруг будете печатать человека с моими взглядами?

— А почему бы нет?

— Я тоже считаю, почему бы нет. Но мне кажется, что на вас это никак не похоже.

— Вот видите, я же говорю, что у вас об органах устарелые представления. Мне бы хотелось, чтобы вы нас лучше узнали. Давайте еще раз встретимся. Ну, не здесь (может быть, на вас эти стены давят), а где-нибудь в другом месте, в более непринужденной обстановке.

— В гостинице?

— Хотя бы в гостинице. А что?

— Нет, ничего. Но все-таки ваши предложения выглядят как-то странно. Слушайте, — говорю, — а

может быть, вы надеетесь завербовать меня в осведомители?

— Что вы! — всплескивает руками Лжепетров и хохочет. — Это, Владимир Николаевич, я бы даже побоялся вам предложить.

— Побоялись бы? И правильно. Мне ведь однажды предлагали. Но скажу вам честно, карьера стукача меня никогда не прельщала. Так если вы на это нацелились, нам не стоит встречаться и тратить время — ваше и мое.

Смеется.

— Все-таки вы нам не верите. Даже не знаю, как вас убедить, что мы от вас хотим только одного: чтобы вы печатались.

— И ничего больше?

— Ничего.

— Ну, так возьмите и для начала напечатайте «Чонкина», если он вам так понравился.

— А что, я бы напечатал. Правда, я попросил бы вас выбросить одно только слово — ПУКС.

— Одно слово? Немедленно выбрасываю.

Опять посмеялись (смешно, конечно). Поговорили о том, о сем. Кого я знаю из молодых писателей? Никого не знаю. Как поживает Корнилов? Ничего поживает.

— А деньги он из-за границы получает?

— Это вы у него спросите.

— А вы не знаете?

— Я не знаю.

— Ну так что, Владимир Николаевич, не хотите с нами встречаться?

— Да все никак не могу понять, для чего.

— Что ж тут непонятного. Подумайте, что именно вы хотели бы напечатать и где. И приходите со своими конкретными предложениями. Да что вы колеблетесь? Запишите телефон. Захотите — позвоните, не захотите — не звоните. Вы же ничего не теряете.

Ошеломленный открывшейся перспективой, я придвинул к себе лист бумаги и записал:

ПЕТРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 228—80—34

Покуда мы с хозяином кабинета жали друг другу руки, Захаров сбегал куда-то подписать пропуск и, вернувшись, пошел меня провожать.

Возле лифта в деревянной рамочке висела бумага с машинописным текстом: «Дирекция, партком и завком завода «Борец» выражает глубокую благодарность работникам Комитета Государственной безопасности за активное участие в коммунистическом субботнике».

Внизу стоял тот же сердитый прапорщик. Но на этот раз он не ворчал и выпустил меня на свободу по шоферским правам с фотокарточкой двадцатилетней давности, где не поймешь, я это или не я.

Вышел я на улицу: солнце стоит в зените, жена — на тротуаре.

— Ну что? — спрашивает.

— Ничего, — говорю. — Ты в книжную лавку писателей не заходила?

— Нет, — говорит, — я психовала.

— И напрасно, — говорю, — психовала. Зашла бы в лавку, может, там уже «Архипелагом ГУЛаг» торгуют.

Так вот, дорогой мой проницательный читатель, вы поняли, для чего они меня вызывали? Я не понял.

Может, намечаются перемены в культурной политике? Может, там, «наверху» кому-то жалко стало выкидывать на Запад писателей, художников, музыкантов. Может, до кого-то дошло, что не книги, а борьба с ними приносит вред государству.

Вы скажете, странно надеяться, что такие перемены начнутся в полицейском участке, а я ничего странного в этом не вижу. Если они когда-нибудь и начнутся, то именно там. А пока не начнутся, любые литера-

турные проблемы в Союзе писателей обсуждать так же бессмысленно, как в КГБ. Потому что за спиной говорящего с вами секретаря Союза писателей все равно незримо стоит тот же Лжепетров. Когда вы говорите с последним, все-таки на одну инстанцию меньше.

Итак, перемены? Не похоже. Что может быть еще? Я перебрал три возможные версии.

1. Хотят меня как-то скомпрометировать.

2. После предварительного прощупывания начнут угрожать с целью добиться от меня покаяния или вынудить к отъезду.

3. Согласны на компромисс. Я перестану делать заявления иностранным корреспондентам, они переиздадут что-нибудь из моих старых вещей и сделают вид (это на них похоже), что ничего не происходит, что никакого «Чонкина» не было.

Признаюсь, меня разжигало любопытство. Хотелось раскрыть их намерения. И хотя мои друзья советовали мне этого не делать, 11 мая я позвонил Лжепетрову.

— Владимир Николаевич? — обрадовался он. — Значит, решили встретиться? Ну давайте. Одну минутку, сейчас я определяюсь. Ну, допустим, в четыре часа в «Метрополе». Вам удобно? Очень хорошо. Вы эту гостиницу знаете? Не очень? Ну, чтоб вы там не путались, давайте встретимся у памятника Марксу. Договорились? Вот и хорошо. А как вообще настрой, Владимир Николаевич?

Сначала мне не понравилось слово «определяюсь», а слово «настрой» я почему-то так ненавижу, что оно вызвало у меня какое-то неприятное чувство.

— Встретимся, поговорим, — сказал я.

Без пяти четыре я выхожу из метро на площадь Революции. Солнечно. Жарко. Торгуют цветами. Может, купить букетик для Лжепетрова? Или наоборот,

он должен меня встречать с букетом. Интересно, так я и забыл потом спросить, кто же он все-таки есть? Да вот еще проблема, узнаю ли я его. У меня очень плохая память на лица. Высокий, черный, в очках. Должен узнать. Итак, скажу им, что наметил, и погляжу, что будет дальше. Ира просила, когда буду возвращаться, зайти в хозяйственный магазин на Кузнецком, купить нафталин. Ну, это я успею. Хорошо бы достать где-то пива. В такую жару вряд ли, но надо попробовать возле Белорусского, там магазин хороший.

Чтобы попасть к памятнику, надо пройти мимо «Метрополя». Время без трех четыре. Смотрю, возле входа в гостиницу мечется чем-то взволнованный рыжий Захаров. Кому-то кивнул головой, кому-то махнул рукой. Резко повернулся, наткнулся на меня, смутился, сунул руку, тут же выдернул и со словами «Там Николай Николаевич» кинулся со всех ног к проспекту Маркса. Тут бы мне надо насторожиться, а я ничего. Вдруг смотрю: мимо, обогнав меня, туда же, к проспекту идет и Николай Николаевич. Оказывается, я узнал его даже сзади. Идет, и тоже кому-то кивает и делает какие-то странные знаки. И вот сзади он мне вдруг так не понравился, что не могу даже и передать. Спина его мне сейчас говорила больше, чем он сам там, на Лубянке. Он шел, чем-то выделяясь из толпы. У него был вид блатного, который вышел «на дело». Дошел до угла и через голову показывает большим пальцем на памятник. Из-за угла вылетает Захаров, показывает Лжепетрову на меня, оба поворачивают и идут мне навстречу.

(Меня потом спрашивали, почему, заметив какие-то приготовления, я не сбежал. Не знаю, мне и в голову не пришло бежать.)

Здороваемся. Поднимаемся в лифте на четвертый этаж. Молча проходим мимо дежурной. Идем по роскошному коридору с отполированным паркетом.

— Ваши герои, — оборачивается ко мне Лжепетров, — в такую обстановку еще не попадали?

— Пока не попадали, — говорю я, словом «пока» намекая, что с его помощью могут попасть*.

Входим в номер 480. Большая комната. Посредине стол со стульями. Справа от дверей два глубоких кресла спинками к стене. Между ними журнальный столик. Над столиком высоко какая-то картина. Справа от дверей ниша, наполовину задернутая красной гардиной, там виден угол кровати.

— Куда сядем? — Лжепетров пошарил глазами. — Ну, вот, пожалуй, сюда.

Показал мне на одно кресло, сам сел в другое. Я достал сигареты. Захаров принес пепельницу, придвинул стул и сел передо мной.

— Ты, кажется, тоже куришь? — спросил Лжепетров.

— Да, курю, — сказал Захаров и вынул из кармана нераспечатанную пачку «Столичных», но я не помню, чтобы он ее распечатал и не помню, чтобы хоть раз за время этого нашего разговора закурил. Хотя в прошлый раз курил много.

Когда он показывал сигареты, я заметил, что у него на левой руке возле часов болтается какая-то прямоугольная штучка, что-то вроде брелка, но никак ею не заинтересовался.

Разговор начался с пустяков. Лжепетров сказал, что в Москве жарко и спросил, не собираюсь ли я на дачу. Собираюсь. Куда? Туда-то.

— Будете там работать?

— Буду работать и разводить огород.

— Как этот ваш селекционер? — засмеялся Захаров.

— Примерно так.

* Теперь попадут.

— И что же вы там выращиваете? — спросил Лжепетров.

— Да так, всего понемножку. Огурцы, лук, петрушка.

— Да. Ну, редиска, — сказал он, — у любителей не всегда вырастает... — И переглянулся с Захаровым.

Я понял: демонстрирует свою осведомленность. О редиске я кому-то говорил недавно по телефону.

— Между прочим, — вдруг сказал Лжепетров, поднимаясь, — посмотрите, это очень интересная картина. По-моему, это ваши герои, а?

Я тоже поднялся. На картине (на мой взгляд, вполне бездарной) были изображены какие-то мальчишки, тянувшие сетью рыбу.

— Это мои герои? — удивился я.

— Ну, деревенские мальчишки, — объяснил Лжепетров. — Мне кажется, что-то в вашем духе. Это у них бредень, что ли?

— Не знаю, я не рыбак, — сказал я и мы сели на свои места.

После этого я сказал, что долго думал о нашем предыдущем разговоре, не знаю, что все это означает, но если это не ловушка и не провокация (Захаров опять схватился за голову), а мои собеседники всерьез думают о том, как вернуть меня в советскую литературу, то я готов предложить им реальный план. Для начала пусть будет издан сборник моих избранных произведений, на основе того, что было опубликовано когда-то в «Новом мире», с включением в него рассказа «Путем взаимной переписки». Правда, этот рассказ опубликован в «Гранях», но его вполне можно напечатать и здесь. В свое время его чуть не напечатал «Новый мир», но после отставки Твардовского печатать его уже было негде.

— Хорошо, — согласился Лжепетров. — А где? В каком издательстве?

— В любом, — сказал я.

— Ну что значит — в любом? Давайте подумаем, где у вас лучшие связи.

— Связи есть у вас.

Он долго не соглашался и предлагал мне назвать свои связи, что меня несколько насторожило. Потом он спросил меня, а как быть с Союзом писателей? Я сказал, что Союз писателей меня меньше всего интересует. Он возразил, что без возвращения в Союз ничего нельзя сделать и чтобы я позвонил, например, С. С. Смирнову. Я сказал, что если Смирнову нужно, пусть он сам и звонит, я никого просить, чтобы меня восстановили в Союзе, не буду. Лжепетров сказал, что надо действовать через кого-то, кто ко мне хорошо относится и опять стал интересоваться моими связями среди руководителей Союза. Делая вид, что не понимаю, чего он хочет, я от прямого ответа уклонился. Опять спросил, кого я знаю из талантливых молодых писателей (он им хочет помочь). Я повторил, что никого не знаю. Разговор, чем дальше, тем больше принимал зловеший характер и только позже я понял, почему не прекратил его вовремя. Я им все пытался объяснить положение в литературе.

— Мне кажется, — сказал я, — у вас по этому поводу превратные представления. Люди, которые вам об этом пишут, может быть, намеренно искажают картину. Такие, как я, вам не пишут. Но я готов написать, насколько смогу объективно, что происходит и что нужно делать. Я напишу лояльно. Я не буду требовать того, что вам кажется совсем невозможным. Но что-то делать нужно. Без лишнего шума и без подрыва основ. Может быть, это бессмысленно, ну а вдруг вы с чем-то и согласитесь. Я напишу, а вы передадите вашему шефу.

— Очень хорошо! — сказал Захаров. — Непременно передадим.

— Да, — сказал Лжепетров, — такой документ безусловно необходим. Но мне лично хотелось бы,

чтобы в этом документе вы рассказали подробно, каким именно образом вы выходите на связь с иностранными корреспондентами, как эти связи развиваются...

— А-а, — сказал я, — я думал, что с вами, и правда, можно всерьез говорить.

— Именно всерьез, — подтвердил Лжепетров. — Если вы хотите... то есть хотите нарисовать объективную картину, то для полноты ее...

— Ладно, — сказал я, — это, видно, разговор бесполезный.

— Нет, почему же. Нас сегодняшнее положение очень волнует.

— Не похоже, — сказал я. Но все-таки стал что-то объяснять. В общем и на конкретных примерах.

— Вот представьте, — говорю, — один писатель принес в редакцию рукопись...

— Какой писатель? — перебивает Лжепетров.

— Неважно, — говорю я. — Вот он приносит рукопись...

— Как его фамилия?

— Войнович.

— А-а, — и Лжепетров теряет интерес к тому, что случилось с рукописью и с писателем.

Заходит разговор о Литфонде. Лжепетров интересуется, член ли я этой организации. Я сказал — нет.

— Вам сообщили, что вы исключены?

(Опять телефон. Кому-то недавно я объяснял, что не сообщили).

— Нет, не сообщили.

— А откуда ж вы знаете?

— Мне одна женщина сказала.

— Какая женщина?

— Которая там работает.

— А как ее фамилия?

— А зачем вам это знать?

— Ну как же? Нам же нужно знать, можно ли доверять ее словам.

— Вы можете не доверять и проверить сами. Позвоните туда и спросите.

— Нам самым неудобно звонить. Знаете, сразу пойдет слух, что Войновичем интересуется КГБ.

— У вас там есть свои люди, вот им и позвоните.

— Какие свои люди? — изумляется невинный Захаров.

— Ну, есть один, — говорит Лжепетров, как бы выдавливая из себя признание.

— Вот у этого одного и спросите.

— Это нам тоже неудобно, потому что этот может разболтать.

— Ну знаете, — если вы, разведчики, не можете выяснить такую простую вещь...

В этот момент я как раз и заметил, что предмет, принятый мной сперва за брелок, совсем вывалился у Захарова из рукава и болтался на двух проводах*. Тут-то я и спросил, микрофон ли это, и хотел схватить предмет, но Захаров успел отдернуть руку и запихал предмет назад в рукав. Это и был тот самый момент, когда мне показалось, что со мной и Лжепетровым что-то случилось. Лжепетров стал часто кивать головой и не глядя на меня бормотать «мы с вами откровенно, вы с нами не откровенно, откровенно, не откровенно» — и так минут пять или больше. Помню, я ужасно напрягся, пытаюсь понять, что он бормочет, но понять ничего не мог. Наконец он поднял голову, посмотрел на меня диким взглядом и сказал первую осмысленную фразу: «Хочешь, я расскажу тебе про свою семью?»

* В своем заявлении Немецкому комитету защиты прав человека я оговорился, сказав, что микрофон выпал из кармана. Объективности ради спешу исправить эту оплошность. — В. В.

— Не надо про семью, — сказал я, — скажите мне лучше, кто вы такой?

— Ну, я начальник отдела.

— Ответственный сотрудник Комитета, — добавил Захаров почтительно.

— Ну так вот что, — сказал я, — ни о какой откровенности речи быть не может. И не надо мне совать в нос микрофон.

— Да какая тебе... — Я посмотрел на него и хотел сказать, чтобы не «тыкал», но он сам поправился... — вам разница, где микрофон — в рукаве или в стене? Вы же понимаете, что эта комната оборудована и что тут везде микрофоны.

Мне показалось, что в его словах есть резон.

Я ведь не сомневался, что меня записывают. Пусть пишут, пусть дадут прослушать начальству. Своего образа мыслей я не скрываю.

И я остался.

Поговорили о том, что у каждого писателя свой творческий метод.

— Вот Дудинцев, например, пишет так. У него к стенке прибиты карманы. Он напишет несколько листов — кладет в один карман, напишет еще — кладет в другой. А вы не так пишете?

— Нет, я не так. Мой творческий метод состоит в том, что свои листки я прячу гораздо дальше. Так, что придя ко мне, вы ничего не найдете. После истории с романом Гроссмана многие писатели овладели подобным творческим методом.

Захаров, он любознательный, интересуется, поют ли и сейчас мою песню «14 минут до старта»?

— Не поют, — говорю, — а исполняют. Без слов. Как гимн Советского Союза.

— Жалко. Такая хорошая песня. А как вы ее написали?

И когда я им сказал, что написал ее примерно за 14 минут, они оба за головы схватились. И было от

чего. Ведь я за эти четырнадцать минут работы денег получил столько, что они, несмотря на свои высокие оклады, вдвоем, может, и за год не заработают. Да, им бы такой талант! Разве стали бы они бегать, как урки, перед гостиницами. Да они бы... Нет, они мне этого не сказали, но, не сомневаюсь, подумали: вот дурак-то! Писал бы свои эти песенки, жил бы припеваючи, намазывая черную икру на красную. (Да такого дурака и отравить-то не жалко.)

Лжепетров вдруг, развернув кресло, садится лицом ко мне.

— Вот представьте, — говорит он. — Вы секретарь Союза писателей. А я писатель Петров...

— Представляю. Сейчас таких писателей много.

— Почему это вы так говорите? — оскорбился Захаров то ли за своего начальника, то ли за Союз писателей.

Но Лжепетров не обиделся.

— Вот вы узнали, что я, писатель Петров, печатаюсь в «Посеве». Вы меня вызываете...

— Да не буду я вас вызывать, печатайтесь, где хотите.

— Но так же нельзя.

— А если вам кажется, что нельзя и Петров при этом пишет что-то путное, создайте условия, чтобы он печатался здесь.

— Но нельзя же печатать всех.

— Если нельзя всех, печатайте лучших. Хотя бы за счет какого-нибудь Пантиелева (вот и фамилию им назвал), который свою макулатуру издает сотнями тысяч.

— Но ведь Пантиелев в «Посеве» не печатается.

— Да его и здесь не надо печатать. Он никому не нужен.

— Значит, «Посев» печатает только то, что хорошо?

— Ну, наверно, не только. Но вы сами отдаете им все лучшее.

Что-то со мной происходит. Мне кажется, я плохо слышу своего собеседника, переспрашиваю, напрягаюсь. Разговор явно идиотский, но я почему-то даже не пытаюсь его прекратить. Лжепетров пристально в меня вглядывается, словно силится определить что-то по моему виду. Но вот, видно, определил, поставил кресло на место и опять ленивый разговор о том, о сем, о КГБ. Многие к КГБ относятся подозрительно. Где что случится, все валят на КГБ. Про художника Попкова тоже говорили, что его КГБ убило. Вся западная пресса шумела: КГБ убило левого художника (он, между прочим, никакой и не левый). А на самом деле, как получилось? Он пьяный ловил такси. Остановил машину, полез, а там сидел инкассатор, тоже «под мухой», он с перепугу выстрелил. Пуля вошла сюда (Лжепетров показал куда) и вышла отсюда (опять показал). И тут мне подумалось, он желал меня убедить, что хотя КГБ такими делами не занимается, за всех инкассаторов «под мухой» оно поручиться не может.

Зашла речь опять о ВААПе (я его в свое время называл ВАПАП, а Лев Халиф еще лучше: ВОХРАП — вооруженная охрана авторских прав). Я сказал: «Мне ваш ВААП не нужен, у меня есть свой адвокат, который мои права достаточно хорошо защищает».

— А у вас с вашим адвокатом постоянная связь? — спросил Лжепетров.

— Прерывистая, — сказал я.

— Прерывистая? — обрадовался он, словно только и ждал этого слова. — И наша жизнь тоже штука очень прерывистая... да, прерывистая. Впрочем, — он решил затуманить свою угрозу, — вообще, что наша жизнь по сравнению с вечностью? Только миг.

Чуть позже (или наоборот раньше — этого я как раз не помню) он мне вдруг объявляет, что им было приказано меня предупредить (о чем предупредить, не сказал).

— Так что ж вы дурака валяете? — спрашиваю.
— Если приказано, предупреждайте.

— Но мы же хотим по-хорошему.

— Если вам приказано по-плохому, так выполняйте приказ.

(Так между прочим и не выполнил. Никакого предупреждения я от него не услышал.)

И уже нет уважения к любимому писателю: «У нас семь тысяч только членов Союза. А еще семьдесят тысяч не членов, которые тоже хотят печататься».

(Нет, все-таки они меня выделили. Ведь не каждому из семидесяти семи тысяч они угрожают убийством.)

А еще намекают, что «Чонкин» — вещь вполне антисоветская.

— Как-то там у вас все странно написано, — хихикает Захаров. — Записка «Если погибну, прошу считать коммунистом» — вдруг оказывается... хи-хи... под копытом лошади.

— Ага, — говорю, — вам, значит, это не нравится? Так вы бы так и сказали. Я-то ведь и рассчитывал, что вам не понравится. Что ж вы мне голову морочили?

— Нет, ну знаете, как-то все-таки... хи-хи... выпустить такую книгу к тридцатилетию победы... хи-хи...

— А чего же вы сейчас спохватились? Тридцатилетие уже кончилось. Уже четвертый десяток пошел.

Угрозы сменяются опять примирительным тоном. Несмотря ни на что, Лжепетров надеется, что во мне (ну, пусть на самом доньшке) осталось еще что-то советское. «Вы же были рабочим, не то что там какая-нибудь гнилая (так и сказал) интеллигенция». Так

вот, нет ли у меня желания повариться в рабочем коллективе?

— Ах, в рабочем коллективе? Хотите приставить меня к станку или к тачке?

— Да что вы! — Захаров опять хихикает. — Вы думаете, мы хотим вас перевоспитывать — хи-хи — по китайскому методу?

— Да по китайскому методу надо, чтоб еще воспитуемый согласился.

— Одного понять никак не могу! — горестно восклицает Лжепетров. — Ну, было бы вам семьдесят лет. В семьдесят лет жизнь по существу уже кончена. Но кончать ее в сорок три... — Он недоуменно разводит руками.

Его слова проходят мимо моих ушей. Смысл их я осознаю потом. А он закрепив во мне эту угрозу, возвращается к прежней идее с другой стороны. Идея эта, как я понял, чтобы я прекратил работу над «Чонкиным». Его интересует, когда появится продолжение. Он надеется, что не раньше, чем лет через десять-пятнадцать. А пока хорошо бы мне сделать что-нибудь для телевидения. То есть, видимо, он хочет подыскать мне (лет на десять-пятнадцать) халтуру. Нет, говорю, для телевидения ничего писать не хочу. Во всяком случае сейчас. Если хотят, пусть поставят что-нибудь старое, например, повесть «Владычица» из последней книжки. Для телевидения в самый раз.

И не ему, а микрофону объясняю азбучные истины. К литературе нельзя относиться утилитарно. Она не должна решать никаких хозяйственных задач или помогать выполнению пятилетнего плана (да она и не может этого делать). У нее другие цели и рассчитана она на большие сроки. Литература, говорю, как дерево. Она не может быть ни советской, ни антисоветской. Кто ее считает своей, тому она и служит. Бессмысленно и глупо предъявлять литературе невыполнимые требования. Представьте, что кон-

структор построил ракету в виде серпа или молота. Про него скажут, что он или вредитель, или сумасшедший. Но книги у нас чаще всего конструируются как раз по такому принципу. Кому от них польза? Если уж вы не можете совсем отказаться от цензуры, то по крайней мере надо значительно ограничить ее функции. Вы, говорил я, сами создаете себе проблемы там, где их могло бы не быть. В России испокон веков существовала цензура, но все-таки существовала и великая литература. Излишние усилия по подавлению мысли не оберегают государство, а как раз наоборот — ставят его в опасное положение. Вот когда я писал книгу о Вере Фигнер, я много раз думал, что царский строй, применяя силу там, где в этом не было никакой необходимости, действовал как раз против себя. И против вас никто не действует с большей настойчивостью, чем вы сами.

— А-а! — радовались мои собеседники. — Значит, вы находили какие-то аналогии?* — Не суть дела была важна им, а материал против меня.

— Писателя, — говорил я, переходя на наше время, — нельзя убеждать только угрозами. Если писателя бьют дубиной по голове, то его либо убивают, либо дают ему новую тему. Вот, например, сравните первую часть «Чонкина» со второй. Первая написана в моей манере, иронично, но добродушно. Я так и хотел написать что-то вроде сказки про Иванушку-дурачка на войне. Но когда я послушал, какую злобную чушь говорили о моих намерениях секретари Союза

* Между прочим, попробуйте обойтись без аналогий, читая, например, сообщение петербургского корреспондента «Таймс» о процессе 193-х (1878 г.): «Я присутствую здесь вот уже два дня и слышу пока только, что один прочитал Лассалья, другой вез с собой в вагоне «Капитал» Маркса, третий просто передал какую-то книгу своему товарищу».

писателей, я поневоле перешел от добродушной иронии к острой сатире.

— Ага! — потирали руки мои новые дружки. — Значит, вы имели в виду не только прошлое?

Это они предворяли мои предполагаемые в будущем увертки, что я пишу только о том, что давно прошло. А я, между прочим, и не собираюсь утверждать ничего подобного.

Наконец, до меня дошло, что передо мной сидят два истукана, которых ничем не проймешь. Всё, что они знают, все их представления о жизни, литературе, о том, что хорошо и что плохо — подслушаны. Редиска у любителей не вырастает? Подслушал по телефону. Нельзя жениться на крестной дочери? Услышал от Якубовича. Нельзя выдавать человека, который переправлял твои рукописи? Тоже от кого-то услышал. (Так, глядишь, со временем подслушают десять заповедей и узнают, что нехорошо убивать, прелюбодействовать, красть, произносить ложное свидетельство на ближнего своего.)

Я посмотрел на часы и удивился. Было ровно семь! Мне казалось, что времени прошло гораздо меньше*. Я встал, они тоже. Опять они меня спросили, поеду ли я на дачу и что там собираюсь делать. Я отвечал, что буду выращивать пукс. Они хихикали и предлагали зачем-то позвонить через две недели. Я соглашался и жал им руки, хотя сам удивлялся, зачем это делаю. Потом я направился не к дверям, а к нише с наполовину задернутой портьерой.

— Нет, нет, не сюда! — испугался Лжепетров и направил меня к дверям, которые возникли передо мной, как из тумана.

В каком-то странном состоянии я вышел в коридор и пошел не к выходу, а в противоположную сто-

* Есть предположение, что было выпадение памяти. Возможно, это случилось тогда, когда Лжепетров, как мне показалось, сошел с ума.

рону. Дошел до стеклянных дверей. Они были закрыты, но я долго стоял перед ними, пытаюсь понять, как сквозь них проникнуть. Наконец сообразил, что пошел не в ту сторону, повернул обратно, прошел мимо дежурной, посмотрел на нее — любопытно было, как она реагирует на выходца из номера 480. Лица ее я не разглядел. Оно как-то расплывалось, но меня это почему-то не удивило. Я спустился вниз и вышел на улицу.

Мне было плохо. У меня все болело: голова, сердце, ноги. В таком состоянии надо было сразу ехать домой. Но жена просила меня купить нафталин. Обычно ее поручения тут же вылетают у меня из головы. Сейчас мне казалось, я не могу вернуться без нафталина. С тупым автоматизмом я действовал по заранее намеченной программе. Еле переставляя ноги, пересек проспект Маркса по подземному переходу, вышел на Кузнецкий мост и повернул направо — к Лубянке. Там, немного не доходя, хозяйственный магазин. Я видел только то, что было прямо передо мной. В магазине я не видел ничего, кроме нафталина. С трудом умножил восемь копеек на четыре пачки. Выйдя из магазина, вспомнил, что собирался купить пиво. Сейчас оно мне было совершенно не нужно, но, повторяю, я тупо выполнял заранее намеченную программу. От магазина пошел пешком на улицу Горького. Там сел в троллейбус, доехал до Белорусского вокзала. Зашел в один магазин, затем в другой. Пива, к счастью, не оказалось ни там, ни там. Как добрался домой, точно не помню, кажется, на метро. На расспросы жены отвечал односложно. Кажется, только здесь до меня что-то дошло, я сказал: «Мерзавцы! Они грозили меня убить». Чувствуя, что мне как-то не по себе, я включил телевизор. Показывали хоккей. Стал смотреть, но не мог понять, кто, куда и зачем бежит. Я отметил, что ничего не понимаю, но не испытывал при этом ни досады, ни недоумения. Выключил

телевизор, пошел к Корнилову. Он и его жена, несмотря на то, что в комнате было полутемно, обратили внимание на мой необычный вид. На вопрос: «Что случилось?» я ответил: «Ничего». Тут к ним зашла соседка, и я ушел, ничего не рассказав. Впрочем, вряд ли я был способен что-то рассказывать.

Вернувшись домой, лег и по привычке взял почитать перед сном какую-то книгу. Но не мог ничего понять. Взял свою собственную книгу, но и в ней ничего не понял. Видел отдельные слова, но не улавливал смысла фразы.

Некоторое время спустя принял две таблетки элениума — не помогло.

Около часу ночи я начал осознавать необычность своего состояния. Не желая беспокоить жену, я ее не позвал, но стал записывать свои подозрения:

«Что-то мне нехорошо. У них есть какой-то способ убивать так, что человеку становится плохо с сердцем. Так, говорят, убили Бандеру».

Сейчас я смотрю на эту запись. Почерк мой. Кривоватый, но я писал лежа. Точки и запятые на месте.

«Время 1.00. Принял валидол, сосу (потом сделаю еще запись). Я не мог так разволноваться. Я не волновался, когда говорил с ними. Сейчас у меня пульс 120...»

На самом деле, я думаю, пульс был чаще. Он был какой-то дерганный, я не мог его сосчитать и записал цифру, которая мне казалась предельной.

«1-12. Как будто в груди немного лучше, но болит голова, как будто от давления. Попробую заснуть, хотя несмотря на 2 таблетки элениума пока никакого эффекта».

Помню, здесь я отметил, что написал дважды «как будто», но решил, что сойдет и так. Повышенное давление у меня никогда не отмечалось, ощущения, которые возникают при этом, я знал понаслышке.

«1-25. Я не знаю, зачем они решили сделать это сейчас. Может быть, из-за разоблачения микрофона. Когда еще я их встретил на улице, они чем-то были явно взволнованы.

1-30. У меня не может быть сердечного припадка. Я последнее время себя очень хорошо чувствовал, а сегодня несколько не волновался.

1-30. Принял две таблетки беллоида.

1-35. Пока я говорил со старшим, младший куда-то выбегал. Может, за санкцией. У меня очень странные ощущения, каких никогда не бывало.

1-35. Он мне слишком много намекал на смерть. Рассказывал о художнике — раз. Сказал, что жизнь прерывиста — два. Потом сказал такую фразу: Я понимаю, если б вам было 70 лет, жизнь кончена, а так...

2-00. Чувствую себя неплохо, хотя закладывает уши. Не знаю, почему, но сейчас явное ощущение, что они со мной что-то сделали. На всякий случай за столом баночка с мочой. Надо сделать анализ.

2-05. Немного хочется спать, ноги ватные. Сейчас вспоминаю, что когда я сказал про микрофон, в голове возник какой-то туман. Старший что-то болтал, как в бреду, совершенно бессмысленное, но и я будто был в бреду. Это ощущение было недолгим, меня оно как-то удивило, но четко я его не отметил».

На этом я перестал вести записи, считая, что отметил самое главное. Но заснул после трех часов*. Проснулся в пять. Пульс был 140 (теперь уже точно). И это после сна, пусть и недолгого. Провалившись до восьми часов, я встал. Я чувствовал себя отвратительно, но сел за машинку. Я считал, что случившееся со мной надо немедленно предать гласности. Вечером друзья помогли собрать пресс-конференцию. Я прочел

* Прочтя эти записки, жена сказала, что в 3 часа я ее разбудил и высказал свои подозрения. Я этого не помню и сейчас.

и раздал журналистам копии открытого письма Андропову. Но в нем говорилось только об угрозах. В том, что меня к тому же и отравили, я сам еще не был уверен. Все-таки я рассказал о том, что со мной было ночью. И высказал предположение, что предмет, принятый мною за микрофон, на самом деле был чем-то другим.

Я попытался описать этот предмет. Небольшая коробочка, по-видимому, из пластмассы. Приблизительные размеры: 25х20х5 мм. Боковые стенки зеленого цвета, пластинка, обращенная ко мне, — кремового. В пластинке несколько рядов мелких отверстий. Два провода: зеленый большого сечения, белый меньшего. Мои подозрения: коробочка не микрофон, а смеситель и распылитель двух газов. Провода — шланги. По зеленому подается один газ в большем количестве, по белому другой газ в меньшем количестве.

Вижу, журналисты смотрят на меня недоверчиво. Но мне и самому мои предположения кажутся дикими. У меня нет никаких доказательств. Есть только смутные субъективные ощущения. И еще вот какие соображения.

Для чего в комнате, которую можно оборудовать как угодно, пользоваться еще и микрофоном, спрятанным в рукаве? А если и в рукаве, то для чего такой большой микрофон? Ведь при современной технике микрофон может быть размером со спичечную головку. У меня у самого был когда-то такой, а уж у них-то...

13 мая я все еще чувствовал себя плохо. Болела голова, закладывало уши, в ногах не проходило ощущение тяжести. Днем смерял пульс — 140. Выпил что-то сердечное, лег. Вечером пришел мой приятель, врач. Выслушал мой рассказ внимательно и не поверил. Предположения насчет газа отмел сразу. «А они что же, в противогазах сидели?» Нет, говорю, но, наверное, они приняли какое-то противоядие. «Это

невозможно. Кроме того, газ непременно подействовал бы в первую очередь на дыхательную систему. Какие-нибудь неполадки с дыханием у тебя были?» — «Не было». — «Галлюцинации? Тошнота? Рвота?» — «Не было». — «Ты там не пил, не ел?» — «Нет. — «Сигареты курил свои?» — «Свои».

— Володя, — говорит мой приятель, — поверь мне, того, что ты рассказываешь, просто не могло быть. Было жарко, ты разволновался, у тебя поднялось давление, от этого мог произойти и какой-то сдвиг в сознании. Микрофон они тебе показали нарочно. Они, может быть, намеренно действовали на твою психику. Ты будешь говорить об отравлении, а они объявят тебя сумасшедшим. Они, может быть, только этого и ждут.

Все же он меня простучал, прослушал, посчитал пульс.

— Ну есть, конечно, некоторая тахикардия. Это от волнения. Ты и сейчас волнуешься.

— Я волнуюсь оттого, что ты мне не веришь. Там я не волновался. Наоборот, я был идиотски беспечен. Пойми, мне никогда ничего не казалось.

— Но и таких случаев у тебя никогда не было.

— Были. Однажды в меня стреляли из винтовки. Однажды совали в нос пистолет. Почему-то тогда мне ничего не казалось.

Так он мне и не поверил.

А я стал сомневаться. Может, и правда, показалось. Меня, как и других писателей, иногда посещают больные люди. (Писателя многие воспринимают как официальную инстанцию и приходят с жалобами). И каждого из них либо травят газами, либо пронизывают какими-то невидимыми лучами. Один даже показал мне свинцовые пластины, которыми он загоразживает сердце спереди и сзади.

Накапав себе побольше корвалола, лег спать. Утром проснулся успокоенный. Да, конечно, мне пока-

залось. И неудобно, поднял панику, заставил приятеля тащиться с другого конца города.

Посчитал пульс — 140. И голова болит. И в ногах тяжесть. Вместе с приятелем поехали в больницу к кардиологу. Рабочий день только что кончился, у старика было время. Приятеля моего он знал, меня видел впервые.

— Прежде чем вы скажете, что с вами случилось, ответьте, пожалуйста, на мои вопросы.

— Видите ли, тут случай не совсем обычный, поэтому, может быть, лучше сразу начать с него.

— Нет, нет. До вашего случая мы еще дойдем. — (Каждому больному его случай кажется необычным). — Я вам буду задавать вопросы, может быть, поначалу они вам покажутся странными, но потом вы поймете, что я ничего не спрашиваю зря.

И пошли вопросы. Болел ли в детстве коклюшем, тифом, скарлатиной, дизентерией. Занимался ли физическим трудом? Сколько времени? Теперешний образ жизни? Квартирные условия? Отношения в семье? Делаю ли зарядку? Гуляю ли? С какого возраста курю? Сколько сигарет в день выкуриваю? Все я ему о себе рассказал, как на духу.

— Ну хорошо, — сказал наш профессор довольно. — Теперь рассказывайте про ваш необычный случай.

Услышав слово «КГБ», он отъехал вместе с креслом и оглянулся. Но сзади него не было ничего, кроме стены. Слушая мой фантастический рассказ, он несколько раз менялся в лице.

— Вот что, дорогой, — сказал он взволнованно, — прошу вас, никому этого больше не рассказывайте. Поверьте мне, я знаю очень многих больных, которые рассказывают подобные истории.

— Я сам таких знаю, — сказал я.

— Ну вот видите, и вы знаете. Сейчас я вас проверю и вы убедитесь, что у вас все в порядке.

Пошли в кардиографический кабинет.

Уложив меня на кушетку, он укрепил датчики и включил кардиограф.

— Ничего не пойму, что-то тут дребезжит, — и он стал поправлять датчик на левой руке.

Потом считал пульс, мерял давление, простукивал меня и прослушал.

— Да, есть, — сказал он с некоторым изумлением.

— Что есть? — спросил я.

— Есть признаки отравления. Для вашего вялого состояния пульс слишком велик. Да и давление... Вы, небось, гипотоник?

— Гипотоник.

— А давление 130 на 90. Из того, что я знаю, похоже на реакцию после наркотика. Что-то вроде ЛСД или аминазина. Сколько дней прошло? Три? Вы считаете, что вас газом отравили? А они не выходили из комнаты?

— Один выходил.

— А другой был все время? — покрутил головой.
— А вы сигареты свои курили?

И он про сигареты!

И тут я вспомнил. Был ведь такой момент, когда Лжепетров отвлек меня от стола, где лежали мои сигареты. Когда он показывал мне ту идиотскую картину. Ведь в ней не было ничего интересного.

Пока он меня отвлекал, его младший соратник вполне мог подменить пачку. Я был достаточно беспечен, чтобы помочь ему в этом. Как же мне сразу не пришло это в голову?

Теперь становилось понятным, для чего еще там, на Лубянке, Захаров стрелял у меня сигареты. Он проверял мою бдительность. Может быть, даже подкладывал вместо вынутой сигареты другую (не отравленную), репетировал. Репетиция прошла удачно. Я за сигаретами не следил, даже наоборот, подвинул пачку к нему, чтобы он каждый раз не просил.

Думаю, что Захаров вообще некурящий. В гостинице он специально показал мне пачку «Столичных», чтобы я отметил: у него сигареты другого сорта. Пачка была нераспечатана. Не помню, чтоб он ее распечатал и чтобы курил.

Почему я всего этого сразу не вспомнил? Потому что память ко мне возвращалась постепенно, как бы кусками. Примерно шесть дней я чувствовал в себе последствия отравления. Шесть дней у меня под глазами были синие круги. За шесть дней я похудел на пять килограммов. (Неужели так уж разволновался?) О нераспечатанной пачке «Столичных» я и вовсе вспомнил только сейчас, составляя эти записки.

Так что же все-таки со мною случилось? Бред, возникший в результате волнения, отметаю.

Повторяю, я не только не волновался, но проявил крайнюю и даже непростительную в моем положении беспечность. Будучи в одурманенном состоянии, угрозы в гостинице не воспринимал, они дошли до меня только потом. Да и потом они меня не испугали. Наоборот, я решил (может быть, и ошибочно), что теперь нахожусь в большей безопасности, чем раньше. Теперь если я неожиданно умру от инфаркта, от солнечного удара, попаду под машину, повешусь на дереве, утону, свалюсь с лестницы или просто бесследно исчезну, никто не поверит, что это произошло без участия Лжепетрова или его коллег.

Публикуя «Чонкина», я, как уже было сказано выше, приготовился ко всему. К тюрьме, к ссылке, к высылке и даже (может быть, такое признание кого-то шокирует) к смерти. У меня нет панического ужаса перед ней, хотя бы потому, что так или иначе она неизбежна. Один мой приятель («Как фамилия?» — спросит Лжепетров) любит повторять слова кого-то из великих (не помню фамилии): наша жизнь случайна, а смерть — законный исход. Другой мой приятель выражается проще: «Моих пятидесяти лет у меня уже

никто не отнимет». Третий приятель (фамилию его можно прочесть на надгробной плите) всю жизнь мечтал «выкричаться», но все откладывал свое намерение на потом. «Вот когда буду умирать, — утешал он себя, — тогда я...» Он был на семнадцать лет старше, чем я сейчас, когда ему удалось накричаться вдоволь. Раздираемый изнутри метастазами, он кричал от физической боли, даже не зная, что тот час, когда бы он мог позволить себе крикнуть что-то другое, уже наступил (врачи и родственники его, конечно, обманывали, говоря, что у него всего лишь радикулит). Особенность писательской профессии состоит в том, что можно сказать что-то и после смерти (если позаботился об этом при жизни). Но моему старшему приятелю не суждено было и это. Его родственники, чтобы не повредить ему, похоронили то, что он писал тайком, неизвестно где. Не повредить ему, значит, попытаться устроить его на каком-нибудь более или менее приличном кладбище (допустим, на Востряковском), где бы он мог лежать, как почитаемый властями покойник. Не повредить ему, значит, издать сборник его избранных произведений — то есть избрать из всего им написанного самое худшее, чего он стыдился при жизни (все-таки вот опять появилась его фамилия на обложке).

Нет уж, от подобной участи, Боже, меня избавь. Не хочу я дожидаться ее ни семнадцать лет, ни двадцать, ни сто.

Что и говорить, в сорок три года умирать не хочется и страшно. А в семьдесят разве нет? Но сколько моих ровесников только в последнее время пропали ни за что, ни про что. Один подавился костью, другой утонул, третий умер с перепоя, четвертый застрелился. Право, быть убитым КГБ — не самый бесславный конец.

Я скептик. Я не верю, что какая-то книга может изменить в мире хоть что-то. И в свои книги в этом

смысле тоже не верю. Хотя и надеюсь, что в чьей-то душе написанное мной как-нибудь отзовется. Но как каждый писатель, я честолюбив. И, конечно же, мне приятно сознавать, что вымышленный мною маленький кривоногий солдатик с винтовкой устаревшего образца так испугал столь могущественную и вооруженную до зубов организацию, в которой состоит Лжепетров.

Да, автора можно убить, это нетрудно. Но с солдатиком уже ничего не сделать. Он отбилсЯ от капитана Миляги, отбилсЯ от генерала Дрынова и от Лжепетрова как-нибудь отобьется.

Откровенно говоря, я даже рад, что со мной это произошло. Последнее время я жил беспечно и безнаказанно. Правда, меня исключили из Союза писателей, но это для меня не наказание, а честь*. Меня не печатают? Но это не совсем так. Книги, изданные за границей, так или иначе доходят и до наших читателей в неизуродованном виде. Я был (и пока есть) свободным человеком и за эту свободу готов дорого заплатить (я объяснил Лжепетрову, но он не понял. Понятия дорого или дешево у него связаны только с деньгами). Я рад случившемуся, потому что понял: если придется мне вернуться к Лжепетрову и я буду знать, что уже никогда оттуда не выйду, ни пощады, ни снисхождения не попрошу. Я говорил с Лжепетровым вежливо только потому, что вопреки очевидности верил еще, что он человек.

* Некоторые писатели обижаются на меня, что я плохо отзываюсь об организации, в которой они состоят, принимая эти отзывы на собственный счет. Разъясняю свою позицию. В Союзе писателей есть несколько человек, к которым я отношусь с симпатией, есть хорошие писатели и просто хорошие люди. Но, пусть меня извинят, уважаю я их каждого отдельно, а не в качестве членов этой организации.

Нет, я не камикадзе. Меня беспокоит судьба моя и моих близких. Но и судьба других людей меня беспокоит тоже. Если Лжепетров со своим коллегой позволили себе сделать такое с «небезызвестным между тем» (выражение «Немецкой волны») писателем, то, что они могут делать с людьми между тем вполне безызвестными? И в особенности с теми, кто попадает в лапы Лжепетрова не на три часа, а на годы.

Для специалистов, которые попытались бы установить, какими веществами кагебисты воздействовали на мой организм, суммирую основные признаки отравления:

1. Некритическое отношение к своему поведению и состоянию.
2. В первый день автоматическое следование заранее намеченной программе (нафталин, пиво).
3. Круги под глазами (шесть дней).
4. Резкая потеря веса (шесть дней).
5. Учащенное сердцебиение (на четвертый день сбито лекарствами).
6. Жжение в икрах ног (шесть дней).
7. Постепенное возвращение памяти и постепенное осознание случившегося (шесть дней).

Что касается способа отравления, то версия о подмененных сигаретах сейчас кажется мне наиболее убедительной. Однако и другие возможности (все-таки «микрофон» выглядел странно) не исключаются.

Для чего же все-таки меня отравили?

Некоторые полагают, что был применен наркотик, вызывающий болтливость и откровенность. Но о своих взглядах я и при первой встрече без всякой отравы говорил им откровенно.

Их интересовали мои связи? Какие?

Я живу открыто. Круг моих друзей Лжепетров вполне мог определить хотя бы подслушиванием те-

лефона (что он и делает). Как я выхожу на связь с иностранными корреспондентами? Если он не идиот и не параноик, он мог бы легко установить, что я это делаю обыкновенно, по тому же телефону. То есть звоню такому-то и говорю о своем желании с ним встретиться. Подслушивая телефон и поставив у моего подъезда одного топтуна, Лжепетров мог бы установить, что я ни с кем, нигде, никогда не встречаюсь тайком. Что никогда не пользуюсь радиопередатчиком, тайнописью, не наклеиваю ни бороды, ни усов, не надеваю на ноги козьих копыт, не хожу ни в темных очках, ни в маске.

Вторая версия: они хотели меня попугать. Зачем? Неужели Лжепетров думает, что я с перепугу «Чонкина» переделаю в кантату о чекистах? Впрочем, допускаю, что через меня они хотели пугнуть и других.

И вот третья версия: они меня отравили с расчетом, что я умру дома или по дороге. Ведь обычно КГБ если и угрожает кому-то убийством, то делает это через посредников, вроде импортных террористов или доморощенных хулиганов. Но Лжепетров, высказывая мне сожаление о безвременном моем конце, явно надо мной глумился и, похоже, был уверен, что его слова я не успею никому передать.

Почему это у них не вышло, не знаю. Может, яд выдохся. Может, работали на сэкономленном материале. Может, спасло меня то, что, в последнее время сильно перекурившись, я не затягивался до конца.

Конечно, у меня нет достаточных доказательств, что целью отравления было именно убийство. Можно привести доводы и в защиту других версий. Но в любом случае происшедшее было актом бандитизма, а толковать сомнения в пользу своих отравителей я согласен только тогда, когда они будут сидеть на скамье подсудимых.

Май, 1975

ВОЙНОВИЧ Владимир Николаевич — родился в 1932 г. После окончания школы работал каменщиком, служил в армии. Начал печататься в 1961 году («Новый мир», № 1, повесть «Мы здесь живем»). Автор популярных повестей и рассказов («Хочу быть честным», «Вкупе», «Расстояние в полкилометра»). Его повесть «Путем взаимной переписки» была напечатана в журнале «Грани» № 87-88. В октябре 1973 г. после публикации в западной прессе «Открытого письма председателю ВААП Б. Д. Панкину» был исключен из Союза писателей. В марте 1974 г. французский отдел ПЕН-клуба избрал В. Н. Войновича своим членом. В 1975 г. издательство ИМКА-ПРЕСС издало его известный роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» (первая часть была опубликована в журнале «Грани» № 72, 1969 г.).

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

Свыше 1500 титулов на складе.

Требуйте каталоги

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

СТИХИ

Владимир Корнилов

ГУМИЛЕВ

Три недели мытарилась:
Что ни ночь, то допрос...
И не врач, не нотариус,
Напоследок — матрос!..

Он вошел черным парусом,
Уведет в никуда...
Вон болтается маузер
Поперек живота.

Революция с гидрою
Расправляться велит.
То наука не хитрая,
Если в гидрах — пиит...

Ты пошел, вскинув голову,
Словно знал наперед:
Будет год — флотский «чоновец»
Горшей смертью помрет.

Гордый, самоуверенный
Охранитель основ,
Знал, какой современников
Скоро схватит озноб!..

...Вроде пулям не кланялись,
Но зато наобум
Распинались и каялись
На голгофах трибун.

И спивались, изверившись,
И рыдали взасос,
И стрелялись, и вешались,
А тебе — не пришлось!

Царскосельскому Кипплингу
Пофартило сберечь
Офицерскую выправку
И надменную речь.

...Ни болезни, ни старости,
Ни измены себе
Не изведаль...

И в августе

В 21-м

к стене

Встал, холодной испарины
Не стирая с чела,
От позора избавленный
Петроградской ЧК.

1967

**
*

Говорят, водку гонят из нефти...
Ничего, наливайте. Не дрейфьте.
Я пригублю всего на глоток.
Я простужен, а может, продрог.

Говорят, ее гонят из угля...
Наливайте. Внутри как-то тухло.
Изнутри как-то совестно так,
Что и пойло не косит никак.

Говорят, выгоняют из торфа...
Ничего, не напьюсь, как оторва.
Все равно — уголь, нефть или торф —
Не сложить мне теперь и двух строф.

Все одно — что сосна, что береза,
Пойла мертвого я не хочу.
Потому сочиняю тверёзо
И давно себе прозу верчу.

Но когда ее гнали из хлеба,
Забывался в разгуле шальном
И мерещилось дальнее небо,
Что синело над жухлым жнивьем.

1969

ХОЛСТ

Я не любил восточных сказок
За пышный стиль, за дикий нрав,
За то, что властелина сглазив,
В них воцарялся хищный раб.

Я больше верил в быт неяркий
И справедливость мелочей.
Но все ж вошел в Музей Подарков
В одну из тысячи ночей.

Еще недавно в жизни нищей
Была по карточкам еда,
А залы плыли, как добычей
Перегруженные суда.

Взамен Ван-Гогов и Сезаннов,
Марке, Матиссов и Дега,
Что были высланы из залов
В подвал, подальше от греха.

Такие громоздились дива,
Так выставлялись напоказ,
Что зритель жался сиротливо
Средь навербованных богатств.

И стало горестно и грустно,
Просторно стало и светло,
И сопричастностью искусству,
И гордостью меня прожгло.

1966-67

ПАМЯТИ СМЕЛЯКОВА

Не был я на твоём новоселье
И мне чудится: сгорблен и зол,
Ты не в землю, а вовсе на север
По четвертому разу ушел.

Возвращенья и новые сроки,
И своя, и чужая вина —
Всё, чего не прочтешь в некрологе,
Было явлено в жизни сполна.

За бессмертие плата — не плата.
Светлы строки, хоть годы темны...
Потому уклоняться не надо
От суммы и ещё от тюрьмы.

Но не будет четвертого Рима...
Не вернешься с поэмою ты
То ль из плена, а может, Нарыма
Или более ближней Инты.

...Отстрадал и отмаялся... Баста!
Возвращаешься в красном гробу,
Словно не было хамства и пьянства
И похабства твоих интервью...

Словно всё — и юродство, и скотство,
И неправды упорство — не в счет! —
И не тратил свое первородство
На довольно убогий почет.

До предела, до Новодевички
Наконец-то растрата дошла,
Где торчат, точно «попки» на вышке,
Маршала, маршала, маршала!

...В полверсте от литфондовской дачки
Ты нашел бы достойнее кров,
Отошел бы от белой горячки
И из памяти черной соскрёб,

Как овчарки водили этапы,
Как солдаты грозились, храпя,
Как вопили проклятые бабы
И, бросая, любили тебя...

И совсем не как родственник нищий,
Не приближенный вновь приживал,
Ты собратом на тихом кладбище
С Пастернаком бы рядом лежал.

1972

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ КАНАЛ

На канале шлепнули царя.
Действо, супротивное природе.
Прежде прибывали втихаря,
А теперь — при всем честном народе.

На глазах у питерских зевак
В день воскресный по сигналу девки
Два бродяги — русский и поляк —
Кинули две бомбы-самоделки.

Сани на бок... Кровью снег набух...
Присяжная билась, как в припадке...
И кончался августейший внук
На канале имени прабабки.

Этот март державу доконал.
И, хотя народоволке бедной
И платок сигнальный, и канал —
Через месяц обернулись петлей,

Но уже Гоморра и Содом
Бунтом и испугом задышали
В Петербурге и на всем земном
Сплюснутым от перегрузок шаре.

И уже, чем дальше, тем скорей,
Всех и вся спуская за бесценок,
Президентов стали, как царей,
Истреблять в паккардах и у стенок.

В письма запечатывали смерть,
Лайнеры в Египет угоняли...
И пошла такая круговерть,
Как царя убили на канале...

1972

СНЕГ С ПЕРЕРЫВАМИ

а снег идет
как почту ждем мы смерть
о как давно он — лишь безмолвие
и вихрь — как смерти тишина
мы сами — не слышнее этого
и пребывая
ждем как почту

(а данность снега
снего-есмь
как дело отчужденно-личностное:

как будто похороны сна)

все уезжают
мы одни
страна — как место где умолкло Слово
весь год — ритм-падаль средь страниц — как в розах
(«да ты теперь такой»)
живу ли сон ли хороню
единственный
лишь мне понятный

(о сон мой в розах † сон в листьях белеющих)

как сердце слабо — так пусть говорится
пусть будет просто: снег да снег
и уезжают

выбор сделан
прощайте все кто распрощался
и ждем — как будто кто-то ждет — безличностно мы
ждем как почту!..

и снег идет
я с сыном у окна
сон хороню один и тот же —

укрывшись
словно в одеяло:
в сон
и зная: снег да снег):

(о снова ты
свобода † сон)... —

...и — Господи! — вдруг — ясен день
как будто
только что
сказалось Слово:

и слышим — Я с н о с т ь ! —

сразу — после отзвука:

умолкшего — не пробуждая — и не тревожа жизни
в нас! —

из мира
вдруг его осмыслив:

легко и мирно взятого

1973

П о с в я щ е н и е. Виктору Ворошильскому, братски.

14 февраля 1973

В ОКНО: СОЗВЕЗДИЕ

Е. Гинзбург

и открываются проруби с вьюгой:

той: безвоздушной — из скорости созданной:

той: не скончаемой!..

словно стремящейся:

без содержимого — в мире известного:

сквозь растревоженный
облика прах! —

страху подобно
едва уловимому —

за безопасность лица

1966

ПОЛЕ: В РАЗГАРЕ ЗИМЫ

Рене Шару

бого-костер! — это чистое поле
всё пропуская насквозь (и столбы верстовые и ветер
и точки далекие мельниц: всё более — будто
из этого мира — как не наяву удаляющиеся:
о всё это — искры не рвущие пламя костра
не-вселенского)

есмь — без следов от чего бы то ни было
не по-вселенски сияющий
бого-костер

1970

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Иву Бонифуа

река — уже иная — окружает
в нас превращая многое
в свои иные волны
и холодна

прозрачна и едина
и поздно говорить: «мы там»
она одна одна

Нет-Чистота

1965

СНОВА: ВОЗВРАЩЕНИЕ СТРАХА

К. Богатыреву

друг
мы секунду в ночном пробуждении знаем
подобную
камере яркой! —
где вздрагиваем:
словно поверхностью страха вещественного:
лицом! — уже ставшим как место где род погибает!
о так оно развито друг мой у нас! это —
чувство само: о когда же появится и с-
т и н н о е ? —

когда ослепят
и разрушат:

в ы с ш е е з р е н ь е т о г о - ч т о - я - Е с м ь :

огромным как эта страна окончательная
ярким и не-отводимым
такой напряженности холодом — Духу подобным:

как сущностью Этого Места? —

когда же

глубинам хранилища страха

исток его — будто идею таящий! — раскроется:

сжигая я-Мысль! —

до дна иегового

1971

И: КАК БЕЛЫЙ ЛИСТ

в прахе нет гласного... смерть этого — звук:

к богу ли — крик?

он — в поверхности праха:

что же — просвет?

о не жертвы сокровище:

не представление!.. не звуки и песнь:

а — ослепи и прими:

и откройся — коль есть обнаружится:

о тишина — иисус!

1967

СТЕПЕНЬ: ОСТОИКИ

Варламу Шаламову

Вы сами уже посещаемы чем-то похожим на зарево:

и образ возможно

для всех состоялся:

от всех независимый:

не пламя ли это незримое нищенства
в ветре бесшумном:

недолгого облика? —

или

возможность опасного есть:

в освещаемых лицах —

как будто

раскрытия ждущих:

как что-то хранящие? —

или за всех собирающееся всех озаряющее:

оно окончательное

Слова-Огня? —

оно ли везде словно в ветре бесшумном:

без вести без духа:

само занялось?

1967

И СНОВА — ЛЕС

что за места в лесу? поет их — Бог

и слышать надо — о уже пора! —

их не во времени

а в высшем голосе:

где как идея ночь светла

и ясен день как Бога ум:

пусть — так поются! это наше счастье
что так их можем представлять! —

но есть — не только представляемое:

есть светлое один — в любой поляне:

как важно это для меня! —

то рода свет (одно и то же гласное:

поет — во всех местах в лесу
его один и тот же Бог)

1969

К РАЗГОВОРУ О К. — ОЛЬГЕ МАШКОВОЙ

земля лишь мысль — свободно посещаемая:

меняющаяся:

иногда известная
мне мыслью-Прагой:

и тогда я вижу
могилу в городе —

она — как горе-мысль:

земля — страдания!.. его — как мысли той
которая теперь так постоянна!..

скажу о той могиле «сон»:

и — как не верим яви мы при ранах —

он — словно снящийся
другому сну:

как будто нескончаемому:

мне

1967

АЙГИ Геннадий — родился в 1933 г. в Чувашии. Учился в московском Литературном институте им. Горького. Автор нескольких сборников стихов (на чувашском языке). Широко известен в Чувашии как автор многочисленных переводов русской и зарубежной классики, отличающихся высокой культурой. Составитель и переводчик уникальной антологии французской поэзии (на чувашском языке). Стихи Геннадия Айги были переведены на ряд европейских языков.

В ЗАЩИТУ ДРУГА

После нескольких лет разнузданной травли в печати и внесудебных преследований у себя на родине (обыски, изъятие рукописей, прекращение публикации) выдающийся русский писатель, лауреат Государственной премии Виктор Некрасов был вынужден выехать за рубеж. Здесь в Париже, во Франции, он тяжело заболел и совсем недавно перенес две сложнейшие операции. В предоперационном состоянии находится в настоящее время и его жена Галина Викторовна, у которой постепенно прогрессирует давняя болезнь глаз.

Вот уже более года их дети — Виктор и Людмила Кондыревы — обивают пороги различных учреждений, ведающих на Украине вопросами въезда и выезда, но ни в одном из этих учреждений не получают сколько-нибудь вразумительного ответа.

Но умышленно задерживая решение вопроса, местные власти, тем не менее, не задержались с гонениями против детей писателя. Виктор Кондырев, инженер-горняк с десятилетним стажем, работает сейчас помощником машиниста на шахте, где получает шестьдесят рублей заработной платы, на какие должен содержать семью, состоящую из пяти человек: жену, ребенка и тяжелобольную мать с сиделкой. Ему также не дали возможности окончить аспирантуру за два месяца до истечения ее срока.

И все это происходит после широковещательных заявлений Европейского совещания в Хельсинки, в атмосфере так называемой разрядки напряженности, под аккомпанемент дипломатических тостов и улыбок, в последней четверти «прогрессивного» двадцатого века. Воистину: когда Бог хочет наказать людей, Он лишает их разума!

Мы — друзья Виктора Некрасова по изгнанию и работе — считаем своим долгом возвысить наш голос протеста против этого очередного акта произвола и варварства со стороны советских властей.

*Александр Галич,
Владимир Максимов,
Андрей Синявский*

Россия и современность

Сергей Левицкий

ТРАГЕДИЯ СВОБОДЫ — СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ

(О подрыве свободы изнутри)

«Один из парадоксов современного мира — в том, что обладающие свободой не ценят ее и, стремясь сохранить ее механическими путями, теряют пафос свободы, в то время как лишенные свободы стихийно тянутся к ней, но еще не находят в себе достаточного мужества, чтобы активно бороться за ее достижение». Это — выписка из моей книги «Трагедия свободы», опубликованной в 1958 году издательством «Посев».

С тех пор положение изменилось — и к лучшему, и к худшему. Произошла своего рода поляризация. С одной стороны, полуисчезнувшие было страхи в Советском Союзе несколько усилились по сравнению с хрущевским временем, и власть приняла ряд новых мер по борьбе с инакомыслием, вплоть до высылки за границу и помещения своих противников в психушки. С другой стороны, наиболее активное оппозиционное меньшинство отличается бóльшим бесстрашием, чем прежде. В самый разгар хрущевской полуоттепели не появлялось Буковских, Красновых-Левитиных и им подобных в таком, уже ощутимом, количестве. А уж о Солженицыне, Сахарове, Максимове и Галиче и говорить нечего. Самиздат расцвел таким пышным цветом именно в период «брежневщины», а не при сравнительно более либеральном Хрущеве. Не-

давний разгром «Хроники текущих событий» и подобных изданий только механически сократил тираж и формы Самиздата, но не смог удушить оппозицию на корню. Возвращение к Церкви стало почти стихийным явлением. Всего не перечтешь, и теперь это всем известно. В России открыт фронт свободы. Процессы внутреннего освобождения от прежде всеподавляющего страха, по-видимому, необратимы.

Но моя статья посвящена, главным образом, критике Запада, и тут нужно сказать, что положение свободы в западном мире явно ухудшилось, как во внутреннем, так и во внешнем смысле. Начать с внешнего — в момент, когда пишется эта статья, происходит агония Камбоджи и Южного Вьетнама, поражение которых означает моральное поражение Америки. А переход власти в Португалии к прокоммунистическому блоку подрывает и без того слабые позиции НАТО. Когда статья появится в печати, положение, вероятно, снова изменится — к худшему.

Но я хотел говорить не о внешних событиях, а о внутреннем положении свободы на Западе, начиная с отсутствия или малоприсутствия воли ее защищать. Самое худшее здесь то, что на Западе ведущие политики стараются убедить себя и других, что серьезной опасности никакой нет, что с силами воинствующей несвободы всегда можно договориться на основах взаимной выгоды — пресловутый «детант». В «детанте» нужно различать два его аспекта — один, даже положительный (достижение договоренности о неприменении ядерного оружия), и другой, отрицательный, — готовность Запада к компромиссу с бескомпромиссным по своей природе воинствующим злом (причем закрывают глаза на тот факт, что идеологическая война с той стороны нисколько не ослабевает). Кроме того, на Западе распространено мнение, что полуварварская Россия — это одно, а культурный Запад — совсем другое.

Однако не стала ли культурнейшая Германия при Гитлере добровольной жертвой варварского и фанатического нацизма? И не стала ли не менее культурная Франция в 1940 году жертвой противоположной опасности — размагничивания самой воли к борьбе за свободу? И не был ли встречен в свое время печальной памяти Чемберлен цветами и криками одобрения как спаситель мира после позорного Мюнхенского соглашения? Это ведь тоже был «детант» своего рода, хоть и кратковременный.

У свободы есть два основных врага: нетерпимый фанатизм и всетерпимая моральная апатия. И беда в том, что терпимость относится терпимо к нетерпимости, в то время как нетерпимость относится нетерпимо и к терпимости.

На первый взгляд, тезис о моральной апатии Запада может показаться несостоятельным. Чем, как не моральным негодованием большинства населения США был изгнан из Белого Дома Никсон, когда он запутался в своих попытках отрицать свою причастность делу «Уотергейт»? И сколь щепетильны стали теперь американские избиратели, требуя от возможных кандидатов на руководящие посты чуть ли не ангельски-пуританской чистоты! Нельзя не признать, что это так.

Но тут должно сделать одно существенное замечание: в вышеприведенных случаях дело шло, так сказать, о вторичном зле — о недостатке личной честности у тех или иных политических деятелей, о случаях мошенничества и так далее. Но неизмеримо важнее и страшнее принципиальное зло — одержимость идеологией, призывающей к политическому и духовному рабству. Ведь Гитлер и Ленин не были в личной жизни мошенниками, каждый из них был предан своей античеловечной идее. Они стали одержимыми манией тотальной власти не только в чисто личном плане, — иначе у них не было бы стольких по-

следователей. Ленин и Гитлер, сколько известно, лично никого не убивали. Зато они обрекли на смерть и мучения десятки миллионов людей. Как было сказано: «гангстер с идеологией страшнее гангстера без идеологии». И теперешние их наследники идут по их стопам, ставя себе конечной целью распространение коммунизма на всем земном шаре.

И вот к этому, первичному злу Запад относился и относится с преступной терпимостью. Да, когда Гитлер, проглотив Австрию и Чехословакию, напал на Польшу и Запад понял, что вскоре Гитлер схватит его за горло, — он объявил войну нацистской Германии. А Советский Союз пока никого не хватает за горло (в ожидании благоприятного момента), он пользуется гораздо более тонкими и изощренными методами. Помогая «братским компартиям» во всем мире, он постепенно создает такую атмосферу, при которой намеченная жертва начинает задыхаться и оказывается изолированной и незащищенной. Коммунизм проводит политику дальнего прицела, в то время как большинство западных политиков думает только о сегодняшнем-завтрашнем дне. Для той западной страны, которая в данный момент истории не находится под прямым ударом (как, например, Соединенные Штаты и Великобритания), это создает иллюзию «безопасности» от коммунизма. Но — увы! — антикоммунистам это давно известно, а до только «не-коммунистов» все равно не доходит... Я напоминаю о политических реальностях лишь для того, чтобы поставить вопрос о «кризисе свободы» на Западе, так беспечно почитающем на лаврах своих давно завоеванных свобод. Итак, попробуем приступить собственно к теме.

В философии принято различать два первичных аспекта свободы: свободу отрицательную (свободу «от») и свободу положительную (свободу «для»). Первоначально мы все имеем в виду именно свободу «от» (от рабства, от насилия, от нужды, от всякой гнетущей

зависимости). И в деле достижения свободы нужно начинать именно с этой, отрицательной свободы, как задыхающемуся прежде всего нужен воздух, алчущему и жаждущему — еда и питье, заключенному — свобода от тюрьмы или концлагеря, — а там уж видно будет, как они воспользуются этой свободой.

Но на Западе положение иное, и свободе грозят здесь иные опасности. Здесь речь должна идти не о приобретении, а о сохранении свободы. А для этого нужен пафос свободы, которого уже нет хотя бы потому, что все на Западе так привыкли к свободе, что ее не замечают. И тут на сцену выступают соблазны свободы, имя которым — легион, но из которых главный — абсолютизация отрицательной свободы. В самом деле, будучи перенесенной в морально-религиозную плоскость, отрицательная свобода означает свободу и от морально-религиозных императивов (которые объявляются «предрассудками»). Свое собственное «я» или групповое «мы» становится тогда моральным центром вселенной. Отсюда и рост преступности...

Лидеры коммунистических стран похваляются тем, что случаев индивидуальной преступности у них гораздо меньше, чем на Западе, что ходить ночью по улицам Москвы или Ленинграда гораздо безопаснее, чем совершать подобную же ночную прогулку в Нью-Йорке или Вашингтоне. Но это потому, что зло, которое на Западе поневоле должно скрываться в подполье и убивать или калечить людей тайком, — это зло на Востоке открыто стоит у кормила власти, деспотически притесняя десятки миллионов. В подполье же должны укрываться в Советском Союзе деятели добра. Если зло Запада — в крайнем индивидуализме (сильно, однако, сдавшем свои позиции), то зло Востока — в не менее крайнем коллективизме (с его высшей целью — коллективизацией душ). И наиболее характерная черта социального строя коммунистических стран — не только в жестоком подавлении свободы

извне, но — более того — в уничтожении свободы изнутри, посредством тотального страха, который часто (но, слава Богу, далеко не всегда) парализует какое-либо, даже моральное, сопротивление властвующему злу. В этом — главная трагедия свободы нашего времени.

Трагедия свободы, однако, может иметь место и там, где, несмотря на наличие формальных и фактических свобод, теряется сознание огромной ответственности, налагаемой свободой, — там, где иссякает дух творчества и служения, равно как и там, где свобода почивает на давно завоеванных лаврах. Как крайние злоупотребления свободой, так и «летаргия свободы» — подрывают изнутри пафос свободы, делают крепость свободы уязвимой изнутри для сил рабства.

В своем наиболее голом и грубом виде отрицательная свобода произвола выражается на Западе в слепой погоне за наживой, настолько слепой, что она подрывает, с точки зрения дальнего прицела, ту же наживу. Сюда относится, например, спекулирование нефтяных компаний и прочих филиалов «биг бизнеса» на экономическом кризисе, ими же в значительной степени и вызванном (это не исключает факта внешнего шантажа со стороны арабов). Скажут — так всегда было, и погоня за наживой составляет конституционный признак капитализма, даже современного. Однако в прежние, относительно спокойные, времена в мире было больше экономического пространства и мест хватало для всех капиталистических акул. Теперь же мир настолько переполнен, и все стало так тесно связанным друг с другом, что экономические эксцессы и провалы в одной области неизбежно и быстро отражаются на другой. Теперь императивом дня становится более не классовая или иная борьба, а сотрудничество, координация, солидарность, которых, однако, еще нет.

Другое следствие культа произвола — небывалый прежде рост преступности на Западе. Такого жестокого цинизма и полного презрения к человеческой жизни, какое проявляется, скажем, террористами всех мастей, при захватах самолетов с заложниками, не проявлялось в мирное время никогда. А если дело доходит до суда, откуда-то взявшиеся адвокаты стремятся всячески смягчить приговор, думая лишь об интересах преступника, а ни в коем случае не жертвы. Впрочем, эти и иные примеры всем известны и нечего их расписывать. На наших глазах все в большей степени происходит какая-то жуткая атрофия совести. Впрочем, удивляться особенно нечего, если принять во внимание почти совершенное искоренение морального воспитания в современных школах, по крайней мере, в народных школах Америки. Глубоко симптоматична и даже символична в этом отношении отмена общей молитвы в школах: дескать, мы вполне обойдемся без Бога, который, видите ли, недостаточно демократичен.

Симптоматическое значение, в свете этого, приобретает и тот «бунт без причины», который не так давно был поднят значительной частью западной, особенно американской, молодежи. Правда, волна беспорядков и демонстраций, прокатившаяся по Америке в конце шестидесятых и начале семидесятых годов, сейчас как будто пошла на убыль. Но то бунтарское умонастроение, которое породило эти эксцессы, все еще гнездится в душах их инициаторов и носителей. Этот бунт, в котором свобода понимается как произвол, разумеется, не имеет ничего общего с подлинной свободой и представляет собой пародию на нее.

Нормально, свобода должна была бы быть использована, сверх неизбежных и отчасти законных эгоистических интересов и эгоцентрических самоутверждений, — для реализации положительных, высших ценностей, делающих жизнь человека осмысленной

и вдохновляющей. Эти высшие ценности — познавательные, моральные и эстетические, в духе бессмертной платоновской триады — истина, добро, красота, для религиозных людей — служение Богу и Царству Его. Иначе говоря, положительная свобода реализуема лишь на основании примата религиозно-моральных ценностей. Но вся система воспитания в Америке, отчасти под влиянием злого гения прагматизма Джона Дьюи, основана на делячестве, панутилитаризме и панэвдемонизме, согласно которым пользование техническими благами современной индустриальной культуры и щекотание сексуальных и садистических нервов — это главные цели жизни.

Но подчеркнем, что эти эксцессы отрицательной свободы, столь явно обнаружившиеся за последние десятилетия в Америке (отчасти и в других западных странах), — представляют собой не только новейшие феномены, но коренятся глубоко в самой традиции «американского образа жизни» (огромных преимуществ которого мы не отрицаем, но мы сейчас говорим об обратной стороне медали). Это — дух динамического панутилитаризма, где польза (преимущественно материальная), будучи отнюдь не основной жизненной ценностью, превращается в самоцель, в своего рода нового идола. И дух безудержного панэвдемонизма, где личное удовлетворение (большей частью в форме обостренных чувственных возбуждений) вместо того, чтобы служить субъективным симптомом реализации положительных ценностей, в свою очередь возводится в степень главной цели жизни. Повторяем, польза и наслаждение играют, естественно, в нашей жизни огромную роль, и без них наша жизнь обесцветилась бы. Но то неестественное ударение, которое ставится теперь на этих материальных ценностях, а также на проповеди разврата и отравления себя наркотиками, — легко превращается в игру низших инстинктов, к тому же принявших патологические формы. А отсю-

да недалеко и от преступлений на этой отравленной почве — ведь «все позволено» и главное в жизни — жить в свое удовольствие («to have a fun»).

Если бы подобный утилитарно-эвдемонистический стиль жизни создавался на Западе при отсутствии угрозы со стороны воинствующего коммунизма, можно было бы только сетовать на материализацию и механизацию жизни, успокаивая себя тем, что каждая эпоха имеет свои пороки и что это — плата за технический и социальный прогресс. Но в настоящее время погрузиться всецело в материальное самоуслаждение и предаваться дикой погоне за материальными благами — означает не только моральное падение, но — как следствие — и подрыв воли к сопротивлению угрозе красного Молоха, который неизбежно отнимет не только свободу, но и эти блага. Поэтому необходима выработка иной, более суровой и более ответственной философии жизни, которая не уподоблялась бы страусу, не прятала бы голову под крыло, а имела бы смелость смотреть в глаза страшным реальностям, господствующим на Востоке и грозящим обрушиться смертоносным смерчем и на Запад.

Необходимо понять, что главная проблема современности заключена не в обсуждении формальной свободы, но прежде всего в положительном содержании свободы. А это предполагает существенную переоценку тех слепо-утилитарных и слепо-эвдемонистических псевдоценностей, которыми живет большинство молодежи Запада. Пользуясь благами свободы, нельзя быть слепым в вопросах о корнях и о высшем смысле свободы... Для успешной борьбы с силами рабства необходим переход свободы в контрнаступление. Но этот переход предполагает переосмысление ценности отрицательной свободы в духе свободы положительной, что требует внутренней перестройки психики. Оставаясь на позициях одной отрицательной свободы, невозможно сохранить эту отрицательную сво-

боду. Ибо то ценное, что есть в отрицательной свободе, получает свою санкцию и свой конечный смысл лишь в свете свободы положительной.

Отрицательная свобода, не сублимированная в свободу положительную, выражается в двух основных формах — в голом самоутверждении и самоуслаждении. Самоутверждающаяся отрицательная свобода приводит к нарушению моральных законов, к заявлению своеволия, она вносит порчу в моральный состав личности. Эта свобода не достигает своей цели — она делает личность рабой темных сил подсознания, рабой сил зла. Эта истина по-разному провозглашалась пророками и сердцеведами, и Достоевский дал в своих произведениях гениальные примеры этой злой «диалектики свободы».

Что же касается самоуслаждающейся свободы, то на дне ее самоуслаждения обнаруживается пустота, делающая само самоуслаждение, в конечном итоге, фиктивным. Самопресыщение отрицательной свободой сводит на нет эту самую свободу.

В самоутверждающейся свободе свобода пожирает самое себя в адском пламени греха. В самоуслаждающейся свободе огонь свободы затухает и окружающая такую свободу фантазмагория фикций рассеивается, обнаруживая на своем дне пустоту. Эта пустота становится бременем и неизбежно ищет заполнения. Если она не заполняется положительным содержанием, она неизбежно заполняется содержанием отрицательным. И, ради заполнения разъедающей внутренней пустоты, свобода становится готовой пожертвовать собой.

Однако духовная природа человека такова, что он не удовлетворяется только пользой, наслаждением и даже самоутверждением, пресыщение которыми приводит к духовной пустоте, один из симптомов которой — скука. Духовная природа человека требует признания высших, надличных ценностей, причастие которым только и способно заполнить эту пустоту, —

и хотя бы частичного служения им. Иначе на место сверженного или «умершего» Бога устанавливаются идолы, которые, по слову Бердяева, духовно не питают, и следование которым калечит или убивает моральную сферу в человеке. Тогда неизбежно и происходит самопресыщение только отрицательной свободой, выражающееся в злоупотреблениях этой свободой.

Имея в виду эти и иные, бьющие в глаза злоупотребления свободой, Солженицын и написал в сборнике «Из-под глыб», ставшие теперь известными, слова:

«Уж Запад-то захлебнулся от всех видов свободы, в том числе и от свободы интеллектуальной. И что же, спасло его это? Вот мы видим его сегодня в оползнях, в немощи воли, в темноте о будущем, с раздранной и сниженной душой» (см. «Из-под глыб», ИМКА-ПРЕСС, Париж, 1974, стр. 21). Имея в виду те же, в основном, злоупотребления свободой на Западе, но с упором на оргии произвола всяческих «хиппи», и я написал, конечно, гораздо менее красочно, в одной из своих статей, посвященных развитию темы о «Трагедии свободы», следующее: «Отсюда и происходит тот разврат самопресыщенной свободы, те судороги неприкаянной свободы, к которым сводятся активные проявления бессознательного недовольства одной этой, чисто отрицательной свободой» (см. «Зарубежье», март 1971, Мюнхен, стр. 11 - 19).

Известное русское выражение «с жиру бесятся» отражает ту же идею, но, конечно, в ее сниженном и упрощенном варианте, без психоаналитических и экзистенциалистических углублений, неизбежных в нашу интеллектуализованную эпоху.

Пресыщенные свободой индивиды и группы становятся первыми кандидатами в духовные рабы, каковыми хотят видеть все человечество коммунистические вожди. Это пресыщение свободой и есть тот

«подрыв свободы изнутри», о котором я говорю в подзаголовке этой статьи.

Но есть еще одна влиятельная группа подрывателей свободы. Это — современные псевдолибералы, которые искренне считают существующее в Америке обилие свобод — недостаточным и поднимают кампанию против органов американской разведки, которые, естественно, по сути своего существования, стремятся оградить государство от шпионажа и других демаршей со стороны врагов свободы. Эти псевдолибералы остро реагируют на малейшее ущемление свободы, если это делается справа, и благодушным молчанием встречают вопиющие подавления свободы слева.

Логика их приблизительно такова: да, советские вожди, допустим, притесняют народ. Но в России к этому привыкли, там не понимают иных методов. А цели у них все-таки высокие: установление социальной справедливости. Мы не должны допускать у себя таких методов и, разумеется, мы дадим им отпор, если они покусятся на наши свободы. Но они и не собираются на них покушаться, а что делается в других углах земли — нам какое дело! Прямой угрозы нам нет (и — отсюда вытекает — после нас хоть потоп). Невольно вспоминаются здесь слова Блока из его поэмы «Возмездие»: «...то роковое «все равно»,/ которое подготавливает/ чреду событий роковых/ уж тем одним, что не мешает...».

В этом образе мышления (псевдолибералов) поражает его механичность и близорукость. Механичность — ибо псевдолибералы не понимают, что идеи не знают границ и что ложным идеям нужно давать отпор истинными идеями, а не безыдейностью и американским «I do not care». Близорукость — потому что данное состояние мира, при котором твердыни свободы сохраняются, кроме Америки и Великобритании, в Западной Германии, Франции, Японии и некоторых других странах (не столь многих), может поэтапно из-

мениться, если от НАТО отпадет сначала Италия с ее сорока процентами коммунистов, а затем, может быть, и Франция с ее тридцатью процентами, — отпадут потому, что станут нейтральными. Но нейтральным, в собственном смысле этого слова, в наше время не может оставаться никто; можно в лучшем случае стать «нейтралистским», как почти все, с позволения сказать, «неприсоединившиеся» страны, объективно способствующие делу коммунизма. И что останется Америке делать, если произойдет «финляндизация», сначала Западной Германии, а затем и всей Европы? Все это потребует, конечно, времени, но времени у коммунистов достаточно, а западные политики строят свои расчеты, опять-таки, с позиций сегодняшнего-завтрашнего дня.

Мы опять дали сильный крен в сторону политики, но что поделать, раз политика в нашу эпоху — всеприсутственна? Однако и политика — это, с углубленной точки зрения, результат духовных устремлений, а здесь то или иное понимание свободы играет первичную роль. И абсолютизация отрицательной свободы представляет собой в настоящее время величайшую духовную опасность для современного мира. Ибо, стоя на позициях одной отрицательной свободы, повторяем, нельзя сохранить и этой самой отрицательной свободы. Только органическое преобразование отрицательной, безответственной свободы в свободу положительную, в ответственную свободу, — может спасти дело свободы в мире.

Это — не только тонкое диалектическое различие, но различие по существу, от которого зависит весь стиль жизни и эпохи. Но это осознано пока — увы — лишь немногими умами, к числу которых принадлежит американский католический философ, епископ Фультон Шин. В высшей степени показательно сравнительно недавнее заявление этого епископа о различии между отрицательной и положительной свобода-

ми. В этом заявлении епископ Шин сказал, что в Америке надо поставить вторую Статую Свободы — статую положительной свободы. Выступая в Лос-Анджелесе по случаю американского Дня Независимости 4 июля 1970 года, епископ Шин сказал, что та идея почти безграничной свободы, на которой воспитывалось много поколений американцев и статуя которой приветствует приезжающих у входа в нью-йоркскую гавань, в основе своей благородна, но таит в себе зародыш зла, ибо ничего не говорит о нравственной ответственности, налагаемой свободой. Он предложил воздвигнуть на западном побережье Америки статую ответственной свободы, так, чтобы обе статуи дополняли одна другую. Это выступление епископа Шина глубоко знаменательно и своевременно.

И если общественные и государственные деятели Америки проникнутся идеей ответственной свободы, — то не будет того компромисса со злом и рабством, которым, в сущности, является политика «детанта». Тогда Америка снова станет светочем свободы во всем мире и тем продолжит свою великую миссию, которую она в течение многих десятилетий успешно выполняла и от которой она теперь склоняется отказаться под влиянием соображений оппортунистического и изоляционистского характера, с их неписанным девизом: после нас хоть потоп. Какие именно контуры примет эта новая, чаемая политика Америки, — не стоит гадать, так как в наше время чуть ли не каждый день приносит с собой изменения конъюнктуры, да и не в этом дело.

Ближайшее же дело заключается в реабилитации религиозно-нравственных ценностей, которым враждебен тоталитаризм и к которым с равнодушием относится современная западная демократия. Равнодушие к истине — вот один из потенциально злых плодов свободы, понятой в чисто отрицательном смысле. Ибо равнодушие к истине подготавливает почву для победы

воинствующей лжи, искусно маскирующей под истину.

Во всяком случае, поднимая актуальные проблемы современности на принципиальную высоту, можно прийти к следующим выводам:

Свобода понимается большей частью на Западе чересчур внешне. Свобода слишком часто смешивается с произволом, ограниченным лишь рамками формальной законности. Плоды свободы слишком часто смешиваются с ее корнями, и слишком многие на Западе хотели бы вкушать плоды свободы, подрывая в то же время ее корни. Искаженное же понимание свободы подготавливает почву для бегства свободы в материальное самоуслаждение, в социальные стандарты или в оргии безответственного произвола, с потерей пафоса свободы. В современных условиях, когда свобода находится под смертельной угрозой со стороны сил воинствующего всерабства, внутренняя потеря свободы может оказаться роковой: свобода может не выдержать натиска организованных сил зла и рабства, инфильтрирующих свободу изнутри.

Отрицательная свобода, если дать ей плыть по течению, неизбежно вырождается либо в массовую апатию, либо в индивидуальный или в групповой произвол. В обоих вариантах отрицательная свобода подготавливает почву для укоренения духовного и политического рабства.

Только положительная свобода («для» и «ради», а не только «от») — свобода, преодолевшая гипноз тотального страха и проникнутая духом служения, — может привести к сохранению свободы у обладающих ею и к обретению свободы ее лишенными. Только такой путь может спасти мир от тирании квадратного-

ловых тупиц и духовно слепых и, к тому же, посредственных фанатиков выродившейся коммунистической идеи.

ЛЕВИЦКИЙ Сергей Александрович — родился в 1910 году в Либаве. Получил ученую степень доктора философии в Карловом университете в Праге за диссертацию «Свобода как условие возможности объективного познания». В 1947 году печатает свою вторую крупную работу «Основы органического мировоззрения». Наиболее известный философский труд Левицкого — «Трагедия свободы» (1958 г.), получивший высокую оценку Н. О. Лосского. Автор многочисленных статей в русской зарубежной и европейской прессе. Живет в США.

«НАЦИОНАЛИЗМ» И «ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ»

К переключке с Вадимом Борисовым

Статья Вадима Борисова «Личность и национальное самосознание» появилась в сокращенном виде в первом издании сборника «Из-под глыб». В окончательной своей редакции она напечатана в «Вестнике Русского Христианского Движения», № 112-113. В истории русской мысли статья эта оставит, несомненно, глубокий и неизгладимый след. А для многих заблудившихся «детей страшных лет России» (по ту и по эту сторону железного занавеса) она уже теперь становится одним из тех путеводных огней, без которых так трудно отыскать узкую и тернистую тропу, ведущую к духовному очищению и возрождению — сквозь цепкие заросли испытаний и искушений.

Ибо кризис нашего времени есть прежде всего кризис духа, а поскольку жизнь человека есть самораскрытие духовного в нем, он одновременно есть и кризис жизни. Жизнь и судьба как отдельного человека, так и целых народных «организмов» — «народов», «нации» — зависят от религиозно-нравственного источника воды живой, из которого они черпают свои духовные силы: от их веры. Кризис современности есть, следовательно, кризис духа, жизни и веры, а поскольку осознанная вера становится идеей, то — в конечном итоге — он есть и кризис идеи.

Самодовольный и плоский рассудок, бессильный преобразиться в верующий разум или строп-

тиво этому противящийся, восстал против живой — не постижимой рассудком — тайны Божией, — скорее всего по недомыслию, но самохвально и кощунственно. «Современный» и «прогрессивный» человек растерял, а то и просто «промотал» свои святыни, а потом еще и надругался над ними. Конечно, святыни от этого не исчезли, не перестали быть, они по-прежнему реальны. И. А. Ильин, один из ярких русских мыслителей, почти полвека тому назад — в 1927 г. — в издававшемся им тогда в Берлине журнале «Русский Колокол» писал:

«Человек стал способен постигать только внешнюю поверхность предметов и отвлеченную сторону мыслей... Любопытствующий наблюдатель стал успешно обслуживать прозаического корыстолюбца (в его как «капиталистическом», так и «коммунистическом» облики — добавим мы от себя), и оба вместе соединенными усилиями воспитали самодовольного резонера. И когда... резонер и плоскодум обернулся назад и увидел внешние покровы заброшенных им святынь — он иронически и кощунственно засмеялся... То, к чему тянется масса современного человечества, не священо; а мимо священного она проходит — равнодушная и безразличная, или же буйствующая и кощунственная... Богопустынная душа бессильна перед напором дьявола».

Религиозная слепота стала в наше время критерием просвещенности — «образованщины», по уничтожительно-меткому выражению А. И. Солженицына. И поэтому, конечно, прав В. Борисов, когда он в своей статье говорит: «Последние десятилетия нашей жизни многих привели к пониманию давно известной, но постоянно пренебрегаемой истины, что для гибели народа совсем не нужно его полного физического уничтожения, — довольно только отнять у него память, мысль и слово — и душа народа будет убита».

Достаточно вникнуть в статью В. Борисова, чтобы убедиться, что именно это сознание есть исходное положение его логических — от Логоса — Слова — построений, восходящих к основному утверждению русской православной и национальной идеи:

«'Дух самоуничтожения и небытия' — вот имя истинного двигателя и регулятора 'общечеловеческого прогресса' без Бога и человека... Под всякими кличками появлялся он в истории, неизменно творя свою разрушительную работу, но не раз его опознавали, и ему вновь и вновь приходилось маскироваться, потому что его могучим противником была сама ЖИЗНЬ. В России его узнал и назвал Достоевский, но прогрессивное общество не поверило ему, объявив его исповедание 'реакционностью', и это недоверие дорого обошлось России»...

Не только России, но и Европе, но и всему миру дорого обойдется, если в Александре Солженицыне, Владимире Максимове, Андрее Синявском, Вадиме Борисове — и многих, многих других — Запад усмотрит в конечном итоге исповедников якобы присущей России и русской мысли «реакционности», а то даже и поборников «русского великодержавного империализма». Кое-какие тенденции в этом смысле уже становятся заметными. И опять я позволю себе привести из «Русского Колокола», за 1927 (!) г., слова И. А. Ильина — пусть чрезмерно заостренные опытом непосредственных (болезненных и горьких) впечатлений и переживаний, но в какой-то глубинной основе своей верные и справедливые:

«Мы для Запада — как книга за семью печатями. Он не понимает нашего языка, не чувствует нашей души и нашего духа, не понимает нашей судьбы... Он не хочет видеть нашей трагедии и нашего предназначения. И если на Западе начинают изучать что-нибудь русское, то — за малыми исключениями — только для целей своей торговли или своей стратегии...»

смотрят на Россию глазами коммивояжера и завоевателя. Вот почему, когда мы, временно изгнанные и рассеянные, слышим их суждения о нас (в любой стране, где бы мы ни жили) — мы всегда чувствуем себя — то как взрослый перед вкрявь и вкось судящим недорослем, самодовольным и пренебрежительно-развязным, то как временно беззащитная жертва перед метко нацеливающейся хищной птицей...»

Почти четверть века спустя, в мае 1951 г., профессор Ленинградского университета, Е. Н. Кельзи, крупный специалист по ядерной физике и космическим лучам, захваченный во время войны немецкими войсками на Кавказе и вывезенный вместе с другими русскими учеными в Германию (где главная его забота сводилась к тому, чтобы немцы — а после 1945 г. американцы или англичане — не узнали о его научной специальности), писал мне:

«Я пришел к заключению, что правые и левые круги Запада — и социалисты и антисоциалисты — смотрят на Россию как на государство прошлого времени, которому ни при каких условиях 'не суждено' возродиться... Мой скептицизм в последнее время перерастает в пессимизм, я и сам начинаю терять веру в будущую Россию, — пожалуй, что ей не быть...»

Слова двух русских изгоев — одного — 20-х, а другого — 40-х годов, можно сопоставить со словами русского изгоя 70-х годов Александра Солженицына:

«Когда в Нобелевской лекции я сказал в самом общем виде:

«Нации — это богатство человечества, это — обобщенные личности его, самая малая из них несет свои особые краски, таит в себе особую грань Божьего замысла» —

это было воспринято всеобще-одобрительно: всем по-

нятный общий реверанс. Но едва я сделал вывод, что это относится также и к русскому народу, что также и он имеет право на национальное самосознание, на национальное возрождение после жесточайшей духовной болезни — это было с яростью объявлено великодержавным национализмом... За русскими не предполагается возможности любить свой народ, не ненавидя других. Нам, русским, запрещено заикаться не только о национальном возрождении, но даже — о 'национальном самосознании', даже оно об- является опасной гидрой...»

По словам Вадима Борисова, еще совсем недавно спор о России, — о том, ждет ли ее разверзстая бездна или крутой и тяжкий подъем, казался невозможным. И «то, что случилось сейчас, подает надежду: что близится конец безапелляционным марксистским решениям и предначертаниям ее судеб; что ее искалеченная душа и тело отныне сами начнут искать путей своего исцеления».

Это и есть ответ на три приведенные мною выше цитаты И. А. Ильина (1927 г.), Е. Н. Кельзи (1951 г.) и А. И. Солженицына (1974 г.)...

Два понятия, более того, две категории русской самобытной мысли — личность и нация — становятся центральными в процессе духовного преодоления атеизма и тоталитаризма. Личность, по утверждению В. Борисова (и в этом он всецело сливается с «традиционным» потоком русской религиозно-философской, а тем самым — и историософской, мысли), неизбежно обезличивается вне живой связи с абсолютным источником своих прав и достоинства. И разве не знаменательно, что — в свою очередь — и американские поселенцы, впервые провозгласившие два века тому назад «вечные права человека и гражданина», обосновывали их тем, что каждая человеческая личность носит в себе

образ и подобие Бога, и потому (!) имеет абсолютное значение, а следовательно — и право на уважение к себе со стороны всех других? Рационализм, позитивизм и материализм разрушили память об абсолютном источнике человеческих прав: «Безусловное равенство личностей в Боге выродилось в условное равенство человеческих индивидуумов в праве» (В. Борисов). В коммунистической же действительности право, лишенное своей религиозно-нравственной сущности, оторванное от Бога, неминуемо превратилось в насилие и бесправие бесчеловечности, так же как искаженная правда стала ложью, извращенное добро — злом, а «безбожная» свобода — рабством произвола или анархии...

И Вадим Борисов ставит вопрос: что же такое нация?

В своем определении нации он, в сущности, присоединяется к её художественно-интуитивному и религиозному — совсем не «научному» — восприятию Александра Солженицына. Но в записной книжке Ф. М. Достоевского Борисов нашел такие слова: «Нация есть ничегó больше, как народная личность», т. е., в восприятии Достоевского, это — «духовная реальность», связующая в единое целое все конкретно-исторические, эмпирические проявления народной жизни. В. Борисов приходит к выводу, что нация — это «собирательная или, на традиционном языке русской мысли, соборная народная личность».

Нужно сказать, что понятие соборности шире и глубже как понятия «обобщенности» (А. Солженицын), так и понятия «собирательности» (В. Борисов). В Символе веры говорится об «единой святой соборной и апостольской Церкви». Восприятие нации, как личности, не переводимо до конца на язык рациональных понятий. Конечно, и Борисов и Солженицын это прекрасно сознают. В. Борисов утверждает, что

личность в своем подлинном значении — «понятие специфически христианское». А у Александра Солженицына мы читаем, что каждая — даже самая малая — нация «таит в себе особую грань Божьего замысла». И, конечно, прав Борисов, говоря, что если нация — соборная личность, получившая от Бога свое бытие и свое призвание, то её нельзя определять ни как «историческую общность людей», ни как «силу природную и историческую» (Вл. Соловьев). В конечном итоге Вадим Борисов дает определение нации, единственно возможное в наше время для русской мысли, черпающей свои духовные силы из вечного источника воды живой:

«Нация есть один из уровней в иерархии христианского космоса, часть неотменимого Божьего замысла о мире. Не историей народа создаются нации, но нация-личность реализует себя в истории народа или, другими словами, народ в своей истории осуществляет мысль Божию о нем».

Нельзя не согласиться с В. Борисовым, что в этом смысле нация отлична от эмпирического народа. Но несомненно и другое: миллионам и миллионам русских людей — в «соборном» восприятии России как единого государственного и национального (точнее: всенародного) целого — понятие «нации» было чуждо и непонятно, а сознательного восприятия нации, как «соборной личности», просто не существовало. До Октябрьской революции целостной духовной реальностью живого и конкретного единства еще не осознанной нации был осознаваемый, органически и реально ощущаемый русский (не «великорусский»!) народ. Поэтому изгои старшего поколения с неизбежным чувством недоумения прочли или еще прочтут в сборнике «Из-под глыб» такие, к сожалению — совсем не наивные, слова Игоря Шафаревича: «...есть и типично-русский порок в нашем отношении к другим наро-

дам. Это — неумение видеть границу, отделявшую нас от других наций, отсутствие внутреннего убеждения в их праве существовать именно в их самобытности. Как часто приходилось мне слышать, что русские с каким-то наивным недоумением пытались понять, почему украинцы, белорусы или литовцы не хотят хорошенько выучить русский язык и превратиться в настоящих русских».

Начать с того, что напрасно Игорь Шафаревич валит в одну кучу украинцев, белорусов и литовцев! Во время и в первые годы после войны 1914-18 гг. тысячи и тысячи украинцев и белорусов были убежденными поборниками национального и государственного единства с «великорусским» племенем. Я уже не говорю о карпатороссах, которых на протяжении семи веков немцы, венгры, а потом и чешские социалисты пытались превратить в «карпатоукраинцев» и которые остались русскими. Теоретически вполне возможно, что за последние полвека образовались и украинская, и белорусская нации, а литовская — бесспорно. Но ни Игорь Шафаревич, ни я — мы не можем оперировать голословными утверждениями. Сами украинцы и белорусы должны решить свою судьбу, и не только они. Нужно только дать им право и — главное — возможность это сделать. Споры между нами по этому вопросу бессмысленны и неуместны, ибо в данный момент и при данных условиях они беспредметны.

Одно я с чувством полной ответственности должен сказать Игорю Шафаревичу: мы, изгои старшего поколения, никогда не переставали считать себя свободной — прежде всего духовно свободной — частью русского народа, российской нации, — мы свободны и от всех дореволюционных — сословных, классовых и «национальных» — предрассудков: право каждого народа — и большого, и малого — на самоопределение, осуществляемое на основе свобод-

ного волеизъявления, но не штыками и не танками чужеземных войск, для нас бесспорно.

Наум Коржавин выдвигает — скорее не намеренно — еще один фактор, который в конечном итоге и будет решающим («Континент», № 2):

«...я не стал русским националистом, как не был до этого националистом еврейским или украинским. Думаю, что никакие антисемиты уже не смогут оторвать мою душу от России и её судьбы. Но ни кадить ей, ни льстить я не собираюсь. Я е ё л ю б л ю...»

Восприятие нации как соборной народной личности глубоко чуждо, даже ненавистно марксизму-ленинизму. Я уже и не говорю о Коммунистическом Интернационале или вообще об «интернационализме» материалистического и атеистического толка. Для нас здесь мыслим только один выход: вернуть слову «интернациональный» его первоначальное значение «международный», последовательно и неуклонно употребляя его именно в этом — и только в этом — смысле: международные отношения — это отношения между народами, между нациями; международная политика — это политика между народами (inter nationes). И так далее. Но последовательно и неуклонно. Если, по словам В. Борисова, «в короткое время русский народ был доведен почти до полного исторического беспамятства, лишен национальной (разрядка моя. — А. М.) культуры, едва не лишился своей поруганной и растоптанной Церкви, чудом уцелевшей»; если он не сделался «надежной опорой сущего и грядущего всемирного интернационала», то перед нами всё же «строительный план разрушения христианского космоса, план превращения человечества в бескачественную сплошность».

А отсюда недалеко и до вывода, что жизнь, опустошенная от святынь, станет окончательно царством пошлости...

Но если нация есть христианская идея соборной личности, то никакая «атеистическая идеология» национализма не может из неё вытекать. В коммунистическом — официальном — толковании национализм — «реакционная буржуазная идеология, проповедующая национальную исключительность, возвеличение одной нации и презрение к другим». Правда, по «принципу» готтентотской морали («Если я украд у тебя корову или жену, то это добро, а если ты у меня украд жену или корову, то это — зло»), национализм — в своем коммунистическом толковании — может вдруг потерять все свои отрицательные атрибуты и получить положительную оценку как «национально-освободительное движение в поработченных странах — за национальную независимость против империализма и колониализма»...

«Национализм» в его западном толковании есть ничто иное, как

— «чрезмерное выявление национального сознания»,

— «чрезмерная заостренность национального самосознания», — или, наконец, просто

— «идеология, основанная на национальном самосознании».

Конечно, он может быть и атеистической идеологией, враждебной христианской концепции нации как соборной личности. Но может и не быть ею. Одним словом: тут действительно легко «заблудиться в трех соснах». Особенно, если к религиозному — христианскому, но и не-христианскому — национализму нашего времени прилагать мерки антирелигиозного национализма в его

коммунистическом толковании или в его «западном» осуществлении.

Наум Коржавин аподиктически утверждает: «Национализм... всегда отчуждение, он антикультурен по самому своему существу». А Вадим Борисов, констатируя, что «национализм есть прежде всего идеология, ...учение о превосходстве того или иного народа над всеми другими», ставит, с другой стороны, в упрек марксизму-ленинизму, что тот лишил русский народ национальной культуры. Больше того: В. Борисов сознательно проводит грань между религиозным и атеистическим национализмом, приемля первый и отвергая второй. Иначе говоря: появляется серьезная опасность возникновения (и раздувания с коммунистической стороны) спора о терминах, словах и «интерпретации» их.

В уже цитированном мною письме проф. Е. Н. Кельзи (1951 г.) есть и такое место:

«Истинное и патриотическое движение не имеет никакой поддержки. Нет своих людей, а так называемые 'сочувствующие' — это люди, превращающие национальное мировоззрение в лучшем случае в 'культ идей', в поклонение мертвым богам. Мы потеряли совершенно ощущение исторического пульса: к истории нельзя относиться объективно, т. е. равнодушно; к ней нельзя относиться субъективно, т. е. внутренне сочувствуя или не сочувствуя. Только тот, кто воспринимает историю проективно, может рассчитывать на будущее»...

Беру на себя смелость утверждать, что если бы русский ученый и патриот Е. Н. Кельзи дожил до наших дней и ему попала в руки статья Вадима Бори-

сова «Личность и национальное самосознание», — он никогда не написал бы: «я начинаю терять веру в будущую Россию, — пожалуй, что ей не быть!»...

МИХАЙЛОВСКИЙ Анатолий Иванович — род. 16 октября 1900 г. в Боготоле. Окончил Иркутскую губернскую гимназию и три семестра историко-филологического факультета Иркутского Государственного Университета. Окончил Венский университет. После Второй мировой войны постоянно живет в Мюнхене. Писал в газетах и журналах Германии, Австрии и Швейцарии, сотрудничал в русской зарубежной печати. С 1962 г. работает как переводчик в русском отделе радиостанции «Немецкая волна», пишет в немецких и швейцарских органах печати, состоит постоянным сотрудником «Русской Мысли» в Париже.

ЛИБЕРАЛИЗМ И РАДИКАЛИЗМ КАК ПРОЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ

В последнее время в кругах оппозиционной советской и восточноевропейской интеллигенции остро встал вопрос об отношении к Западу и, особенно, к западной интеллигенции. На это прежде всего повлиял несомненный рост информации об истинном положении дел на Западе, которая поступала уже не через официальную прессу «социалистического лагеря». Этому способствовал и рост эмиграции из СССР и других стран на Запад, а также вызванная этим необходимость ориентации эмигрантов в новых условиях. Наконец, этому способствовало развитие оппозиционного движения в СССР, которое неизбежно должно было встать в какие-то отношения с западной интеллигенцией.

Результаты этого процесса оказались неожиданными для подавляющего большинства советской и восточноевропейской интеллигенции. Стало вдруг очевидным, что современное западное общество находится на грани всеобщей катастрофы. На это указывают многие признаки. Это и растущая инфляция, с которой вряд ли справятся западные правительства. Это и энергетический кризис, в конечном счете, порожденный гигантским и нерациональным ростом потребления. Это растущая зависимость экономики Запада от сырьевых стран и от рынков сбыта в тоталитарных

странах. Это, наконец, всеобщий политический кризис западного общества.

Парламентарная демократия могла существовать вообще и быть приемлемой общественной формой только тогда, когда в ее основе находились признанные обществом ценности. Она была устойчива, когда существовала самодисциплина населения. Когда же, вследствие распространения массового атеизма, эти ценности перестали быть общепризнанными, когда стала исчезать такая самодисциплина, парламентаризм стал разлагаться.

Советская интеллигенция всегда воспитывалась на представлении о неусыпной вражде Запада, в том числе и его интеллигенции, к СССР, к коммунизму. Многие были поэтому уверены, что их понимают на Западе с полуслова, что они пользуются там сочувствием, что в случае эмиграции они смогут использовать на Западе все свои силы и возможности для борьбы за свои идеалы. Однако, попав в Западную Европу или же в США, эти люди были поражены тем, что в широких кругах западной интеллигенции едва ли не царит явная симпатия к тоталитаризму (от которого они бежали, бросив все) и даже недоверие к оппозиции в тоталитарных странах. Насильственная гибель десятков миллионов людей, вопиющая социальная несправедливость, отсутствие элементарных прав человека, расовая дискриминация, агрессивная внешняя политика, неокOLONиализм, — всё это удивительнейшим образом не трогало многих представителей западной интеллигенции, которая часто с раздражением отмахивалась от жалоб чешской, венгерской, русской и иной эмиграции. Возникли различного рода конфликты, примером чему является трагическая судьба Аркадия Белинкова. Подобная ситуация вызвала нечто вроде шока у многих новых эмигрантов. Всё это превратило оценку идеологии современной западной интеллигенции, оценку ее социальной

функции в проблему № 1 для советской и восточно-европейской интеллигенции.

Можно сразу отметить, что марксистское учение об интеллигенции не может служить ориентиром в решении этой проблемы, ибо интеллигенция очень плохо вписывается в общую схему классовой борьбы, лежащей в основе социального учения марксизма. В современных марксистских работах в понятие интеллигенции включаются совершенно разнородные социальные группы. Так, творческая интеллигенция постоянно отождествляется с инженерно-технической интеллигенцией, хотя их социальные функции существенно различны, в особенности в современном обществе.

По стандартному определению нового издания Большой Советской Энциклопедии, это «общественный слой людей, профессионально занимающихся умственным, преимущественно сложным творческим трудом и распространением культуры» (Е. Амбарцумов, БСЭ, т. 10, стр. 920).

Создается впечатление, что из многочисленных марксистских высказываний об интеллигенции неоспоримо справедливо лишь утверждение одного из классиков советского марксизма А. Луначарского, согласно которому «интеллигенция в большинстве случаев не понимает сама, какую социальную роль она играет» («Интеллигенция в её прошлом, настоящем и будущем». М., 1924, стр. 28).

Ниже рассматриваются некоторые существенные проявления социальной активности лишь творческой интеллигенции, т. е. той её части, которая занята созданием и распространением литературы, искусства, философии, общественных наук, хотя нельзя не признать известной искусственности в таком выделении, поскольку по ряду особенностей эта группа вполне тождественна некоторым другим группам интеллигенции. Все же следует подчеркнуть, что социальные феномены, о которых будет идти речь ниже, а имен-

но либерализм и радикализм, — прежде всего социальная функция этой группы интеллигенции, хотя они отнюдь не исчерпывают всей её многогранности.

В современном демократическом обществе либеральная творческая интеллигенция становится все более и более могущественной группой с возрастающим политическим влиянием. В то же время исключительно важную роль приобретает другая группа интеллигенции, а именно интеллигенция радикальная, открыто стремящаяся к захвату власти в обществе и становящаяся первичной социальной базой тоталитаризма во всем мире. Оба течения тесно связаны друг с другом. Радикальная интеллигенция невозможна без интеллигенции либеральной, будучи ее продуктом. С другой стороны, формально не отождествляя себя с интеллигенцией радикальной, либеральная интеллигенция не может и не желает с ней бороться, ибо такая борьба была бы равносильна отрицанию собственного *raison d'être*. Таким образом, либеральная интеллигенция, хочет она того или не хочет, расчищает путь к тоталитаризму, который несет с собой интеллигенция радикальная.

Либерализм и радикализм современной творческой интеллигенции вытекает из ее социальной функции, которая, в свою очередь, определяется сложным комплексом факторов, в основе которого находится духовное состояние современной цивилизации.

В условиях потребительского общества складывается особая форма капитализма, а именно капитализм идеологический, извлекающий прибыль из творчества, обращенного таким образом в товар. В этом обвиняет потребительское общество крупнейший идеолог современного радикализма Герберт Маркузе, говоря, что «когда при помощи средств массовой информации гармонично и часто незаметно подмешива-

ют к искусству, политике, религии и философии коммерческую информацию, эти области культуры приводятся к общему знаменателю — товарной форме» („Der eindimensionale Mensch“, Luchterhand, 1970, S. 77).

Однако дело не только и не столько в этом. Существование всех форм капитализма полностью зависит от стимулирования потребления. Маркузе сознательно обходит тот факт, что стимулируя потребление своей продукции, капитализм в его идеологической форме прямо заинтересован в непрерывной смене идеологий, стилей, вкусов, мод. Он в принципе не может быть консервативным. На это с полным основанием обращал внимание советский социолог Ю. Давыдов («Мистика потребительского сознания», «Вопросы литературы», 1973, № 5). По его словам, «есть достаточно серьезные основания для того, чтобы многие явления «неоавангардизма» — начиная с «шоковой терапии» и «эстетики молчания» и кончая левозэкстремистским «антиискусством» — связать с рассмотренным нами синдромом гипертрофированного потребительства, утверждающего (и возвеличивающего) себя с помощью «Беликого Отказа».

Только таким образом идеологической форме капитализма удастся стимулировать потребление своей продукции. Идеологический капитализм за счет масштабированного психологического воздействия на потребителя заставляет его следовать за требованиями загрузки индустрии массовой информации. Творческая интеллигенция, будучи социальным базисом идеологического капитализма, усваивает его интересы, в частности, постоянную заинтересованность в смене творчества и, таким образом, резкую враждебность консерватизму. Либеральность творческой интеллигенции оказывается социально обусловленной, хотя, разумеется, отнюдь не носит какого-либо фатального характера. Здесь нельзя говорить о полном социаль-

ном детерминизме, а лишь о ярко выраженной тенденции, которая, впрочем, постепенно усиливается.

Идеологический капитализм, а вместе с ним и творческая интеллигенция оказываются чрезвычайно заинтересованными в уничтожении всех препятствий, которые стоят или же могли бы встать на пути сбыта творческой продукции. Такими препятствиями оказываются в первую очередь ограничения социального, религиозного или же нравственного характера. На это также обращал внимание Маркузе, говоря, что в современном потребительском обществе «можно говорить об институционализированной десублимации» (там же, стр. 93), т. е. о насильственном устранении всех общественных ограничений. Хотя сам Маркузе — сторонник подобной десублимации в обществе будущего, он признает, что в настоящее время «имеют место принудительные формы десублимации, по сравнению с которыми сублимированные порывы и цели, соблюдающие общественные табу, содержат больше свободы и больше Отказа» (там же, стр. 92).

Все это, разумеется, не исключает того, что идеологический капитализм не готов удовлетворить любые потребности, в том числе, например, и религиозные, но ради отдаленной перспективы оказывается выгодным сокращать круг консервативных потребителей творческой продукции, с их заведомо узким спросом, за счет потребителей, готовых приобретать поток непрерывно меняющегося идеологического товара.

Идеологический капитализм оказывается основной базой политического либерализма, чем явно отличается от капитализма промышленно-торгового, который находится в большей безопасности в условиях консервативных режимов. Одной из главных целей политического либерализма становится устранение цензуры как политической, так и нравственной, отражающей признанные обществом ценности. Это стрем-

ление имеет в своей основе прямую заинтересованность идеологического капитализма. Наличие цензуры приносит ему большие материальные убытки. В стремлении к расширению сбыта идеологический капитализм использует сферу секса, поскольку сексуально ориентированный товар сбывается гораздо лучше, чем товар, лишенный такой ориентации.

Здесь снова уместно сослаться на Маркузе, утверждающего, «что развитая индустриальная цивилизация оперирует с высоким уровнем сексуальной свободы — «оперирует» в том смысле, что последняя становится рыночным товаром» (там же, стр. 93-94).

Идеологический капитализм способствовал так называемой сексуальной революции на Западе, главный адвокат которой — либеральная интеллигенция. Потребительский характер сексуальной революции хорошо вскрыт упоминавшимся выше Ю. Давыдовым (там же), который обращал внимание «на связь, существующую между стремлением к абсолютизации «принципа удовольствия», с одной стороны, и объективными тенденциями государственно-монополистического капитализма*, конституирующегося в форме «общества потребления» — с другой. В самом деле, не так уж трудно провести аналогии между требованием переориентировать современное человечество с «принципа реальности» на «принцип удовольствия» (Маркузе и молодые «новые левые»), лозунгами «Удовольствие — любой ценой!», «Наслаждение — это всё!» (гедонистическая мистика) и призывами «евнухов промышленности», обслуживающих «потребительскую цивилизацию»: «Потребление, потребление и еще раз — потребление!»

Но стремление к расширению сбыта сексуально ориентированного товара и коммерческая пропаганда

* Использование подобного термина в отношении потребительской экономики Запады вряд ли является верным. Он полностью верен лишь для экономики Востока.

сексуальной революции наталкивается на естественные ограничения человеческой природы. Так, по сообщению журнала Time (1974, 25 ноября), неумеренная сексуальная пропаганда средствами массовой информации привела к тому, что сотни тысяч и даже миллионы людей, испытав нервный срыв, моральную опустошенность и их неизбежные физические последствия, обманутые, отказались от крайних форм сексуальной революции. Индустрия порнографии, — пишет Time, — сокращается. Во многих городах магазины, торгующие непристойной литературой, сообщают о падении уровня продажи за прошлый год более, чем на 50 %. Исчезают многие «сексуальные клубы». В 1973 г. в Южной Калифорнии было 20 таких клубов. Теперь их всего восемь. Чтобы не разориться, одному клубу пришлось снизить членские взносы и ввести дискуссионные группы. Многие эксперты, — по словам Time, — сообщают о тяжелых и часто неожиданных проблемах ревности.

«Хотя маловероятно, — продолжает журнал, — что порядки вернутся к тому, что было 30 лет назад, имеются признаки того, что сексуальный авангард — те, кто практикует *swinging*, групповой секс, открытый брак, бисексуальность и другие причудливые экспериментальные формы, — находится в состоянии упадка».

Не следует, впрочем, полагать, что идеологический капитализм смирится с тем, чтобы материально выгодная для него сексуальная революция перестала приносить ему пользу. Можно быть вполне уверенным в том, что будут отыскиваться способы увеличить сбыт сексуально ориентированного товара и новые пути к потребителю, не считаясь с отрицательными социальными последствиями, которые это могло бы вызвать. По удачному выражению Ю. Давыдова, «девятый вал» сексуальной революции еще впереди.

Нами уже рассматривался вопрос о том, как именно активность капитализма во всех его формах невольно направлена на уничтожение того потребительского общества, лишь внутри которого он может существовать (см. М. Агурский «Современные общественно-экономические системы и их перспектива», в сб. «Из-под глыб», Париж, 1974).

Естественные ресурсы, за счет которых капитализм осуществляет постоянный рост потребления, ограничены, и дефицит хотя бы одного из таких ресурсов, как топливо, воздух, вода, земля приведет человечество к катастрофе. Но в точности так же не являются неисчерпаемыми психические и физические ресурсы самого потребителя продукции идеологического капитализма — человека...

Выше приводилось сообщение журнала Time, где говорилось о спаде сексуальной революции в США. Главной причиной этого спада были серьезные нарушения психической и нервной жизни многих людей. Социолог Коннектикутского университета Денфелд утверждает, что большинство лиц, практиковавших необузданную сексуальную свободу, потерпели в итоге «психологический ущерб», и что прежние оптимистические прогнозы о якобы благотворном влиянии сексуальной свободы исходили только от ее адвокатов.

«Институционализируемая десублимация» ведет и к быстро прогрессирующей утрате нравственных ценностей, т. е. к исчерпанию тех ресурсов, от которых целиком зависит устойчивость демократической формы западного общества. Маркузе совершенно неправ, полагая, что подобная «десублимация» ведет к повышению устойчивости потребительского общества. Напротив, это бомба замедленного действия, подложенная под это общество. На это еще давно указывал Питирим Сорокин.

Демократия как политическая форма общества сложилась в определенных исторических условиях, а именно в таких протестантских странах, как Англия или же Голландия, с высокой самодисциплиной населения, основанной на строгом этическом характере протестантизма. «Десублимация» своим непосредственным последствием имеет падение этой самодисциплины, а это создает постоянно растущую угрозу политического краха демократического общества.

Одна и та же закономерность приводит к тому, что социальные группы, непосредственно заинтересованные в том, чтобы потребление в обществе постоянно возрастало, оказываются главной разрушительной силой этого общества. Общество, главным законом существования которого становится корыстная заинтересованность отдельных групп населения в росте потребления, в принципе не может быть устойчивым. Оно чревато тотальной катастрофой.

Творческая интеллигенция, как социальная группа, прямо заинтересованная в росте потребления, оказывается одной из главных разрушительных сил современного общества. Точнее было бы сказать, что подобной разрушительной силой оказывается тот ее слой, социальным феноменом которого является либерализм.

Однако, как уже говорилось, в недрах потребительского общества, в недрах творческой интеллигенции возникает и другая социальная группа, обладающая еще большей разрушительной силой, чем та группа, которую можно отождествить с либерализмом, но которая по существу от него неотделима. Это радикальная интеллигенция. Чтобы понять ее социальную функцию, необходимо дать краткое представление о ее происхождении.

Идеологическая форма капитализма начала складываться окончательно примерно в середине XIX в. Этому способствовали по крайней мере два фактора.

Первым из них оказался технический прогресс и связанное с ним появление средств массовой информации, а именно газет и журналов, начавших издаваться массовым тиражом. С другой стороны, вследствие быстро увеличивающейся грамотности, резко возросла численность потребителей массовой информации. В результате творчество, которое раньше в большинстве случаев было некоммерческим занятием, стало давать большую выгоду как авторам, так и издателям их произведений. По справедливому замечанию советского социолога И. Кона, «важнейшую роль в становлении интеллигенции, как автономной социальной группы, сыграла коммерциализация умственного труда» («Размышления об американской интеллигенции», «Новый мир», 1968, № 1). Роль творческой продукции в обществе стала резко возрастать. Впервые писатели, журналисты, философы, ученые получили возможность широкого влияния на общество.

Несмотря на это творческая интеллигенция в большинстве своем не могла быть удовлетворена той ролью, которую выделяло ей потребительское общество, ибо она выступала в нем не как самостоятельная сила, а как первичный производитель товара, приобретаемого и сбывавшегося посредниками-капиталистами.

Многие, не желая мириться с идеологическим капитализмом, главным критерием своего творчества провозгласили духовные, нравственные и эстетические ценности, противопоставив себя потребительскому характеру современной им культуры.

Другая же часть творческой интеллигенции, не будучи удовлетворена своей ролью, пожелала выступить в качестве доминирующей общественной силы, ибо среди интеллигенции постоянно росло сознание себя как элитарного слоя, призванного руководить обществом и направлять его. По словам М. Мамардашвили, интеллигенция представлялась сама себе «чем-то

вроде прозрачного сознания-медиума, в котором отражается все другое и в котором нет никакой замутненности, никаких помех, проистекающих от собственного положения и природы интеллигенции» («Интеллигенция в современном обществе», в сб. «Проблемы рабочего движения», М., «Мысль», 1968, стр. 425). Мамардашвили далее говорит о том, что подобный взгляд способствовал «выработке у интеллигенции в то время своеобразной идеологии, которую можно было бы назвать просветительским абсолютизмом». «Если, — говорит он, — широчайшие массы людей были исключены из монополии сознательно-критического выражения того, что реально происходит в обществе и в их собственном положении, из монополии умственного труда, то интеллигенция бралась представлять за них, во имя «разума», «добра», «красоты», «истины вообще» и особенно «человека вообще» (там же).

Однако интеллигенции противостояли могущественные общественные силы, так что сама по себе она была весьма беспомощна. В этих условиях в ее среде возникло новое течение, которому суждено было сыграть выдающуюся роль в истории нового времени. Это течение связано с именем Маркса, который впервые, и скорее всего интуитивно, нашел то, каким именно образом интеллигенция может добиться доминирования над другими общественными силами. Маркс впервые обнаружил, что интеллигенция, представителем которой сам он был, может стать весомой общественной силой, лишь выступая от имени какой-либо иной социальной группы и даже отождествляя себя с ней. Разумеется, такая группа должна быть угнетена или же, по крайней мере, находиться в состоянии неустойчивости. Такой группой в XIX в. оказались индустриальные рабочие. Маркс взялся, по выражению Мамардашвили, «представлять за них». Это вскоре дало исключительный общественный эффект.

Интеллигенты-марксисты, защищая интересы необразованных рабочих и даже их «диктатуру», добились огромного влияния, сделав многих из них своим оружием, послушно следовавшим за лозунгами. Как вполне справедливо отмечал В. Махайский (выступавший под псевдонимом А. Вольский), «марксизм» обеспечил интеллигенции полный простор для внушения рабочему классу своих стремлений в виде безошибочных аксиом научного социализма» («Умственный рабочий», СПб, 1906, стр. 84).

Крайне малодоступный трактат Маркса «Капитал», требовавший для его понимания высокого экономического и философского образования, был демагогически объявлен настольной книгой каждого рабочего. Интеллигенты, руководившие рабочими кружками по изучению «Капитала», внушали рабочим идеи, которые те не были в состоянии ни проверить, ни оценить. По словам того же Махайского, «с развитием крупного капиталистического производства для рабочего, сводимого им к роли придатка к машине, само производство, построенное теперь на научной технике, становится такою же тайною, какою всегда были для него абстрактные философские науки и все мистерии политики и управления» (там же, стр. 97).

Рабочим импонировала мысль, что их провозглашают самой прогрессивной частью человечества и что им надлежит взять власть в свои руки. Однако они в большинстве своем не могли заметить, что просветители используют их как пушечное мясо революции, хотя это вовсе не означает, что радикальная интеллигенция сама не подвергалась риску в революционной деятельности.

Наибольших успехов радикальная интеллигенция добилась, как известно, в России, где ей удалось использовать в своих целях социальную неудовлетворенность широких масс народа.

Тот факт, что интеллигенция добивалась целей, чуждых интересам защищаемых ею рабочих, осознавался уже давно, хотя критика интеллигенции, например, со стороны Махайского носила весьма вульгарный и зачастую антиинтеллектуалистский характер. Махайский утверждал, что «интеллигенция есть особый общественный класс, характеризующийся особым источником дохода, а именно знаниями, и является поэтому классом паразитическим, живущим за счет труда рабочих и стремящимся к господству над всем обществом. Социализм, согласно этой теории, является особой идеологической формой обмана рабочих интеллигенцией, заинтересованной в порабощении пролетариата путем создания такого общества, где власть будет принадлежать монополистам знания и образования» (БСЭ, I-е изд., т. 38, стр. 494).

Махайский призывал рабочих вести чисто экономическую борьбу и не брать власть в свои руки прежде, чем они сами не овладеют образованием. «Раньше чем взять производство в свои руки, — говорил он, — рабочие должны добиться для себя и для своих детей права приобрести знания таким же путем, как их приобретают господа-белоручки» («Буржуазная революция и рабочее дело», СПб, 1906, стр. 111).

«Пока рабочие не вырвали таким образом из рук ученого пицци знаний, — утверждал Махайский, — пока они остаются такими, как в настоящее время, рабочими, знающими только ручной труд и воспитанными в рабов, ими всегда будут командовать их господа-интеллигенты, белоручки — даже в социал-демократическом государстве, даже в анархической общине» (там же, стр. 111).

Как видно из этих слов, сам Махайский целиком оставался в рамках самого крайнего радикализма, что делало его позицию весьма непоследовательной и в целом неубедительной, так что его деятельность не имела заметного влияния на общественную жизнь.

Компрометации Махайского способствовал и тот факт, что его противники всегда отождествляли его с так называемой «зубатовщиной». Известно, что в конце XIX века один из сотрудников жандармского управления Сергей Зубатов, в прошлом революционер, предложил правительству оторвать рабочих от интеллигенции, убеждая первых в том, что интеллигенция преследует, прикрываясь социализмом, собственные интересы. Зубатов быстро достиг значительных успехов, найдя единомышленников как среди русских, так и среди еврейских рабочих. Одной из его последовательниц оказалась, например, известная еврейская революционерка Маня Вильбушевич. Зубатов пытался поддержать требования рабочих и оказывать давление на капиталистов. Однако первые же забастовки, начатые рабочими, находившимся под влиянием Зубатова и его сотрудников, были использованы его врагами в правительстве, в результате чего Зубатов был смещен и отправлен в ссылку, где через некоторое время покончил жизнь самоубийством.

Русским марксистам удалось организовать величайшую в мире социальную революцию, в результате чего небольшой группе радикальной интеллигенции удалось навязать свою власть, которая оказалась неизмеримо худшей, чем власть прежнего режима. Смысл существования господствующей группировки радикальной интеллигенции стало насильственное навязывание идеологии обществу. Новая власть стала тоталитарной, и демократической (см. об этом интересную статью Д. Нелидова в «Вестнике РСХД», № 111).

Радикальная интеллигенция никогда не была бы в состоянии захватить власть в России, если бы почва для нее не была бы подготовлена русской либеральной интеллигенцией, о состоянии которой в предреволюционный период достаточно красноречиво гово-

рят «Вехи», — один из главных обвинительных документов против нее.

Начало XX века было эпохой полного торжества либеральной интеллигенции, которая держала в своих руках общественное мнение страны, особенно после того, как в 1905 г. была окончательно уничтожена цензура.

Многолетнее господство интеллигенции над общественным мнением и ее критика традиционных ценностей привели в конечном счете к деморализации населения, к утрате этих ценностей как фактора, обуславливавшего самодисциплину населения. В тот момент, когда в России после Февральской революции 1917 г. ненадолго воцарился долгожданный политический либерализм, почва для тоталитаризма была окончательно расчищена. Победа политического либерализма оказалась в то же время самоубийством сил, его породивших. Неограниченная политическая свобода в условиях военного времени, в условиях резкого падения самодисциплины населения, не могла не привести к хаосу и кровавой анархии, чем и воспользовалась малочисленная, но дисциплинированная группа радикальной марксистской интеллигенции, захватившая власть и физически уничтожившая своих противников и в первую очередь — либеральную интеллигенцию.

Либеральную интеллигенцию часто критикуют за контрреволюционность. Действительно, либеральная интеллигенция не желает революции. Но ее социальная природа, природа потребительского общества таковы, что они неизбежно порождают радикальную интеллигенцию, выходящую из их недр. Радикализм, и в частности марксизм, есть наиболее последовательная форма эволюции либерализма, есть его самоотрицание. Это неизбежная стадия развития интеллигенции в потребительском обществе. При этом русская революция представляет собой типичную мо-

дель социальной динамики интеллигенции и в других странах.

Радикальная интеллигенция может быть не только левой, но и правой. Итальянский фашизм и немецкий национал-социализм — это достаточно хорошо известные примеры правого радикализма. Но они возникли как реакция на левый радикализм, который оказывается их первопричиной.

Власть радикальной интеллигенции оказывается гораздо более тяжелой, чем власть бюрократии и промышленно-торгового капитализма в частнокапиталистическом потребительском обществе. Но вместе с тем, она оказывается и крайне неустойчивой. Первая фаза тоталитарной власти радикальной интеллигенции характерна особенной интенсивностью стремления воплотить в жизнь возможно большее количество идейных замыслов. При этом, как правило, радикальная интеллигенция, пришедшая к власти, составляется из малокомпетентных людей, лишенных возможности получить основательную профессиональную подготовку, вследствие их занятости революционной деятельностью. Но эта фаза тоталитаризма, как правило, весьма кратковременна, ибо деятельность радикальной интеллигенции очень быстро ввергает общество в экономический и политический хаос. Так, в России, первой фазой тоталитаризма явился двух-трехлетний период так называемого «военного коммунизма», когда в результате некомпетентного идеократического управления страна была доведена до гигантской разрухи (см., например, статью автора «Экономическая система Востока и Запада», Альманах самиздата, Амстердам, 1974, № 1).

Молчаливо подразумевалось, что группа некомпетентных людей, выдававших себя за представителей рабочих, имеет право на рискованный эксперимент над десятками миллионов людей. Между прочим, подобная точка зрения нашла даже свое теоретическое

обоснование в недавних словах Роя Медведева — «марксизм имеет право на эксперимент», в его статье о «Письме к вождям» А. Солженицына. Приступая к руководству страной, группа марксистской интеллигенции некомпетентно оперировала людьми и экономикой, как деталями макета. Об уровне руководства в период «военного коммунизма» говорит, например, то, что единоличным автором большинства многочисленных постановлений по важнейшим хозяйственным вопросам был Ю. Ларин (Лурье) (1882-1932), человек, окончивший лишь гимназию. Сообщается, что в «первые периоды советской власти» (примерно до лета 1918 г.) было допущено единоличное составление и публикация Лариным в официальном отделе правительственной газеты законов и обязательных постановлений по разнообразным вопросам хозяйственной жизни, иногда за ставившейся им (Лариным) подписью Ленина, чаще только за своей личной подписью (как, например, декрет о восьмичасовом рабочем дне и нормах рабочего законодательства, положение об управлении промышленными предприятиями и порядке их национализации, о создании ряда «главков» и «центров» и **мн. др.**), иногда с присоединением подписей еще некоторых товарищей, предоставивших право присоединения их подписей, и т. д.

В наступивший затем период военного коммунизма (с осени 1918 г. до лета 1921 г.) работа Ларина охватывала все основные области хозяйства, начиная от финансов (введение сметного порядка содержания промышленности, правил о составлении государственного бюджета, затем бесплатности государственных и коммунальных услуг с отменой денежных налогов и т. д.) и распределения (осенний закон 1918 г. о национализации торговли и др.) и кончая земледелием (создание совхозов, приписного к фабрикам и городам земледелия и пр.), транспортом и внешними экономическими сношениями (участие во введении монополии

внешней торговли, командировка летом в Берлин для переговоров с Германией и т. д.), не говоря уже о промышленности и рабочем законодательстве (натурализация и нормирование заработной платы, затем введение премиальности, переход к коллективному снабжению и т. д.) («Энциклопедический словарь Гранат», т. 41, ч. I, стр. 278-279).

Нет ничего удивительного в том, что подобное реформаторство увенчалось полнейшим провалом.

«Военный коммунизм» имел ряд позднейших аналогов в других странах, а именно там, где радикальная интеллигенция приходила к власти сама, а не в результате советской военной оккупации, например, на Кубе или в Чили. Радикальные режимы в этих странах довели до хаоса свою экономику, в течение примерно столь же краткого периода времени, как и большевики в период «военного коммунизма».

Захватив власть, радикальная интеллигенция не может удержать ее. Во всяком случае, она не может ее удержать, будучи лишена внешней поддержки, как это и было в Советской России. Из-за некомпетентности руководства она вступает в конфликт с обществом, в процессе эволюции которого созревает новая бюрократия. Такая бюрократия отказывается от некоторых крайностей радикальной идеологии, сохраняя тоталитарный характер общества для оправдания своей власти. Переходу власти от радикальной интеллигенции к бюрократии могут сопутствовать и другие социальные процессы.

Окончательно радикальная интеллигенция в СССР была отстранена от власти в период чисток 36-38 гг.

Как уже говорилось, либеральная интеллигенция не может быть последовательным критиком радикализма, и в частности марксизма, ибо допустив такую критику, она тем самым выступила бы против самого принципа своего функционирования. Она не может

выступать ни против радикализма внутри одного с ним общества, ни в том случае, когда радикализм приходит к власти в другой стране. Именно этим и объясняется примиренческое отношение в среде западной либеральной интеллигенции к тоталитаризму. СССР, в частности, был первой страной в мире, где производился идеократический эксперимент. Признание его неудачи в принципе подрывало устремление людей, мечтавших на Западе о том, чтобы и их собственные идеи оказались столь же могущественной материальной силой, какой оказались идеи русской радикальной интеллигенции. Поражение этого эксперимента означало бы конец надежд на многие другие идеократические эксперименты.

Уже в 20-30-х гг. западная либеральная интеллигенция стала обнаруживать вполне определенное отношение к тому, что происходило в СССР. Она старалась не замечать очевидных фактов, говоривших о невиданном массовом терроре, о резко ухудшившемся положении рабочих и крестьян, о массовом уничтожении культурных ценностей и т. п. Нетрудно составить длинный список имен известных представителей западной либеральной интеллигенции, ставших добровольными адвокатами тоталитаризма. В этот список, в частности, с полным правом можно внести Лиона Фейхтвангера, Анатоля Франса, Бертрана Рассела, Ромена Роллана, Жана-Поля Сартра, Герберта Уэллса, Эптона Синклера, Синклера Льюиса и многих других. Некоторые из них, правда, оказывались в состоянии конфликта с СССР, но ненадолго и не по принципиальным соображениям. Особое внимание привлекает Бернارد Шоу, который оказался одним из самых безапелляционных защитников тоталитаризма. Когда, например, в 1929 г. из СССР стали поступать потрясающие сообщения очевидцев, да и самой советской прессы о разнузданном антирелигиозном терроре, Шоу объявил эти сообщения вымыслом. Рой Мед-

ведев в своей книге «Пусть судит история» приводит высказывание Шоу, прибывшего в СССР в 1933 г. во время массового голода, унесшего миллионы жизней. На вопрос корреспондента, есть ли в России голод, Шоу ответил, что никогда не обедал столь сытно и вкусно, как переехав советскую границу.

Характерно, что впоследствии Шоу защищал нацистов и опровергал заявления о существовании в Германии лагерей смерти.

Для таких людей, как Шоу или Уэллс, люди еще не заслужили права называться *Homo Sapiens*, и требовалась большая работа по переустройству человечества в соответствии с их планами. Поэтому массовое уничтожение людей в тоталитарных странах представлялось им необходимым шагом на пути к прогрессу, который был бы невозможен в том случае, если бы биологически старый тип человека продолжал оставаться доминирующим (см., например, Г. Уэллс, «Необходима осторожность»).

В то же время западная радикальная интеллигенция в подавляющем большинстве была ориентирована марксистски и безоговорочно поддерживала СССР, стремясь утвердить в своих странах тоталитаризм советского типа.

В послевоенные годы, однако, ориентация радикальной интеллигенции на Западе стала меняться. Оказалось, что рабочий класс весьма успешно вписался в потребительское общество, как это, в частности, красноречиво показал Маркузе. На рабочих уже нельзя было более повсюду рассчитывать как на социальную базу радикализма. Если это еще можно было пока во Франции или Италии, не оставалось никаких надежд на использование в революционных целях рабочего класса в США или же в ФРГ, ибо там рабочие были прекрасно обеспечены как в материальном, так и в правовом отношении и не проявляли почти никакого интереса к революционному движению. Вначале

это вызвало временный спад радикализма, главным образом, в США. Советский социолог И. Кон не затруднился истолковать пассивность американской интеллигенции в послевоенный период мнимой «атмосферой интеллектуального террора» («Новый мир», 1968, № 1). На самом же деле причиной этой пассивности была утрата американской интеллигенцией того социального базиса, с которым она могла бы отождествлять себя.

Из этого состояния ее вывели «новые левые», которые стали ориентироваться не на рабочий класс, а на любые движения протеста и неудовлетворенности. Новые левые не отказались полностью от марксизма. Но в их руках марксизм открыто и сознательно превратился в метод политической борьбы, позволяющий радикальной интеллигенции претендовать на господство над обществом, отождествляя себя с недовольной или же неустойчивой группой.

«Новые левые» увидели многообещающую социальную базу в студентах, молодежи вообще, национальных меньшинствах и различных аутсайдерах. Идеологи «новых левых» Маркузе, Адорно и др. первыми поняли это. Любопытно, что все эти по преимуществу престарелые люди оказались лидерами движения, провозгласившего едва ли не абсолютный примат молодежи над старшим поколением. На этот парадокс нового левого движения указывал, между прочим, известный американский писатель Сол Беллоу (Saul Bellow) в своей книге «Планета м-ра Сэммлера» (Mr. Sammler's planet).

Как уже говорилось выше, идеология «новых левых», в центре внимания которой оказалась сексуальная революция и художественный авангард, имеет четко выраженный потребительский характер.

Еще одной тенденцией в развитии марксизма как метода политической борьбы явилось то, что он стал также превращаться в оправдание власти различных

диктатур, оказавшихся у власти в результате переворотов и желающих оправдать свое правление постфактум. Как выяснилось, авторитарные режимы становились намного более устойчивыми, если приобретали тоталитарный характер, сообщаемый им взятым на вооружение марксизмом. Типичный пример такого рода — Куба, где горстка молодых радикальных интеллигентов, использовав широкое недовольство диктатурой Батисты, пришла к власти в стране и вскоре навязала такой свирепый тоталитарный режим, перед которым прежняя диктатура выглядела едва ли не образцом демократии. Но это стало возможным лишь потому, что Кастро уже **после прихода к власти** осознал, что единственным оправданием его власти может стать лишь марксизм, который позволил отождествить его личную диктатуру с мнимой диктатурой рабочего класса. Однако путь к диктатуре Кастро проложила кубинская либеральная интеллигенция, которая не могла предположить, что после свержения диктатуры Батисты найдутся силы, желающие навязать стране новую диктатуру. Нечто подобное происходит сейчас в Португалии, которой угрожает тоталитарная диктатура со стороны малочисленной, но хорошо организованной группы радикальной марксистской интеллигенции.

Быстрое распространение тоталитарных режимов во всем мире становится сейчас одной из главных угроз человечества. Они превращают население в рабов малочисленных клик радикальной интеллигенции, подобных клике Кастро, которые демагогически провозглашают лозунги социальной справедливости. Они угрожают миру во всем мире, ибо тоталитарные режимы, по своей природе отличаясь крайней агрессивностью, непрерывно порождают военные конфликты. Само существование демократических стран рассматривается тоталитарными странами как вызов их существованию.

Соппротивление тоталитаризму в современном мире ослабевает, и это происходит отнюдь не из-за силы тоталитарных режимов, которые также слабеют со временем, а от того, что по своей природе потребительское общество Запада фактически ему благоприятствует. Запад, в частности, опасается потери рынков сбыта и источников сырья, находящихся в тоталитарных странах. Это опасение, а также опасение того, что эти рынки сбыта и источники сырья достанутся конкурентам, заставляет капиталистические круги постоянно оказывать давление на правительства своих демократических стран с тем, чтобы те не вступали в конфликт с тоталитарными режимами.

В то же время резко усиливающаяся либеральная интеллигенция, со своей стороны, оказывает огромное давление на общественное мнение демократических стран с тем, чтобы критика тоталитарных режимов не приняла характера, угрожающего ее интересам.

Капитуляция перед тоталитаризмом приняла в западном мире поистине мазохистский характер в период вьетнамской войны, явившейся переломным моментом в развитии западного общества.

Как известно, начиная с 60-х гг., Южный Вьетнам подвергся коварной и беспощадной агрессии северовьетнамских войск, поддержанной всем тоталитарным миром. Нет никаких оснований оправдывать режимы императора Бао Дая или же генерала Нго Динь Дьема. Но северовьетнамские агрессоры отнюдь не стремились исправить преступления этих правителей. Взамен коррупции сайгонской администрации онинесли смерть миллионам и рабство, по образцу, который уже имелся в Северном Вьетнаме. Они не брезговали никакой жестокостью, обстреливали толпы гуляющих мирных жителей, убивали детей, женщин и стариков с тем, чтобы по известному рецепту времен гражданской войны в России привести в ужас остальное население.

Правительство США, с целью предотвратить агрессию, грозившую распространиться на все страны Юго-Восточной Азии, решило оказать помощь Южному Вьетнаму. Надо сказать, что действия правительства США во Вьетнаме с самого начала были на редкость беспомощными и бездарными. Война носила неравный характер. Северовьетнамские агрессоры не брезговали никакими средствами, а правительство не только не использовало своих возможностей, как это было некогда в Корее, но и связало руки Южному Вьетнаму. Вместо того, чтобы мобилизовать силы самого вьетнамского народа, оно стало бросать во Вьетнам сотни тысяч американских солдат, в то время как в Южном Вьетнаме не было даже всеобщей мобилизации. Правительство США запретило южновьетнамским войскам пересекать границу Северного Вьетнама, в то время как северовьетнамские войска имели полную свободу действий. Вместо этого американская авиация бессмысленно осыпала бомбами Северный Вьетнам, а эти бомбы большей частью убивали мирных жителей.

Неудачи США во вьетнамской войне были немедленно использованы как либеральной, так и радикальной интеллигенцией. Никто не вправе требовать от какого-либо народа, в том числе американского, чтобы он был неким жертвенным животным для других народов, выполняя полицейские функции во всем мире. И если последовали бы требования прекращения войны — как практически бессмысленной, это было бы понятным и простительным. Но либеральная интеллигенция повела себя иначе. Она стала обвинять правительство в том, что оно ведет несправедливую войну, борется против... свободы вьетнамского народа, защищает несправедливый недемократический режим Южного Вьетнама от справедливого гнева народа.

Так оценивала западная либеральная интеллигенция силу, органически враждебную всякой цивилизации, всякой гуманности. Тоталитарный агрессор был представлен как поборник демократии, а его жертвы — ее противниками.

Неудачи США в период вьетнамской войны позволили либеральной интеллигенции сплотить вокруг себя всех недовольных этой войной, что обеспечило ей прочную политическую позицию в общественной жизни страны. Но это, в свою очередь, открыло широкое поле деятельности для радикальной интеллигенции. Молодежь, не желавшая бессмысленно воевать и умирать во Вьетнаме, оказалась той желанной социальной базой, с которой было выгодно себя отождествить. Именно поэтому вьетнамская война способствовала окончательному формированию и широкому распространению «нового левого» движения. «Новые левые» институционализировались на критике вьетнамской войны.

В конечном счете, под давлением изнутри, правительство США решило выйти из войны. Было заключено так называемое «мирное соглашение», по существу явившееся капитуляцией США. Это соглашение, во-первых, не могло контролироваться, а во-вторых, его никто и не собирался контролировать всерьез, так что агрессия возобновилась сразу после отвода из Вьетнама американских войск.

Позорное поражение США во Вьетнаме — это сокрушительное поражение всего Запада, от которого ему, по-видимому, уже никогда не удастся оправиться. США, сильнейшая держава западного мира, добровольно отказалась от взятой одно время на себя роли защитника демократических свобод во всем мире, роли, от которой другие демократические страны отказались еще раньше. Отныне западный мир больше уже не сможет нигде противостоять тоталитарной агрессии. Никто не сможет рассчитывать на США или

на какую-либо другую страну, защищая свою свободу. За Вьетнамом вскоре последуют Камбоджа, Лаос, Таиланд, Филиппины. Быть может, еще США станут защищать свои непосредственные интересы. Быть может, они некоторое время еще будут поставлять жертвам агрессии оружие, но рассчитывать на их прямую помощь в защите свободы малым странам уже невозможно. В то же время любой тоталитарный режим всегда может рассчитывать на то, что, в случае принятой им агрессии, если не СССР, то Китай или Ливия всегда поддержат его.

Теперь в США как будто бы заняты реабилитацией дезертиров американской армии. Любопытно, какое количество дезертиров окажется среди американских солдат в час более серьезных испытаний для США?

В настоящее время либеральная интеллигенция, не говоря уже о радикальной, продолжает оберегать от критики тоталитарные режимы, постоянно отыскивая у них какие-либо светлые стороны. Ее фаворитом при этом становится Китай, где тоталитаризм достиг мыслимого пока предела (если не считать Северную Корею и Албанию). Она отводит от тоталитарных стран критику, сознательно направляя ее в адрес диктаторских режимов западного мира. Нельзя защищать несправедливости и насилия в ЮАР, Гаити, Чили и т. д., но они явно превращаются в некий громкий отвод антитоталитаризма. Как бы ни были велики несправедливости апартеида, они не идут ни в какое сравнение с обращением, например, с крымскими татарами, насильно изгнанными со своей родины. Как бы ни были велики насилия в Чили, они не идут ни в какое сравнение с одним фактом существования Берлинской стены и с непрекращающимися убийствами людей, пытающихся бежать из неонацистской ГДР.

В силу тех же причин либеральная интеллигенция оказывается неизбежным противником оппози-

ции тоталитарным режимам. Она всегда стремится преуменьшить значение этой оппозиции.

Заключение

В условиях потребительского общества социальное положение творческой интеллигенции приводит к тому, что ее весьма важными социальными феноменами оказываются либерализм и радикализм. Нельзя, однако, приписывать такую функцию всей творческой интеллигенции, хотя такая функция, по-видимому, доминирует.

Либерализм и радикализм творческой интеллигенции превращает ее, в силу диалектических особенностей положения этой группы, в серьезного противника подлинной социальной справедливости, мира и демократии. Творческая интеллигенция, в то же время, оказывается одной из главных разрушительных сил современных парламентских систем. Она превратилась в социальную прослойку, профессионально эксплуатирующую в своих целях пороки потребительского общества, лишь усугубляя их.

Как показывает исторический опыт, либеральная интеллигенция прокладывает путь интеллигенции радикальной, но уничтожается по мере прихода последней к власти. В свою очередь, радикальная интеллигенция также оказывается не в состоянии сохранить в своих руках власть из-за своей некомпетентности и нереалистического идеократического подхода к общественным и экономическим проблемам. Она также уничтожается, но уже силами бюрократии, наследующей созданный радикальной интеллигенцией тоталитарный режим.

Устранить же ту деструктивную роль, которую играет творческая интеллигенция в потребительском

обществе, можно лишь преобразовав это общество, необходимым условием чего должно быть нравственное перевооружение.

29 января 1975 г.

АГУРСКИЙ Михаил Самуилович — род. в 1933 г., в Москве. Отец — один из основателей компартии США, директор института истории партии. Окончил в 1956 г. Московский станкоинструментальный институт. С 1969 г. — кандидат технических наук в области технической кибернетики. До 1970 г. работал в военной промышленности, с 1970 по 1975 гг. — переводчиком. В апреле 1975 г. выехал в Израиль. В настоящее время — профессор Еврейского университета в Иерусалиме.

Автор многочисленных работ по истории Церкви, имевших большое хождение в Самиздате. Участник сборника «Из-под глыб». В Америке и на Западе опубликован ряд публицистических работ Агурского.

Дорогой читатель!

В силу специфики своего назначения, «Континент» обязался отдавать предпочтение материалам Самиздата, поступающим к нам из России и Восточной Европы.

Таким образом, журнал практикует срочную заменяемость отдельных публикаций.

По этой причине окончательное содержание некоторых номеров журнала не всегда **полностью** совпадает с предварительным анонсом.

Редакция считает своим долгом заверить Вас в том, что все заранее объявленные и замененные в связи с этим материалы будут в **обязательном порядке** напечатаны в последующих книжках «Континента».

Редколлегия

Иван Кошеливец

ХРОНИКА УКРАИНСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

О существовании сопротивления мы узнали на Западе с большим опозданием. Когда «Культура» опубликовала первые произведения Синявского и Даниэля, мы не имели с Украины ни одного сигнала. Это понятно: Киев — географически ближе к Западу, чем Москва, политически же гораздо дальше, просто недосыгаем. Эта столица как будто имеет законное правительство с Министерством иностранных дел, между тем, никто не знает, чем это министерство занимается, так как нет в Киеве не то что посольств, но и консульств несоциалистических стран, нет и иностранных корреспондентов, которые так активно посредничали в передаче запрещенной информации из Москвы на Запад. Глухое молчание окутывало Киев, и трудно было поверить, что там тлеет искра сопротивления.

В середине 60-х годов начали просачиваться сведения о брожении в литературных кругах, появлении антирежимных листовок и т. д., но буквально вспыхнувшей молнии была для нас книжка Вячеслава Черновола «Горе от ума», которая пробилась через железный занавес и была опубликована в Париже в 1967 году. Из нее и других документов, которые стали поступать уже чаще, мы узнали, что борьба против национальной дискриминации на Украине к тому времени длилась уже десять лет. Попытаюсь кратко передать ее хронику.

1956 год. Хрущев провозглашает на XX съезде десталинизацию, борьбу против «культа личности». После первых же слухов об этом (знаем от очевидцев) весь Киев вышел на улицы. Это была радость чему-то новому. Но после больших надежд пришло горькое разочарование. Так быстро, что уже сегодня это воспринимается как древняя история. Один из самиздатских авторов писал по этому поводу: «У многих из нас сразу после XX съезда было много наивного, розовощекого оптимизма, телячьего энтузиазма, было много иллюзий, построенных на песке...»

Это написано в 1963 году, а последствия первого разочарования проявились гораздо раньше, собственно, в первых зарождениях организованного сопротивления. Деспотизм окружает свои преступления против человечности тайной, и мы далеко не полностью знаем и движение сопротивления, и его жертвы. Вот, однако, что мы знаем.

Во второй половине 1950-х годов в Ивано-Франковске (Станислав) образовалась Объединенная Партия Освобождения Украины. Цель ее — борьба за независимость от Москвы. В декабре 1958 года за это было арестовано десять человек и все они в марте следующего года были приговорены на закрытом процессе к разным срокам заключения.

Следующим в хронологическом порядке будет так называемое «дело юристов», так как все семь осужденных по этому делу работали в системе советского судопроизводства. Руководитель этой группы Лев Лукьяненко (1927), уроженец Черниговщины, окончив Московский университет, с 1957 года работал на Украине. К тому времени убедился в необходимости отделения Украины от России, а в 1959 году вместе с группой единомышленников основал Украинский Рабоче-Крестьянский Союз, основным заданием которого было всецело легальными способами, на основании соответствующих статей конституций СССР и УССР и

трудов Ленина, добиваться выхода Украины из Советского Союза. Вся группа правоведов, несмотря на их подчеркнутую легальность, в январе 1961 года была арестована по обвинению в стремлении «оторвать Украину от России». А на процессе, который состоялся в мае того же года, Лукьяненко был присужден к смертной казни (с заменой на 15 лет заключения), остальные — к разным срокам заключения.

Логика борьбы против деспотичного режима такова, что говорить об очагах сопротивления — это почти всегда одновременно приводить перечень наказаний, которым подвергаются ее участники. Так будет, к сожалению, и в моей хронике, до конца.

Почти одновременно с процессом юристов в декабре 1961 года во Львове состоялся процесс Украинского Национального Комитета. Конкретных данных о деятельности этой организации нет. Известно только, что цель ее была та же самая: требование выхода Украины из Советского Союза. В этом деле на скамье подсудимых оказалось два десятка человек. Двое из них — Иван Коваль и Богдан Грицина — были присуждены к расстрелу, **и на этот раз приговор приведен в исполнение.** Все остальные получили по 15 — 12 — 10 лет заключения.

Очевидно, эти организации и судебные процессы не были явлениями изолированными. Это был показатель нарастающего протеста в широких кругах украинского общества, хотя мы и не можем с уверенностью сказать, какие именно общественные прослойки он охватывал. Достоверно известно только, что к началу шестидесятых годов противорежимное движение особенно распространилось в литературных кругах. Главным его направлением была борьба против агрессии великодержавного российского шовинизма, национальной дискриминации, насильственной русификации всей культурной жизни. Это движение было весьма разнообразным: от более менее легальных форм

уклона в «буржуазный национализм» до действий, квалифицированных властью как «измена родине» и «подрыв советской власти». Соответственно варьировались и наказания: от запрещения издаваться и исключения из Союза писателей до тюрьмы. Среди молодых поэтов, которые со времени появления в литературе получили название шестидесятников, особенно выделялся остро сатирическими противорежимными стихами умерший в 1963 году Василий Симоненко, произведения которого и теперь представляют собой образец самиздатской поэзии.

Из среды шестидесятников выделилось несколько талантливых литературных критиков: Иван Дзюба, Иван Светличный, Евгений Сверстюк и другие. Все они потом стали выдающимися деятелями сопротивления, хотя в дальнейшем судьба их сложилась по-разному: если последние два стали жертвами террора и теперь находятся в заключении, то Иван Дзюба капитулировал перед режимом и таким образом вышел из игры. Но об этом скажу еще в дальнейшем.

А пока, в те времена, о которых идет речь, уроженец Донбасса Дзюба выдвигался на первое место. Автор блестящих литературно-критических, открыто направленных против догм социалистического реализма эссе, еще тогда не напечатанных, но уже распространявшихся в Самиздате, он к середине шестидесятых годов выделялся как главный идеолог украинского сопротивления.

Но первый секретарь ЦК КП Украины Петр Шелест, который в правительстве как московский наместник был первым лицом на Украине, допустил ошибку. Под давлением стихийно нарастающего протеста против национального угнетения он, желая подробнее ознакомиться с корнями этого движения, предложил именно Ивану Дзюбе изложить в развернутой форме национальные претензии украинцев. Дзюба предложение принял и на основании богатого исход-

ного материала по истории России, и опираясь на труды вождей революции, в том числе и на сочинения Ленина, доказал, что СССР в национальном вопросе стал преемником политики царской России, что под прикрытием фразеологии интернационализма распространяется великодержавный российский шовинизм, что национальный гнет и русификация приобретают еще более грубые формы, чем до революции.

ЦК компартии размножил рукопись Дзюбы и распределил среди партийной верхушки для внутреннего обсуждения. Создалась парадоксальная ситуация: книжка, которая появилась по инициативе и по заказу самой партии, из ее же ЦК проскользнула потом в каналы Самиздата и стала основным документом украинского сопротивления. Таков генезис произведения Ивана Дзюбы «Интернационализм или русификация?»

Дзюба адресовал свою книгу лично Петру Шелесту и датировал ее декабрем 1965 года. Трудно сказать, насколько она (или слухи о работе автора над ней) благоприятствовала этому, но с ее появлением совпадает одна из кульминационных точек украинского движения сопротивления, которое охватывает все более широкие круги интеллигенции. КГБ ответил сильным ударом и к концу 1965 и началу следующего года провел массовые аресты, в результате которых в течение 1966 года несколько десятков обвиняемых предстали перед закрытыми судами.

Долго пришлось бы перечислять всех, кто был осужден тогда на разные сроки заключения. Одни из них отбыли свой срок и живут где-то под строгим надзором, другие успели предстать перед судом во второй и в третий раз и отбывают новые сроки во Владимирской тюрьме или в Мордовских концлагерях. Назову лишь самые известные имена. К ним относятся: педагог и автор интересных исследований по психологии труда Михаил Горинь (р. 1930), осужден-

ный на шесть лет лагерей строгого режима; инструктор Львовского областного комитета партии Михаил Осадчий (р. 1936) — два года лагерей строгого режима, после которых написал книгу о своем тюремном опыте «Бельмо» (недавно вышла во французском переводе) и за это с 1972 года находится снова в заключении; известный художник, родом с Харьковщины, Панас Заливаха (р. 1925) — пять лет лагерей строгого режима; литератор с Херсонщины Михаил Масютко (р. 1918) — шесть лет лагерей строгого режима; работник житомирской типографии Анатолий Шевчук (р. 1937) — пять лет лагерей строгого режима. Такова документация об осуждении двадцати человек. Обвинение для всех — одно: «антисоветская пропаганда и агитация». Материалы об этих двадцати и составляют содержание упомянутой книги Вячеслава Черновола «Горе от ума».

Из остальных, о ком написана книжка Черновола, стоит назвать сегодня почти легендарную (если бы не вполне конкретная Владимирская тюрьма, в которой он находится) фигуру Святослава Караванского (р. 1920), уроженца Одессы. Арестовали его впервые за принадлежность к Организации Украинских Националистов (ОУН) в 1944 году и присудили в 1945 году к 25 годам заключения. В 1960 году Караванский попал под амнистию и, отсидев в тюрьме 16 лет и 5 месяцев, вышел на свободу. Работая в качестве лингвиста и литератора, он не прекратил бороться и протестовать против национальной дискриминации, писал протесты в различные правительственные инстанции, даже в чехословацкое и польское консульства и иностранные компартии (между прочим, и лично Гомулке), за что осенью 1965 года снова отправлен досиживать 25-летний срок. Есть веские основания бояться, что этот срок будет продолжен до конца жизни заключенного. Несмотря на эту перспективу, Караванский не

поступился ни одним своим взглядом, хоть и имел заманчивые предложения от КГБ.

Наконец, в книге Черновола впервые появляется имя Валентина Мороза (р. 1936), родом с Волыни, приговоренного за ту же «антисоветскую пропаганду и агитацию» к 5 годам лагерей строгого режима. Вскоре он станет основной фигурой украинского сопротивления, и к его делу мы еще вернемся.

Чтобы полностью закончить с книжкой Черновола, надо сказать, что со времени появления ее в Самиздате (она датирована 20.4.1967) автор ее оказался на почетном месте среди тех, кто, рискуя собственной жизнью, начал борьбу против «русификации государственных учреждений, школ, вузов, культурных заведений...», «экономической недоразвитости большинства областей Украины и принудительной эмиграции украинцев в Сибирь...», «искусственно создаваемого изменения этнического состава УССР» и т. д. (из предисловия Черновола к книге «Горе от ума»).

Черновола арестовали за три месяца до появления его книги и приговорили к 3 годам лагерей строгого режима за... «антисоветскую пропаганду и агитацию». Отсидел полтора года. После выхода из тюрьмы продолжал выступать против своеволия закрытых судов и репрессий, за что снова был арестован в январе 1972 года и в марте 1973 года приговорен к 7 годам лагерей строгого режима.

Но пока мы ведем хронику середины шестидесятых годов, стоит еще раз вернуться к Петру Шелесту, ибо ему в нашей истории выпадает не последняя роль: как член высшего в Советском Союзе органа — Политбюро ЦК КПСС, он сам принимал участие в составлении планов уничтожения украинской культуры. Но трудность его положения по сравнению с другими членами Политбюро была в том, что именно ему, как московскому наместнику на Украине, надо было и выполнять эти планы, что означало вооружать против

себя все сознательное население Украины, прежде всего интеллигенцию. Приходилось делать хорошую мину при плохой игре: надо было на людях проявлять «отцовскую заботу» об украинской культуре. И тут он допустил вторую ошибку: в 1966 году выступил на съезде писателей Украины с речью, в которой и сказал «отцовское» слово о необходимости беречь украинский язык. Никто, конечно, не поверил в искренность тех слов, но писатели воспользовались случаем и с трибуны съезда в один голос запротестовали против агрессии великороссийского шовинизма и дискриминации украинской культуры. Совершенно лояльный по отношению к режиму тогдашний председатель Союза писателей Украины Олесь Гончар заявил в отчетном докладе, что настоящее положение украинского языка в школе хуже, чем иностранных языков. Другие говорили о том, что украинцы перестали быть хозяевами своей культуры (Виталий Коротич), что во всем украинцы неравноправны русским, даже в ограничении бумаги для издательств (Виктор Корж). В общей атмосфере протеста, господствовавшей на том съезде, даже режимный критик Леонид Новиченко осудил тех русских литераторов, которые уже начали говорить о «бесперспективности» таких языков, как украинский, обреченных на вымирание. Новиченко имел в виду высказывание известного литератора Корнелия Зелинского. Так случилось однажды в истории украинской советской литературы, что съезд писателей превратился в легальную трибуну сопротивления.*

Как свидетельствуют аресты 1965-66 годов, центрами движения сопротивления были Киев и Львов, но оно распространялось и на провинциальные города. Аресты прошли в Одессе и Херсоне, в Харькове

* Обо всем, до сих пор сказанном, есть подробнейшая документация в моей книге «Ukraina 1956 - 1968», Instytut Literacki, Paryż, 1969.

и в Донбассе. В конце 1969 года открылось громкое дело в Днепропетровске: группа молодых поэтов, ученых, студентов обратилась с письмом к руководителям партии и правительства Украины с протестом против национальной дискриминации, которая проявлялась в систематическом преследовании украинцев. Авторы приводят десятки примеров арестов, увольнения с работы и т. д.

«Обращаем Ваше внимание, — писали авторы письма, — коммунистов, руководителей и общественных деятелей нашей суверенной державы — Украинской ССР, одной из держав-основательниц ООН, на тот погромный шабаш, который вот уже несколько месяцев длится на Днепропетровщине, на дикое и безрассудное преследование честных и преданных делу построения коммунизма украинских граждан. Эта кампания настолько беззастенчива и беспринципна, что перед ней бледнеют самые дикие выходы известных во всем мире китайских хунвейбинов.»

В заключение письма авторы спрашивают:

«Уважаемые товарищи, объясните, пожалуйста, о какой «националистической опасности» болтают сознательные и несознательные «друзья» украинского народа? Кто дал им право топтать грязным русификаторским сапогом национальную честь украинского народа?»

В письме — десятки имен наказанных за ту или другую форму протеста против русификации. Иногда наказывали (это характерный пример, который свидетельствует, до какой степени дошел национальный гнет на Украине) за то, что поэт... начал писать на украинском языке (В. Сиренко).

Дело «Письма творческой молодежи Днепропетровска» (под таким названием оно вошло в историю украинского движения) повлекло новые репрессии: на судебных процессах с января 1970 года за написание и распространение этого письма были приговоре-

ны в Днепропетровске к разным срокам заключения: поэт Иван Сокульский, студент Николай Кульчинский, ассистент Виктор Савченко.

1970 год: это время, когда в Москве КГБ тряслось в лихорадке от ярости, что ему никак не удастся прекратить «Хронику текущих событий» и аналогичное издание на украинском языке «Украинський висник». Создавались планы общего наступления на подпольное движение. И в этих обстоятельствах Петр Шелест допустил третью ошибку: издал стотысячным тиражом книжку «Україно наша радянська» (1970). Это было нечто вроде примитивного путеводителя по Украине, умственные потуги партийного бюрократа, с литературной точки зрения, равнялись нулю. Никто сначала не обратил внимания на это издание. Но именно тогда в головах московских вождей созревала мысль запретить обращение к истории Украины, чтобы не питать «буржуазный национализм». А тут сам Шелест подал плохой пример: будучи «хозяином» Украины и желая похвастаться своим добром, выступил в упомянутой книжке с добрым словом о славном Запорожье.

Третьей «ошибки» Шелесту не простили, и хотя он продержался на Украине еще некоторое время, КГБ по директивам из Москвы делало свое черное дело уже за его спиной. Когда, наконец, в начале 1973 года, дошел слух об устранении Шелеста с Украины, западная пресса в своей наивности растерялась. Помещая до сих пор его портреты с подписью «Твердый Петр Шелест», теперь она готова была сделать из него пособника украинских националистов. Можно допустить, что, наоборот, по мнению московского политбюро, ему как раз и не хватало твердости, но несомненно, что ни в каких добрых чувствах к украинскому национализму обвинять его нельзя. Просто такова судьба всех московских наместников на Украине: под напором национальной стихии они вынуждены на лю-

дая как будто проявлять заботу о вверенном им крае, а в Москве и это считают слабостью. Так кончил не только Шелест, но и самый кровавый его предшественник Павел Постышев в 1936 году. Но вернемся к хронике сопротивления.

В то время как в Москве улаживали дело Шелеста, по Украине прокатилась очередная волна террора. Началом волны стала трагическая смерть ученого-ботаника, действительного члена Академии наук в Киеве Дмитрия Зерова. Это имя хорошо известно на Украине. Один из его братьев, Николай Зеров, поэт и литературовед, погиб при невыясненных обстоятельствах в ссылке; другой — тоже поэт, Михаил Зеров (Орест), умер в эмиграции в 1963 году. Дмитрий Зеров до своего последнего часа не преследовался (во всяком случае, мы об этом ничего не знаем) и возглавлял Институт ботаники Академии наук, будучи членом ее президиума. Но в конце концов 76-летний ученый не выдержал: в декабре 1971 года на партийном собрании в Академии он выступил с обличительной речью против национальной дискриминации и упал замертво, не отойдя от трибуны. Похороны Дмитрия Зерова превратились в большую политическую демонстрацию.

Первая половина января 1972 года — массовые аресты деятелей сопротивления по всей Украине. В Киеве были арестованы:

Иван Светличный, упомянутый уже литератор, обвиненный в передаче за границу самиздатской литературы, найденной у него при обыске. В марте 1973 года он был приговорен к 7 годам лагерей строгого режима и 5 годам ссылки;

Василий Стус (32 года), поэт и критик, за границей в 1965 году вышла его книга стихов; до этой даты работал научным сотрудником Института литературы Академии наук. Уволенный со службы, работал не по специальности. Обвиненный в написании протестов и передаче самиздатской литературы за гра-

ницу, на процессе 31 августа — 7 сентября 1972 года приговорен к 5 годам лагерей строгого режима и 3 годам ссылки;

Евгений Сверстюк, известный литературный критик, участник протестов против дискриминации украинской культуры, автор ряда самиздатских эссе, в частности, «Собор в ремонте» и «Котляревский смеется», приговорен в апреле 1973 года к 7 годам лагерей строгого режима и 5 годам ссылки;

Леонид Плющ, математик, член Инициативной группы по защите прав человека в СССР, подписывал вместе с другими членами Инициативной группы протесты против арестов и нарушений законности. Медицинской экспертизой признан неподсудным и приговорен к бессрочному лечению в Днепропетровской специальной психиатрической больнице;

Николай Плахотнюк, врач, 36 лет, обвинен в распространении самиздатского журнала «Украинський висник» и другой запрещенной литературы. Медицинской экспертизой признан неподсудным и по приговору суда направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу, чтобы по окончании лечения предстать перед судом.

Можно называть новые и новые имена, но объем статьи не позволяет привести полный перечень арестованных и осужденных в самом Киеве за те или иные акции протеста.

Во Львове в те же дни января 1972 года арестованы:

Вячеслав Черновол, автор уже упомянутой книги «Горе от ума»;

супруги Игорь Калинец и Ирина Стасив, оба поэты, приговорены к длительным срокам заключения;

бывший сотрудник областных комитетов партии и комсомола во Львове, автор самиздатской книги «Бельмо» Михаил Осадчий;

Иван Гель, львовский слесарь, арестованный в 1965 году и на процессе 25 марта 1966 года приговоренный за «антисоветскую агитацию и пропаганду» к 3 годам заключения в лагерях; отбыв наказание, вернулся во Львов, но на процессе 1972 года, обвиненный по тем же статьям, получил 5 лет особого режима, 5 лет строгого режима и 5 лет ссылки, всего 15 лет.

Перечень по Львову, безусловно, не весь.

В феврале 1972 года в Нальчике (Северный Кавказ) арестован Юрий Шухевич. Будучи 1933 года рождения, он еще подростком был арестован за то, что его отец Роман Шухевич был генералом УПА. Отсидев двадцать лет, Ю. Шухевич жил в ссылке в Нальчике. И в заключении, и на свободе он категорически отклонял требования КГБ осудить украинский национализм и деятельность своего отца, написал воспоминания, отобранные при аресте. По новому приговору получил пять лет тюрьмы, пять лет лагерей строгого режима и пять лет ссылки, всего — тоже 15.

В то же время в Нальчике арестована жена Святослава Караванского Нина Строкатая за то, что не согласилась отречься от своего мужа, а добивалась его освобождения и протестовала против произвола русского шовинизма, в частности, в Одессе. Процесс Н. Строкатой и осужденного вместе с ней Алексея Резникова состоялся в Одессе 4-18 мая 1972 года. Для описания этого и подобных процессов позволю себе дать краткий отчет из «Хроники текущих событий» (ч. 28, декабрь, 1972):

«Хронике» стали известны подробности судебного процесса над Ниной Антоновной Строкатой, Алексеем Сергеевичем Резниковым и Алексеем Притыкой, который состоялся в Одессе с 4 по 18 мая 1972 года. Так как главным мотивом обвинения были «буржуазно-националистические настроения» Строкатой, которая «попала под влияние» своего мужа, «шпиона и рецидивиста» (выражение прокурора) Святослава Ка-

раванского, суд происходил демонстративно на украинском языке. Тем не менее, все вопросы Строкатой и Резникова свидетелям, которые касались положения украинцев и других национальностей в СССР, суд отклонял как «не имеющие отношения к делу». Примером может послужить следующий вопрос Строкатой: «Помнит ли свидетель, что до 1941 года в Одессе были школы с преподаванием на украинском, армянском, еврейском языках? Коль скоро я убеждена, что школы с преподаванием на родном языке должны быть открыты по всему СССР, не считают ли меня на этом основании еврейской националисткой!» На вопрос Строкатой свидетелю Пархоменко (редактор районной газеты в г. Балте «Народная трибуна»), употребляет ли он выражение «украинский патриотизм», он ответил, что «такого патриотизма нет, есть советский патриотизм». Он же, вместе со своим заместителем Цингом, дал суду следующее «обвинительное» показание: «Резников, услышав на концерте самодеятельности «Интернационал», сказал, что эта песня «хорошо звучит на украинском языке».

Друзей и знакомых обвиняемых в здание суда не пускали. Две неизвестные особы, комментируя это, называли их «предателями» и «бандеровцами» («независимости захотели») и ругались матом. Эти две дамы потом присутствовали и на заседании суда».

В феврале 1972 года был арестован Данило Шумук. Судьба этого вечного заключенного особенно интересна. Родился в 1914 году на Волыни; Шумук был активным деятелем КПЗУ, 19-летним парнем его арестовали польские власти и приговорили к восьми годам заключения. Освобожденный в 1939 году, Шумук встретился с мечтой своей жизни — советским коммунизмом. Встреча эта кончилась тем, что, призванный в 1941 году в советскую армию, он отказался воевать за Сталина, остался на украинской земле и примкнул к УПА. В 1945 году его арестовали советчики и при-

говорили к смертной казни, которую заменили двадцатилетним заключением. Этот срок он отбывал на Севере. В 1953 году Шумук был одним из организаторов восстания политзаключенных в Норильске, рискуя быть снова приговоренным к смертной казни. Но в 1956 году был амнистирован. Через два года (1958) был арестован и приговорен к десяти годам заключения. При обыске у него был найден первый том воспоминаний. Отбыв и этот срок, он поселился в Кишиневе, работал сторожем. В эти годы краткого пребывания на свободе написал второй том воспоминаний, который попал на Запад и был опубликован под названием «За восточной границей» (Изд-во «Смоло-скип», Париж-Балтимор, 1974). Привожу подробные сведения об этой книге именно потому, что Шумук — сначала как коммунист, а потом как националист — затрагивает вопрос польско-украинских взаимоотношений и искренно, без тенденциозности, их интерпретирует. Но так как эта книга была опубликована на Западе, Шумука на процессе 5-7 июня 1972 года приговаривают за «антисоветскую деятельность» к 10 годам лагерей специального режима и пяти годам ссылки. Отбывает наказание в мордовских лагерях. Десятого октября 1972 года Шумук обращается с заявлением в Верховный Совет СССР, которое заканчивает просьбой: «...прошу президиум Верховного Совета СССР снять с меня советское гражданство. Мне легче будет умирать... в тяжелой неволе за пределами Украины не являясь гражданином СССР».

Стоит упомянуть и такой случай несколько иного, трагикомического жанра. Борис Ковгар (47 лет), член КПСС, работал до ареста заведующим отделом фондов Киевского музея архитектуры и быта, а по совместительству — и сексотом КГБ. Ему поручили следить за деятелями искусства И. Гончаром и О. Сергиенко, руководителем административно запрещенно-

го (за национализм) хора «Гомин» Л. Яценко и поэтом Н. Холодным. Все — активные участники движения сопротивления. Не выдержал Ковгар этой нагрузки и пустил в Самиздат открытое письмо следователю КГБ, которому непосредственно подчинялся. В письме — психологические и технологические подробности сотрудничества с КГБ. За это был арестован и в сентябре 1972 года признан на судебном процессе психически больным и направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу, чтобы (после «выздоровления»!) быть снова осужденным.

Таким образом, наша хроника почти доходит до сегодняшнего дня, но если бы я на этом закончил, она отображала бы события весьма неполно. Нужно ее дополнить хотя бы несколькими общими соображениями о распространении движения сопротивления. Я говорю об общих соображениях, так как нет необходимости доказывать, что мы не можем и почему не можем оперировать конкретными статистическими данными. Однако некоторые формы организованной борьбы я, кажется, приблизительно перечислил. Это случаи, когда конкретно установлены имена тех, кто персонально или группами обращался с письмами к партийно-правительственным организациям, не анонимно, а давая имена, а то и адреса; тех, кто пускал в Самиздат собственные произведения или был задержан властью при распространении чужих. Один из заслуживающих доверия исследователей этого вопроса доводит число таких людей до шестисот.

Однако трудно говорить о статистике, когда речь идет о тех случаях, когда совершенно законные собрания неожиданно принимали характер политически враждебный официальным положениям, как, например, упомянутый мною съезд писателей или языковедческая конференция в Киеве 1963 года, участники которой не только протестовали против русификации, но и официально требовали от правительства возоб-

новления преподавания на украинском языке в школах, в средних специальных и высших учебных заведениях. В этих случаях речь идет о сотнях участников.

Да и статистика бессильна, когда речь идет о стихийных выступлениях массового характера и по разным поводам. Так, я уже упоминал о похоронах Д. Зерова, которые превратились в политическую демонстрацию. То же самое было в январе 1965 года на похоронах популярного поэта Владимира Сосюры, и еще более выразительный политический характер носили похороны художницы Аллы Горской, активной деятельницы украинского сопротивления, зверски убитой при таинственных обстоятельствах 28 ноября 1970 года. Такими же политическими демонстрациями, в которых принимали участие тысячи людей, были неофициальные литературные вечера с чтением запрещенных произведений, которые чаще всего разгонялись милицией и дружинниками. Традиционными стали ежегодные встречи у памятника Тарасу Шевченко в Киеве в день перевезения его праха из Петербурга на Украину, в начале мая. Существуют и другие формы массового сопротивления, в которых участвуют тысячи людей.

Новое в этом движении сопротивления — это рождение психологически нового типа человека, который преодолел страх и не боится, как было во времена Сталина, восстать против изоглавшегося деспотического режима. На Украине такого человека называют националистом. Это, в конечном итоге, так и есть. Но начинается с того, что человек борется за правду, за человеческую честь, а в украинских обстоятельствах это и означает борьбу против запланированного русскими шовинистами убийства украинской нации, не только запланированного, но и безжалостно осуществляемого.

Переяславский договор (1654 г.) Богдана Хмельницкого с русским царем официальная история трактует как «воссоединение», которое осчастливило украинский народ. Очевидная ложь. Историк Михаил Брайчевский в середине 60-х годов пишет дискуссионную статью, в которой доказывает, что это было не «воссоединение», а «присоединение», вследствие которого Украина потеряла независимость и терпела и терпит до сих пор национальное угнетение. Статью, конечно, не печатают, и она распространяется в Самиздате. Автор ее выступил во имя исторической правды и попал в «буржуазные националисты». Его еще не судят, а только увольняют из Института истории Академии наук. (В самиздатской литературе это называется «внесудебным преследованием».)

Уже на протяжении десяти лет преследуют переводчиков за то, что в их переводах украинский язык более богат, чем в произведениях современных украинских писателей. Что богаче — правда, ибо на роман о колхозе хватает лексики партийной газеты «Радянська Украина», но как же перевести даже самый элементарный западный роман языком колхозного бригадира? Переводчик, естественно, должен пользоваться разными источниками, оживлять забытые пропагандным языком слова, создавать новые. Короче говоря, он обогащает язык, делает его более привлекательным и тем самым косвенно выступает против русификации. Именно поэтому чуть ли не все переводчики и обвиняются в «архаизации» языка, в создании неологизмов и т. д. По логике, если бьют — то по главному. И действительно, в антипереводческой кампании первыми жертвами стали руководители послевоенной школы искусства перевода — Григорий Кочур и Николай Лукаш. Имя последнего, лингвиста и знатока многих европейских языков, неожиданно в середине 1973 года исчезло из списка редакторов журнала «Всесвіт». Вскоре выяснилось: когда в 1972 году

арестовали Ивана Дзюбу и следствие по его делу затянулось до 1973 года, Лукаш, не без озорного юмора, обратился с предложением в Верховный Суд: принимая во внимание, что у Дзюбы болезнь легких и у него есть семья, маленький сын, разрешите мне отсидеть назначенный срок заключения за него. Это тем более справедливо, что я полностью разделяю его взгляды.

В 1974 году и Лукаша и Кочура (последнего за связи с иностранными «националистами») исключили из Союза писателей. Тоже «внесудебное преследование». Как будто легче, чем сидеть за решеткой. Но если вы человек интеллектуального труда и вам запрещено работать по своей специальности, т. е. вы фактически оказались вне закона — попробуйте выдержать это «легче», когда никакой колхоз не осмелится взять вас сторожем, потому что вы «политический», и счастлив тот поэт (это конкретный факт), который нашел пусть временную работу на колхозной свиноферме.

Но стена страха пробита. Мы не всегда точно знаем, за какие именно проступки преследуют людей по суду или внесудебно, но поток информации не прерывается.

В Киеве уволен с работы директор Института археологии Академии наук Федор Шевченко, за «национализм». Из того же Института уволена научный сотрудник Елена Апанович. Из Института искусствоведения, фольклора и этнографии уволены научные сотрудники Василий Скрипка и Тамара Горник. Рекордным число уволенных становится в таком совсем далеком от политики научном учреждении, как Институт ботаники Академии наук, в котором после смерти его директора Дмитрия Зерова уволено 22 научных работника.

Во Львове в Институте общественных наук Академии наук предложено уволиться «по собственному желанию» (иначе их просто выкинули бы) четырнадцат-

цати «неблагонадежным» сотрудникам. Среди них известный литературовед и фольклорист Григорий Нудна и научный сотрудник Роман Кирчев.

В Кировоградском педагогическом институте уволен языковед Василий Горбачук. В Черкассах исключен из Союза писателей Василий Захарченко «за антиобщественное поведение, несовместимое с пребыванием в писательской организации». И это не исключительное явление, когда 16-летнего ученика художественной школы в Киеве беспрестанно вызывают на допросы в КГБ, так как он был на сходках, где читались «антисоветские стихи», и принимал участие в запрещенных празднествах у памятника Шевченко.

Список можно продолжить. Аппарат КГБ все еще работает на полную мощность.

Нельзя, да и не следует, скрывать трудности и поражения украинского движения сопротивления, которые в этих условиях должны были быть и будут дальше. И вот одна из главных трудностей: логично было бы допустить дружное взаимодействие самых сильных в СССР движений сопротивления — русского и украинского, но его как раз и не хватает. Вместо него — холодная дистанция. Рискуя нарваться на упрек, что говорю как заинтересованная сторона, хочу подчеркнуто и со всей ответственностью сказать, что происходит это не по вине украинцев. Дело в том (пусть мой эвентуальный оппонент докажет это фактами), что все деятели русского движения сопротивления, если высказывались о национальных движениях, то отрицательно или деликатно этот вопрос обходили. Ни один из них, в том числе и всеми уважаемый Андрей Сахаров, не высказал своего взгляда на национальный вопрос в Советском Союзе. Наверно, зря ждали мы таких заявлений и от тех, кто теперь с развязанными руками находится на Западе. Разве они, поборники свободы человека, не остаются равно-

душными, когда речь идет об уничтожении целых народов?

Самиздатский «Украинський висник» не однажды высказывал эту мысль, ставя русским в вину их претензии на гегемонию над другими народами. В частности, когда в русском Самиздате появилась «Программа демократов России, Украины и Прибалтики», не лишенная таких претензий, «Украинський висник» категорически от нее отмежевался таким заявлением:

«Украинський висник» со всей ответственностью заявляет, что украинские демократические круги к созданию и утверждению этого документа, претендующего на программность, не причастны. Слово «Украина» фигурирует в названии документа либо из конъюнктурных соображений, либо свидетельствует о причастности к документу русских или русифицированных кругов, находящихся на Украине».

Итак, в этом деле, думается, есть печальная, но полная ясность.

Когда я говорю и о поражениях, то имею в виду несомненный факт, что почти каждый, осмеливающийся на сопротивление, оказывается если не за решеткой, то вне закона, под так называемым «внесудебным преследованием». Это болезненные утраты и личные трагедии тех, кто обречен на заключение, иногда пожизненное. Но это и победы, ибо человек, переборов страх, выдерживает борьбу с насилием.

Поражение — это капитуляция перед насилием. Почти за два десятилетия с момента возникновения украинского сопротивления, было и такое. К счастью, если принять во внимание, что человек, изолированный от общества в заключении, сталкивается лицом к лицу с аппаратом насилия, создававшимся и совершенствовавшимся на протяжении более полустолетия, — то таких случаев относительно немного. Но

летописец обязан зафиксировать и их, хотя бы те, которые наиболее известны. На таких и остановлюсь.

В марте 1972 года после краткого пребывания в заключении «покаялась» Зиновия Франко (внучка Ивана Франко), которая до сих пор отличалась удивительной стойкостью и активностью в передаче самиздатских материалов за границу и в протестах против разгула КГБ. В июне того же года пошел по ее следам один из талантливейших поэтов сопротивления, известный антирежимными патриотическими произведениями, Николай Холодный.

Однако наибольшим поражением была капитуляция Ивана Дзюбы. Со времени появления на Западе одновременно на нескольких языках его книги «Интернационализм или русификация?» к нему были применены все методы давления, угроз и шантажа. Речь шла о том, чтобы заставить его скомпрометировать себя самого. В январе 1970 года под угрозой исключения из Союза писателей, что в его случае предшествовало бы аресту, Дзюба опубликовал в прессе заявление с выяснением его позиции. Надо признать, что Дзюба не отрекался от своей былой деятельности, всего лишь подчеркивал свою преданность марксизму и заверял, что его взгляды не имеют ничего общего «с идеологией украинского буржуазного национализма». Это заявление вызвало бурную дискуссию в Самиздате. И главным оппонентом Дзюбы выступил Валентин Мороз.

Я уже упомянул это имя в связи с арестами и процессами 1965 - 1966 годов. Преподаватель Луцкого и Ивано-Франковского педагогических институтов, молодой историк Мороз (р. 1936) получил тогда пять лет лагерей строгого режима за «антисоветскую агитацию и пропаганду» и за несколько месяцев до заявления Дзюбы, 1. 9. 1969, вышел из заключения. Лишенный права на труд, он записывал народное творчество сел Галичины, а тем временем в пределах Сам-

издата распространялось его эссе «Репортаж из заповедника имени Берии». Лаконично выражаясь, это было философским выяснением природы ГУЛага, что сделало имя автора весьма популярным в украинских кругах. На заявление Дзюбы Мороз ответил эссе «Среди снегов», в котором упрекал Дзюбу в том, что, выдвинувшись на видное место в украинском сопротивлении он не имеет права на отступление, не имеет права подавать плохой пример другим. Кроме того, ошибается Дзюба, если думает, что в его заявлении нет капитуляции. Сам факт осуждения украинского «буржуазного национализма» — уже уступка режиму. Исправные служители деспотизма не упустят этой возможности, они будут требовать дальнейших уступок.

Мороз оказался прав. Дзюбу арестовали в апреле 1972 года и «готовили» к процессу на протяжении целого года. Не добившись ничего, в марте 1973 года его приговорили к 5 годам заключения. Но и в дальнейшем держали в киевской тюрьме, надеясь уговорить капитулировать, и добились своего: в ноябре 1973 года из Дзюбы вытянули заявление, в котором он опроверг все, что говорил до сих пор и даже обязался написать самокритику на свою книгу «Интернационализм или русификация?» Наконец, он сам констатировал, что того прежнего Дзюбы «нет и уже не будет». В этих словах — правда: кто капитулировал, тот отрекается от прежних друзей и единомышленников, но не получает доверия победителя и поэтому исчезает с горизонта. История Дзюбы на этом закончилась. Продолжим рассказ о судьбе Мороза.

Еще после первого заявления Дзюбы в 1970 году, предвидя, что может быть дальше, Мороз писал в эссе «Среди снегов»: «Идеи недостаточно. Идея гола и суха, — нужно живое ее воплощение. Истину знают — нужна вера. Тернистая украинская судьба избра-

ла Ивана Дзюбу и положила на его плечи тяжесть символа. И сбрасывать его под ноги — не достойно...»

Наверно, никто из участников тогдашней дискуссии не осознавал, что (говоря тем же стилем) тернистая доля Украины, к счастью, не дала упасть символу под ноги и тогда же переложила его на плечи Мороза. Ибо в том самом эссе он уже сформулировал основное положение, на котором единственно только и может базироваться победа Украины в борьбе с таким опасным врагом, как империалистическая Москва: мало одной голой идеи, нужна вера. И вера — вопреки всем аргументам так называемого «здорового смысла», — до одержимости. Этот термин в украинском языке содержит смысл высказывания нашей поэтессы Леси Украинки: «И без надежды надеяться». У нее Мороз и взял это высказывание. А вот подробное объяснение, как он понимает «одержимость»:

«...Не всегда одержимые нащупывают путь в будущее — иногда сходят в самом начале. Но с осторожностью «мудрых поросят» вообще не сдвинешься с места. Не все цветы, посеянные на морозе, растут. Большинство гибнет. Но другого выхода нет. Для нации, которая сотни лет живет в **ледниковом периоде**, в условиях **постоянной зимы** — это единственный выход: «буду сеять цветы на морозе» (тоже слова Леси Украинки. — И. К.). Да и сама Украина — это цветок, который вырос среди снегов. Украина — это цветок, пробивающийся сквозь камень. Украинская живучесть — это алогизм, ирреальность, парадокс, если пользоваться логикой «реалистов» — так же, как цветение эдельвейса на ледяных вершинах. Украина живет благодаря другой логике — **логике одержимости**».

Благодаря появлению книги Дзюбы, в мире узнали о национальном вопросе в СССР, в частности, стала известна проблема Украины, не усмиренной под напором русского шовинизма, борющейся за нацио-

нальную независимость. А благодаря **одержимым**, которые пошли на долготетное заключение, на смерть (ибо к украинцам подходят с другой меркой: русских хотя бы поодиошке выпускают за границу, украинцев — нет, их держат за решеткой до конца), стало известно украинское движение сопротивления и его напряжение. Объем статьи не позволяет привести перечень имен, и я, рискуя быть несправедливым к остальным мученикам, назову лишь имя Валентина Мороза, которое стало символом: ибо он и сформулировал идею **одержимости**, и следуя ей, сам пошел на Голгофу. В главе «Вместо последнего слова» (имеется в виду — перед судом), обращаясь к угнетателям Украины, он сказал:

«Вы внесли в современный послесталинский этап украинского возрождения то, без чего оно было бы незрелым, недопеченным: вы внесли **элемент жертвенности**. Вера возникает тогда, когда есть мученики. Их дали нам вы».

Сказав это, Мороз сам стал мучеником, не дав мучителям никакой надежды на капитуляцию. «Сидеть за решеткой, — заявил Мороз, — никому не легко, но не уважать себя — еще труднее и поэтому будем бороться!»

Борьба в тюрьме началась с протестов против условий содержания заключенных, а в июне 1974 года Мороз объявил голодовку. Не прекратил ее и до сих пор. Деятели культуры и писатели всего мира, американские конгрессмены обращаются к советскому правительству с просьбой облегчить судьбу заключенного, который находится на грани гибели. Бесполезные усилия: это крик вопиющего в пустыне. Но украинское движение держится.

Желая остаться летописцем, не буду ничего предсказывать. Ограничусь только фактами. Последний, которым закончу, будет достаточно красноречив и для будущего.

За последние два года движение украинского сопротивления претерпело болезненные удары со стороны КГБ, к услугам которого были все государственные средства, включая Союз писателей. Прекратил свое существование самиздатский журнал «Украинський висник» на шестом номере, датированном 1972 годом. Но несмотря на террор, в начале 1974 года появился сдвоенный номер 7 - 8. Возрожденный «Висник» проводит четкую политическую линию. Его предшественник стоял на легитимных позициях, подчеркивая, что он является «изданием ни в коем случае не анти-советским и не антикоммунистическим. По своему содержанию и заданию оно целиком легальное и конституционное». В новом издании «Украинського висника» о конституционности уже нет и речи. Его редакторы считают власть на Украине оккупационной и отказываются от ленинской и брежневской национальной политики, добиваясь полной независимости Украины.

Это четкое определение позиций, очевидно обусловлено процессами в самом украинском движении и, надо думать, не претерпит обратного действия.

КОШЕЛИВЕЦ Иван Максимович — род. в 1907 г. В 1930 г. окончил Нежинский институт, был аспирантом Института истории литературы им. Шевченко при АН УССР в Киеве. В эмиграции работал в украинских журналах, в 1961 - 66 гг. был главным редактором украинского журнала «Сучасність». Автор известных книг: «Панорама новейшей литературы в УССР» (1963 г.; 2-е изд. — 1974 г.), «Современная литература в Украинской ССР» (1964 г.), «Опыт политической биографии: Микола Скрыпник» (1972 г.).

ОТ РЕДАКЦИИ: С самого начала заявив себя форумом и трибуной для свободного обмена мнениями между Востоком и Западом, «Континент», естественно, предоставляет свои страницы каждому, кто хочет высказаться, разумеется, с учетом профессионального качества этого высказывания.

Исходя из такой посылки, мы печатаем в текущем номере статью украинского публициста Ивана Кошелівца. Но редакция оставляла и оставляет за собой право комментария.

Прежде всего хотелось бы отметить свою, раз и навсегда, видимо, избранную направленность.

На наш взгляд, в это трагическое время, когда все, весь мир оказался перед смертельной угрозой нашествия тоталитаризма, необходимо избрать совсем иную тональность разговора.

Пора же, в самом деле, наконец понять, что все наши многовековые распри, которые мы продолжаем и на чужбине, могут служить, да и служат, лишь тем, кто готовится сейчас окончательно раздавить цивилизации. Как говорится: «а Васька слушает да ест!»

Сейчас, как, может быть, никогда раньше, необходимо единство. Так будем же искать путей к нему. Поиски эти, наверное, будут мучительными и долгими, но другой альтернативы, к сожалению, у нас нет.

Время идет и уже завтра может оказаться поздно. Протянем же друг другу руку, и мы уверены, что тогда поиски наших новых межнациональных отношений закончатся успешно и бесповоротно.

ОРФОГРАФИЯ И ОРФОЭПОС,

или

ВСЕОБЩАЯ ВИНА И АНОНИМНЫЙ ВИНОВНИК

Несколько лет тому назад мой друг предложил авторитетной литературной редакции свою новейшую поэму. Бегло просмотрев ее, младший редактор сказал, что передаст произведение заведующему отдела, отметив при этом, что, по его мнению, хорошо было бы сгладить некоторые углы. Молодой поэт, догадавшийся, к чему клонится дело, поспешил взять свое творение обратно, под тем предлогом, что будет его перерабатывать. Он спрятал рукопись на дно самого глубокого из своих чемоданов, желая сохранить ее неизменной, как документальное доказательство своей гражданской смелости и неподкупности. Но вскоре его одолели сомнения и начали преследовать поистине макбетовские кошмары. А что, если младший редактор доложил главному и тот уже ждет материал для газеты? Раз не принес поэму, значит, не переработал ее. А раз не перерабатывает, значит, не согласен с концепцией редакции и с инструкциями партии по написанию поэм. А раз не согласен, значит...

И укрощенный поэт осторожно обдумал и передумал, взвесил и учел все «если» и «однако», сопоставил многие «за» и «но» и, так как был в математике горазд, разумно снял собственный запрет, заменил все вопросительные знаки восклицательными, переделал поэму в передовицу и услужливо преподнес ее главному редактору, отыскав подходящие извинения за опоздание.

Как видите, все пошло как по маслу, однако после этого романтический поэт, даже в ночных прогулках, старательно обходил улицу, на которой находилась редакция... Теперь спросим: кто виноват? Кого и как судить?

Когда я однажды рассказывал моим немецким друзьям о размерах и всемогуществе цензуры в наших краях, они возразили: когда-то главный цензор Александра II-го разрешил издание «Капитала» — библии партии, той партии, которая отправила к праотцам царизм. У вас нет цензоров, следовательно, контроль еще слабее и менее постоянен.

Каждый, кто знает современную духовную жизнь восточноевропейских стран, понимает, что это заключение ошибочно, но также осознает, что оно исходит из реальных предпосылок. Действительно, у нас, в Болгарии, нет штатных служащих, единственная и непосредственная задача которых — выбирать, что будет показано и что — спрятано от глаз общественности. Цензоров нет и, тем не менее, именно цензура решат судьбу всех публикаций. Как это происходит? Как выйти из этого парадокса? Не проще ли, не разумнее и не безопаснее ли назначить штатных цензоров, от которых можно потребовать личной ответственности за каждый недосмотр и тем самым гарантировать стерильность и подбор информации?

Но если к каждой редакции, к каждому издательству, к каждой многотиражке назначить хотя бы только по одному цензору, вещи усложняются неимоверно. Во-первых, технически очень трудно, почти невозможно охватить и плотно покрыть весь информационный аппарат сетью штатных служащих нужной квалификации. Во-вторых, в современных условиях диктатура никогда не может быть до конца последовательной. По разнообразным внутренним и внешнеполитическим соображениям она постоянно меняет степень своего тоталитаризма: полная стабилизация чередуется с от-

носительной оттепелью и наоборот. При этих непре-
рывных и иногда внезапных поворотах цензор не смог
бы своевременно и точно приспособить свои мерилы и
следовать постоянно меняющимся официальным тре-
бованиям и нормам. А это опасно, потому что на прак-
тике это означает пренебрежение в той или иной сте-
пени государственными регламентами.

Есть и другая причина, может быть, самая глав-
ная. Самый дрессированный цензор — тоже человек.
Сколько бы он ни приспособлялся к системе, он ни-
когда не сможет достичь ее совершенства, не сможет
убежать от своих ошибок и заблуждений, от своих
индивидуальных пристрастий. У него нет кибернети-
ческой точности, гармонии, изысканности и беском-
промиссности государственной машины. Всегда оста-
ется потенциальная опасность поддаться соблазнам
своих собственных вкусов и настроений или просто
по-человечески ошибиться. А если ошибка окажется
заразительной? Или если, например, один авторский
тезис будет оценен одним цензором, как недопустимое
нарушение партийности, а другим — как подтвержде-
ние той же самой партийности? И вдруг возникнет
спор? А спор перерастет в дискуссию? Кто может
предвидеть, какие голоса прозвучат тогда, к каким
настроениям это приведет?..

Учреждение и содержание штатного цензорского
аппарата прежде всего скомпрометировало бы систе-
му, потому что это означало бы открытое и демон-
стративное признание перед национальной и мировой
общественностью существования авторитарного строя,
это значило бы сорвать маску, которую цензура так
долго и старательно носила. И, чтобы компенсировать
отсутствие штатного аппарата цензоров, власть соз-
дала и закрепила такие социальные условия, такой
подход и способ оценки информации, при которой вся
система и каждая ее часть в отдельности — цензор.
Пусть ты будешь министром, лесоводом или литейщи-

ком, ты прежде всего цензор самого себя, — каждого своего высказанного и каждого услышанного мнения. Такой принцип особенно действен для людей слова. Если ты готовишь журналистские или литературные материалы, штурм цензуры начинается с автоцензуры. Тебе хорошо знаком риск профессии, ты сам был свидетелем дорого оплаченного своеволия твоих коллег и предшественников, их злополучных попыток сохранения независимости.

Итак, первый фильтр, через который проходит написанное — твой личный социальный опыт, соображения и предрассудки, которые тебя блокируют. Но ты тоже человек, ты тоже можешь ошибиться, особенно, если тебе хочется ошибаться. Ведь у каждой диктатуры во все моменты ее истории есть промежуточные ситуации полудозволенного, которыми легко можно злоупотреблять. Вот почему за первым контролем (самоконтролем) следует второй. Это — компетентный редактор. Затем — цензура заведующего отдела и главного редактора. Степени и полномочия контролирующих инстанций, как мы видим, идут снизу вверх. Этот вертикальный процесс обеспечивает чистоту, совершенство и полную стерилизацию, потому что каждая вышестоящая инстанция, в большей степени пронизанная и связанная принципами системы, — все более точный и чистый выразитель ее потребностей.

Взаимодействие и сработанность всех звеньев запрограммированы так, что, пройдя последнюю корректуру, публикация уже ничем не нарушает уровень дозволенного. Она может остаться (и часто остается) ниже этого уровня, но никогда не выше его. Дело в том, что еще ни один редактор не пострадал за то, что он не использовал полностью и до конца лимиты дозволенного. Однако многие редакторы «сгорели», когда хоть на словечко их переступили. Следовательно, в каждой промежуточной ситуации, при каждом коле-

бании между полюсами, практичные надзиратели предпочитают перестраховываться, заметно отдаляясь от авторизованного текста, нежели подвергаться риску.

Вопреки безотказности и безошибочности всех предохранительных инстанций и клапанов, всех сигнальных и предупредительных устройств, на страницы печати иногда прокрадывается и кое-что неудобное. Тогда месть совершается на общественных началах и карательная палка передается в руки читателю. Но — не всякому читателю, а только массовому, типичному, кругозор которого не выходит за рамки режима. Этот читатель не абстрактное и выдуманное понятие. Он — дитя общества, обусловленное его критериями, и служит им хорошо!

Несколько лет назад, на страницах самого авторитетного болгарского литературного издания — журнала «Сентябрь», — публицист Стефан Продев напечатал великолепное эссе о Париже, в котором выразил свой восторг перед красками этого «праздника, который всегда с тобой» (Хемингуэй), этого вечного убежища и обетованной земли для писателей и художников. Эссе начиналось и кончалось словами: «Есть один город!..». После того как материал появился в печати, редакция журнала получила письмо от возмущенного читателя. «Если такой город есть, — писал читатель, — то это только Москва!». Аргументы протеста исходили исключительно из идеологических и партийных позиций, базируясь на количестве удою молока и на рекламных политических плакатах. Еще более многозначителен тот факт, что редакция, напечатав письмо в следующем номере, сопровождала его комментарием, в котором раболепно обвинила себя, извиняясь перед возмущенным читателем и перед всей общественностью. Тем самым редакция поставила политические обвинения уродливого и неграмотного, глубоко провинциального читателя выше художе-

ственной концепции уважаемого писателя и открыто солидаризировалась с правоверной пошлостью, став ее соавтором и апологетом.

Подобные общественные происшествия иногда преднамеренно инсценируются, чтобы удовлетворить конкретные потребности системы. Тактика проста: после того как один или несколько обученных читателей, слушателей или зрителей публично выражают недовольство «неудобным» произведением, все официальные репрессии против его автора объявляются выражением народной воли и интересов общественности.

Все способы контакта между источником и потребителем информации, между писателем и читателем, подобраны и запрограммированы так, что лишают автора возможности защитить себя и всецело ставят его на службу государственных интересов. И, как это ни парадоксально, именно отсутствие штатных цензоров облегчает этот процесс.

В самом деле, если произведение будет отвергнуто по каким-либо соображениям одним определенным лицом, то тут же возникает опасность для всевластия системы. Ведь в этом случае автор может встретиться с цензором, в разговоре с ним опровергнуть его обвинения и защитить свои позиции, человеческими словами переубедить его. При этом административная функция цензора, его социальное предназначение, могут быть побеждены внезапным порывом его человеческой природы, переосмыслением и переоценкой вещей. Вот почему ни один искусный государственный деятель не заменил бы компьютер диктатуры греховным человеческим мозгом, кибернетический автомат социальной практики — дрожащими руками...

Другое преимущество заключается в том, что если цензура осуществляется всей государственной машиной, глубоко отчужденной и удаленной на большую дистанцию от каждого гражданина, регламент прово-

дится с такой мощью и энергией, что заранее обесмысливается всякое противодействие. Анонимность императивов придает дополнительный респект, внушает адресату чувство неполноценности и бессилия. И он примиряется с ним, как с природным бедствием. А если он наивен и пустится защищать свою честь и свои права, то попадет в такую бесконечную спираль, в такое кафкианское сплетение параграфов, что никогда оттуда не выпутается. Впрочем, дезориентация наступит в самом начале пути, потому что никто не знает, в каком направлении податься, против кого тронуться. В бесконечных редакционных коридорах нет нигде таблички «цензор», ни в каком министерстве нет отдела «контроль печати». Кто же тогда виновен? Ответственный или главный редактор? Конечно, нет! Что может один редактор, хотя бы и главный? Отдел «пропаганды и агитации» городского или окружного комитета партии? Еще меньше! Комитеты занимаются комитетскими делами, а не капризами избалованных авторов.

И несчастный бежит от инстанции к инстанции, и чем выше, тем заколдованнее становится круг. Вина налицо, а виновника нет! В этом неустанном хождении по мукам вы можете добраться до самого высокопоставленного партийного и юридического начальства, даже до главы государства, и увидите, что и он не виновен и ничего не может изменить. Ибо над каждым ответственным товарищем стоит кто-то еще более ответственный, а над всеми — СИСТЕМА. А она не терпит никакого компромисса — она одинаково жестока и деспотам, и к рабам!..

БОЧЕВ Димитар — род. в 1944 г. в Болгарии (г. Силистр). Учился на философском факультете Софийского университета, из которого, по настоянию государственной службы безопасности, был исключен. Печатался в различных болгарских газетах и журналах. В августе 1972 года эмигрировал в Германию.

ОРВЕЛЛ И КАФКА ВСЕ ЕЩЕ ЖИВЫ В ЛИТВЕ

«Мы еще далеко не совершенны, но учтите, — мы больше не живем в мире Кафки и Орвелла». Это высказывание одного молодого литовского коммуниста десять лет назад произвело впечатление на его соотечественников-эмигрантов. У них не было времени выяснить, что он имел в виду, — когда путешествуешь по Советскому Союзу с туристической группой, неконтролируемого досуга остается очень мало. Может быть, бесповоротный разрыв со сталинским прошлым? Или он думал, что малая и средняя ложь еще необходимы, но Большая (Тотальная) Ложь уже благополучно похоронена? Что нет больше Скотского Хутора и 1984 года, нет больше Замков с их бесконечными коридорами, нет больше тайных Процессов? Несколько позже словацкий коммунист Александр Дубчек суммировал все это в одной легко запоминающейся формуле: «социализм с человеческим лицом».

Конечно, в середине 60-х годов турист с Марса, из Персии времен Монтеスキё или из американской академии с трудом сможет представить себе, что дух Кафки и Орвелла все еще витает над Литвой. В течение пяти официально дозволенных дней в ее столице — Вильнюсе — он будет с одобрением отмечать привлекательный вид толп молодежи, восхищаться историческими памятниками и вдыхать атмосферу целенаправленной активности. Он готов будет согласиться, что на смену мира Орвелла пришел теперь мир «нормальный» — слово, вызывающее у западных радика-

лов ассоциации с самыми гнусными аспектами жизни среднего класса, но для жителей Восточной Европы звучащее как абсолютная утопия.

Было бы очень интересно поговорить с этим коммунистом сегодня, потому что со времени провозглашения им конца орвелловской эпохи в его отечестве произошло слишком много событий. Всепроникающая память о прошлом, скрытое негодование, подавленные рыдания — все, что было глубоко запрятано за строки путеводителя для туристов, — теперь прорвалось наружу. Литва — страна с великим историческим прошлым, с населением в 3,2 миллиона человек, в последние несколько лет буквально зажгла свое имя на первых страницах мировой прессы.

Кульминация этих событий падает на май 1972 года, когда самосожжение двадцатилетнего студента Ромаса Каланты стимулировало массовые демонстрации такого размаха, какого не было, вероятно, нигде в Советском Союзе в послевоенный период. В течение двух дней в Каунасе — втором по величине городе в стране — сотни молодых литовцев осаждали местные отделения милиции, пока не были разогнаны специальными войсками МВД. За этим последовало еще два самосожжения, а в июне 1972 года студенты в Вильнюсе сорвали международные спортивные соревнования, выкрикивая антирусские лозунги и требуя свободы, пока власти не вмешались и не восстановили спокойствие.

Аресты 200 - 500 демонстрантов и подозреваемых внесли значительный вклад в дело восстановления порядка. После этого массового восстания, как сообщают очевидцы, вплоть до рассвета не гасли огни в здании каунасского управления милиции, называемого в народе небоскребом («потому что с крыши его видна Сибирь»). Окровавленные демонстранты заполняли его коридоры, сквозь их толпу протискивались представители властей, кагебешники и следователи,

слетевшиеся в Каунас со всех городов Литвы. Из Москвы не замедлили придти инструкции: отрицать всякие политические мотивы демонстрации и квалифицировать эту заварушку как проявление «хулиганства» среди молодежи. Арестованным обещали минимальное наказание, если они согласятся с обвинениями в хулиганстве, и предупредили, что отстаивание политических мотивов даст им до 10 лет тюрьмы или исправительно-трудовых лагерей; лишь немногие согласились на мягкое наказание. В отличие от Гомулки после восстания польских рабочих в 1970 году, литовский босс — Антанас Снечкус — был оставлен на своем посту.

Советское руководство было явно травмировано столь широкой международной оглаской каунасского бунта и поспешило сгладить впечатление посредством заграничных поездок Большого театра и чetyрьмя глобальными паломничествами Евтушенко. Имелось тут еще одно чрезвычайно тревожное обстоятельство: факт, что большинство демонстрантов были студентами высших учебных заведений, учащимися школ рабочей молодежи и с их плакатов, написанных от руки, распространялись такие скандальные идеи, как: «Мы не против социализма, мы за свободу Литвы», «Свободу евреям» и т. д. Большинство лозунгов и плакатов просто требовали «свободы» и «самоопределения» для Литвы. Очевидно, молодежь из Каунаса не знала, что требования «свободы» и «самоопределения» для советской делегации в ООН звучат вполне невинно, когда речь идет о Гвинее-Биссау или Палестине, но они же звучат «преступно», когда выдвигаются гражданами оккупированных Советами территорий. *Quod licet iovi, non licet bovi*. Конечно, все звери равны, но некоторые более равны, чем другие.

Как и чешская молодежь в 1968 году, молодые демонстранты в Каунасе показали, что они хорошо

помнят период литовской независимости 1918 - 1940 годов, когда страна без мощной иностранной поддержки, которую получали страны Азии и Африки в 1950-х и 60-х годах, встала на собственные ноги и из царской провинции превратилась в жизнеспособное государство. Этот дух независимости и идущие от него импульсы все еще заметно отличают литовцев, равно как и латышей и эстонцев, от остального населения Советского Союза. Сами русские часто называют прибалтийские страны «маленькой Америкой» или «нашей границей». Солженицын в «Архипелаге ГУЛаг» (часть первая) рассказывает, как его потрясли воспоминания эстонцев, сидевших с ним в лагере, о независимости своей страны.

Конец литовской независимости был закреплен в августе 1939 года подписанием пакта между Сталиным и Гитлером и разделением Восточной Европы на сферы нацистского и советского влияний. Это соглашение было реализовано в июне 1940 года, когда Красная армия вторглась в Литву, а вторая договаривающаяся сторона двинула свои войска на Париж. Всегда не одобрявшая открытую порнографию, Москва прикрыла наготу своей агрессии фиговым листком законности: специально подобранный «парламент», «избранный» по бюллетеням, содержащим одного кандидата, под надзором советской армии и войск НКВД, осуществляемым изнутри и снаружи, «единодушно» просил права присоединиться к «семье советских народов». Не случайно 33 года спустя Ромас Каланта для протеста против несвободы своей страны выбрал место перед фасадом Каунасского театра, в здании которого угасла независимость государства Литовского.

Теперь открывалось широкое поле деятельности для советизации по сталинскому образцу: уничтожение непокорной элиты, а также действительных и возможных оппозиционеров, насильственная коллективизация сельского хозяйства, социальное и культур-

ное «переконструирование душ», массовые высылки, почти полная изоляция страны. Крайности оккупационных властей, вернувшихся в 1944 году после трех лет нацистского завоевания, развязали партизанскую войну. Вооруженное сопротивление широкого масштаба, питающееся отчасти хрупкой мечтой о поддержке Запада, продолжалось с 1944 по 1952 год и оставило о себе двойственную память в сознании литовцев. Гордость за противостояние сверхмощному врагу ради защиты свободы переплетается в нем с ужасом от человеческих потерь (около 30 тысяч убитых партизан) в этой провиденциальной битве. Период открытого сопротивления закончился в 1956 г. массовыми демонстрациями в Каунасе и Вильнюсе в поддержку венгерской революции. После этой травмы литовцы, казалось, замкнулись в себе. Раз открытое сопротивление оказалось тщетным, стало необходимым сосредоточить усилия на сохранении национальной культуры и своеобразия в условиях советского окружения. Предзнаменования были печальны. Быстрая индустриализация вкупе с притоком русских и жителей других советских колоний меняли лицо страны; новое поколение воспитывалось в школах, функции которых уже свелись отчасти к фабрикам пропаганды.

Возникшая затем ситуация внушала надежды. Даже процент литовцев в стране по сравнению с русскими между 1959 и 1971 годами слегка повысился. Откровенная нелюбовь к системе и власти иностранцев причудливым образом переплеталась с гордостью за то, что литовцы сами делают свою работу и формируют собственное творческое воображение. Будущее, по всей видимости, будет определяться развитием внутри советской системы; в ходе времен Литва сможет сохранить свое национальное целое, поскольку русификация и жесткая идеологизация будут неизбежно сопровождаться «нормализацией» — примерно

так мог бы сформулировать свою мысль молодой коммунист, поминаемый в начале этой статьи.

Но между тем в глубине нарастал грохот новых извержений. Паровой каток советизации, хоть и не столь смертоносный, как при Сталине, безжалостно продолжал свою разрушительную работу, не обращая внимания на национальные чувства. Наиболее насущной задачей было изничтожение религии: не постепенная замена «устаревшей» веры личным неверием, но жесткое внедрение на место религии марксизма-ленинизма, вопреки воле сограждан. Почти как в XIX веке, когда продвижение по службе и карьера литовцев прямо зависела от их принадлежности к «истинной вере» русской православной Церкви, так и теперь пути оказались закрытыми для верующих и некоммунистов. Римско-католические епископы были арестованы или высланы, религиозные книги запрещены, религиозное образование молодежи поставлено вне закона, верующим ставили препятствия на каждом шагу, число учащихся в единственной разрешенной семинарии строго ограничили. Подобные ограничения распространялись и на другие стороны религиозной жизни. Религии надо не помогать, ее надо уничтожать — такова была официальная установка.

Коммунистические руководители недооценивали силу католицизма в Литве, исторически связанного с борьбой за культурную и национальную независимость. Ответом на преследования религии явилось стихийное движение протеста, прокатившееся по стране в конце 60-х годов. Во главе его стояла религиозно настроенная интеллигенция и простые священники, многие из которых провели годы в сибирских лагерях и тюрьмах. Советские власти были буквально завалены обращениями и петициями. Одно из них, адресованное Брежневу (декабрь 1971) и Генеральному секретарю ООН Вальдхайму (февраль 1972), в короткий срок со-

брало 17 тысяч подписей прежде чем власти успели прекратить эту деятельность.

Движение религиозного протеста подробно зафиксировано в «Хронике литовской католической церкви». Пятнадцать выпусков этого подпольного издания появилось между мартом 1972 и маем 1975 года. После временного прекращения «Хроники текущих событий» литовская «Хроника» была одно время единственным периодическим изданием Самиздата в Советском Союзе. Содержание «Хроники» включает в себя тексты обращений, речи на судебных процессах священников, арестованных за религиозное обучение детей, бесконечные списки унижений и казуистики, имеющих целью лишить простых верующих хлеба насущного, как только они начинают настаивать на минимальных правах, гарантированных им советской Конституцией.

Безусловно, Кафка и Орвелл нашли бы в литовской «Хронике» вдохновляющий материал для чтения. Пророчество Орвелла осуществилось, например, в случае Миндаугаса Тамониса — отказавшегося восстанавливать памятник Красной армии, оккупировавшей его страну. Он заявил, что сделал бы это, если бы памятник был установлен в честь жертв сталинизма и если бы в Литве и других советских республиках разрешили бы референдум по вопросу их желания отделиться от СССР. Коммунистические власти применили «диалектический» метод доказательства того, что Тамонис был неправ: они поместили его в психушку, где давали ему лошадиные дозы инсулина. После долгих мытарств он был освобожден, но уже сломленным физически. В день его освобождения литовские газеты вышли под крупными заголовками, возглашающими «тридцатилетнюю годовщину победы над фашизмом и античеловечностью».

Орвелл получил бы большое удовольствие, прочитав материалы о том, как законодатели — коммунистические власти — методически нарушают собст-

венные законы, касающиеся религии, и как «стоящие вне закона», т. е. верующие, настаивают на соблюдении этих законов. А Кафка порадовался бы обширному отчету о том, как верующие пытались получить разрешение на перекрытие сарая в церковном дворе. Они писали письма и петиции, посещали бюрократов — больших и малых. Их отсылали от одного к другому, давали им туманные обещания, читали нотации, отказывали и угрожали. Два года прошло в бесконечных хождениях, а сарай все стоял без крыши, пока в один прекрасный день его не снесли по приказу свыше. Десятки бюрократов тратили тысячи рабочих часов, писали сотни отчетов, проводили долгие совещания, расходовали деньги, чтобы — и это уж совсем дико! — помешать небольшой религиозной общине перекрыть сарай обыкновенной крышей.

Не столь эффектные, но не менее значительные раскаты слышатся и в области культурной жизни. Чувство своего национального своеобразия подогревается у литовцев их неславянским языком и в основном западной ориентацией их литературы и искусства. Славянофильские проповеди никогда не находили здесь отклика, как находили они его в Болгарии или, до недавнего времени, в Чехословакии. Эффект уже первого года советской оккупации был таков, что после возвращения сюда Красной армии в 1944 году около двух третей литовских писателей выехало за границу: очевидно, это был один из самых крупных исходов в истории.

«Оттепель» в области культуры, последовавшая за смертью Сталина, расширила область возможного в искусстве. У литовских художников она породила взрыв творческой активности, что обновило уже упомянутые выше надежды на постепенное улучшение и неизбежную «нормализацию». Но все же основные запреты и ограничения никогда не исчезали. Надежды на «нормальность» или более либеральное отношение

к искусству были вновь развеяны идеологической кампанией, разразившейся в 1968 году и набравшей силу после событий 1972 года. Официальные предписания, одобренные цитатами из ждановских трудов, содержали список многочисленных необходимых «исправлений» «нездоровых» явлений в литовской культурной жизни. Хирургическому вмешательству подлежала литовская одержимость собственными фольклором и историей. (И, как сообщает «Хроника литовской католической церкви», больше сотни этнографов-любителей были строго предупреждены или арестованы). Подобно тому как диких лошадей нерусского прошлого, галопирующих в «ошибочных» поэмах украинских поэтов, следовало обуздать по-московски, точно так же потребовалось прополоть флору и фауну немарксистских, неленинских идей, процветающих на почве литовской литературы. Было необходимо также заклясть таких бесов, как «эстетизм» и «ошибочная концепция художника как индивидуалиста-визионера».

Официальные нападки на литовскую литературу и искусство складываются в весьма противоречивую картину. С одной стороны, мы слышим, что имеется здоровое ядро литовских писателей и художников, с «позитивным отношением к жизни». С другой стороны, литовская культура изображается осаждаемой, как здание романского собора, полчищами химер. Во время вспышки идеологической кампании 1972 года речи партийных вождей содержали обвинения ее в «национализме, эстетизме, разочарованности, пессимизме, требованиях творческой автономии, субъективизме, анархизме, либерализме», равно как и в «замаскированных ревизионистских концепциях и тенденциях».

Наращение репрессий в литовской культуре довольно быстро возродило из небытия духов сталинской эпохи. Византийский термин «социалистический

реализм», отвергаемый югославскими или венгерскими писателями презрительным пожатием плеч, теперь снова был возведен в ранг священной и вечной формулы. Снова обрели голос авторы од товарищу Сталину. И смягченные варианты публичных покаяний сталинской эпохи снова встали на повестку дня. Таковым был случай известного критика Витатуса Кублиуса, который в своей статье «Тайна таланта», опубликованной в журнале «Nemunas» (февраль 1972), высказался следующим образом:

«Внутренняя жизнь художника должна быть неприкосновенна: никому не позволено вторгаться сюда и насиловать ее. Талант — этот самый хрупкий инструмент в мире — требует особо бережного и осторожного обращения с собой... И что же случается с талантом, когда он пренебрегает собственным внутренним голосом, когда, запуганный или обольщенный, он начинает воспевать «парней в героических униформах»?.. В таком случае талант неизбежно деградирует»...

Это заявление, звучащее столь обычно для слуха западного человека, вызвало целую бурю нападок на Кублиуса со стороны партийных критиков и бюрократов. Равновесие в природе было восстановлено покаянием Кублиуса в партийном органе «Tiesa» от 29 апреля 1972 г., где он говорил о своих «идеологических ошибках», о том, что его примеры «выбраны неправильно», и извинялся за «бестактности» и «высокомерие».

Еще более впечатляющий пример конфронтации искусства с идеологией в Литве продемонстрировал случай с Ионасом Юрашасом, бывшим до августа 1972 года главным режиссером Каунасского государственного театра. Один из ведущих передовых режиссеров, широко известный за границей, он, казалось, имел блестящее будущее. Но 26 августа 1972 г. он поставил крест на своей карьере, написав «Открытое пись-

мо», которое направил в Министерство культуры Литовской ССР, а также в еженедельник «Literatura ir menas» («Литература и искусство») и в собственный театр. В отличие от осторожного изложения идей в поддержку творческой свободы Кублиуса, письмо Юрашаса было страстным криком протеста против:

«...бессмысленной траты энергии для защиты себя от демагогических попыток выискать злонамеренность авторов в еще неосуществленных постановках,.. разрушения структуры авторского текста безапелляционными требованиями изъятия из него самых необходимых акцентов».

Юрашас рассказывает, как партийные функционеры корежили его лучшие постановки, отрезая заключительные сцены, изымая из них целые акты, меняя композиции и даже категорически запрещаая исполнения, несмотря на огромный интерес публики. Ему запрещали ставить драмы Ануя, Хоххута, Розевича, Вайса и других. Юрашас жалуется, что его мучат «голоса несозданных и изуродованных творений», и высказывает решение отныне работать только «как подсказывает моя художественная и гражданская совесть».

На этот раз, в отличие от дела о церковной крыше, власти среагировали быстро и решительно. Юрашас был снят со своего поста и его имя исчезло с театральных плакатов и со страниц прессы. Объявленный «персоной нон грата», он исчез в «провале памяти» и снова всплыл на поверхность лишь в конце 1974 года, когда ему, его жене и шестилетнему сыну наконец-то было разрешено покинуть Литву. «Кафкианский кошмар», — так его жена, писательница Аушра Мария Юрашас, подытожила все, что они пережили за последние несколько лет.

Орвелловский «провал памяти» становится в Литве все шире и шире. Имя выдающегося писателя Ицхокаса Мераса занимало видное место в литературной критике и в библиографиях. После его отъез-

да в Израиль в 1972 году оно исчезло, как будто его и не было. Из изданного недавно собрания избранных произведений Венцаса Пиетариса выбросили его «Algimantas». — «первый литовский роман». Он написал его семьдесят лет назад и ошибочно назвал Россию XIII века страной рабов. Назови он этим именем тевтонских рыцарей, его роман не был бы поглощен «провалом памяти».

Какие же шансы у самой Литвы избежать подобного «провала памяти»? Бросив взгляд на ее возможный прототип — Латвию, — мы увидим, что число русских и людей других советских национальностей достигло среди ее населения 33 процентов, а среди жителей ее столицы Риги они составляют половину. Не Брежнев ли декларировал, что в будущем среди нерусских народов будет происходить процесс сближения, а потом и слияния, конечно, под эгидой языка, «на котором разговаривал Ленин»? Да, все народы в Советском Союзе равны, но русские, как и приличествует «старшему брату», более равны, чем другие. Будущее, как было сказано, принадлежит новому «советскому человеку» — настойчивому, уверенному, трудолюбивому, в основном русифицированному, но еще обладающему правом писать одобренные партией сочинения на своем родном языке, исполнять свои национальные песни и пляски, подобно покорным неграм с их банджо на плантациях. Для прибалтов подобный образ столь же неприемлем, как Стефан Фетчит для сегодняшних черных.

Какие же силы, если таковые имеются, могут противостать этому паровому катку? Чувствуют ли литовцы себя одинокими и беспомощными в густой тени того, что Сартр назвал «Вещью»? Если не принимать во внимание статистику и поверхностное логизирование, то нет, не чувствуют. Симас Кудирка — это один из примеров необычайной стойкости и силы литовского народа, живущего под советским режимом.

О сходных случаях рассказывает нам литовский Самиздат. Эти люди — не капитулянты. Их поддерживают возрастающие активность и солидаризация среди других народов СССР. Они также черпают мужество из набирающего силу движения русских диссидентов и из «другой России» — России Солженицына, Сахарова, Ковалева и многих других. «Их мужество и их жертвенность заставляет нас, литовских католиков, посмотреть другими глазами на русский народ», — писала «Хроника литовской католической церкви» (№ 15, 1975). Русские диссиденты передают на Запад большое количество информации о национальном сопротивлении в Литве, Латвии и Эстонии. Сегодня устремления многих нерусских народов более тесно связаны с русским демократическим движением, чем это было в 1905 году. Литовцы верят, что их долг — сопротивляться превращению страны в подмосковный кемпинг или в марксистско-ленинский ларек сувениров. В ходе своей истории они переживали не менее страшные перипетии. И вполне может еще наступить день, когда они будут читать Кафку и Орвелла, не видя на их страницах самих себя.

ЛАНДСБЕРГИС Альгирдас — родился в 1924 г. в г. Кибартай (Литва). Учился в Каунасском университете. Во время войны был отправлен немцами на принудительные работы. После войны учился в университете г. Майнца (ФРГ), в Бруклинском колледже (США). Преподавал в ряде европейских и американских университетов. В настоящее время — профессор истории в университете Дикинсон (Ратерфорд, Нью-Джерси, США).

Михайло Михайлов

МИСТИЧЕСКИЙ ОПЫТ НЕВОЛИ

Не человек должен защищать Бога, а Бог защищает человека, или, другими словами, Бога надо не защищать, а искать.

Лев Шестов¹

Возлюбил проклятие, — оно и придет на него; не восхотел благословения, — оно и удалится от него.

Псалом 108, 17

За последние годы появилось немало книг, написанных людьми, прошедшими через советские тюрьмы и лагеря, в которых досконально обрисованы все стороны подневольного бытия. Несколько из этих книг-свидетельств привлекают особенное внимание тем, что в них показана не только внешняя сторона подневольной жизни, но и глубочайшие душевные и духовные переживания и изменения, которым подверглись прошедшие сквозь страшный тюремный и лагерный советский мир.

В этих описаниях душевно-духовных переживаний есть очень много парадоксального для привычного нынешнего сознания, однако, благодаря тому, что разные люди, совершенно различных мировоззрений и мировоззрений, свидетельствуют, как о

¹ Лев Шестов, «Власть ключей — Потестас клавиум», изд. «Скифы», Берлин, 1923, стр. 273.

несомненных фактах, об одних и тех же процессах в глубинах человеческой души, и одновременно утверждают и описывают зависимость человеческой судьбы от этих глубинных процессов, — то представляется возможной некая систематизация и попытка осмысления этих парадоксальных свидетельств.

Это тем более необходимо, что сами авторы нередко придерживаются философских и религиозных взглядов, прямо противоположных вытекающим из описанного и пережитого ими опыта. И если для переживших страшный опыт максимальной неволи нелегко сделать надлежащие выводы, то, конечно, для людей, никогда в жизни не имевших таких переживаний, — и факты, описанные в этих книгах, и тем более неминуемые выводы, несомненно, покажутся совершенно дикими.

Надо сразу подчеркнуть, что явления, которые мы будем анализировать, представляются революционными по отношению не только к психологии и психоанализу XX века, не только к марксизму и современной западной социологии, — но полностью взрывают фундамент, на котором построена вся нынешняя мировая наука, да и философия новейшего времени. Еще раз необходимо повторить, что речь идет об эмпирических феноменах, зарегистрированных людьми, часто не имеющими между собой ничего общего, и именно поэтому тождественность их опыта и свидетельств настолько веска и ценна.

В этом смысле нам представляются наиболее интересными книги следующих авторов: Солженицына — первая и вторая книги «Архипелага ГУЛаг»², Шифрина — «Четвертое измерение»³, Панина — «Записки

² А. Солженицын, «Архипелаг ГУЛаг», тт. I-II, изд. «ИМКА-ПРЕСС», Париж, 1973-74. ³ А. Шифрин, «Четвертое измерение», изд. «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1973.

Сологдина»⁴ и Терца-Синявского — «Голос из хора»^{4А}. Интересна также и книга Гроссмана «Все течет...»⁵, в которой находятся чуть ли не первые попытки осмысления страшного опыта неволи, однако автор лично не пережил описываемый им мир, поэтому ссылаться на его произведение как на достоверное свидетельство мы не будем.

Другие широко известные книги о подневольном советском мире, от «России в концлагере» Ивана Солоневича, «В стране ЗеКа» Марголина, до «Крутого маршрута» Евгении Гинзбург, свидетельства советских незапрещенных авторов (как, например, генерал Горбатов), свидетельства западных авторов (Вейсберг-Цибульский, Маргарита Бубер-Нойман, «Подконвойный мир» Варди, книга Марченко и даже ранние произведения Солженицына, — не представляют интереса по отношению к анализируемой нами проблеме, ввиду того, что в этих произведениях более всего внимания уделено описанию внешнего мира неволи, так же, как и во многих аналогичных свидетельствах о немецких концлагерях.

ОСНОВНЫЕ ПАРАДОКСЫ

Вдумчивому читателю указанных нами книг Солженицына, Панина, Шифрина и Терца сразу бросается в глаза несколько постоянно повторяемых парадоксальных утверждений. Все эти авторы согласны в том, что арест, тюрьма, лагерь, короче говоря — неволя, представляли в их жизни самое важное и значительное из всего когда-либо ими пережитого. Парадоксальность только усугубляется свидетельствованием о том, что не только сильнейшие душевные и физи-

⁴ Д. Панин, «Записки Сологдина», изд. «Посев», 1973.

^{4А} А. Терц, «Голос из хора», изд. «Стенвалли», Лондон, 1973. ⁵ Вас. Гроссман, «Все течет...», изд. «Посев», 1970.

ческие страдания им пришлось испытать в условиях неволи, но и ощущения полного счастья, какое и не снится людям, находящимся вне тюремных стен.

Никто из них никогда до этого не переживал таких могучих чувств любви, ненависти или отчаяния, таких интересных, загруженных самыми важнейшими для человеческого бытия вопросами, дней и ночей, такой близости к глубинам космического бытия, — что это позволяет охарактеризовать неволю, именно как сгущенную, сконцентрированную жизнь. Жизнь, в которой, несмотря на все муки, парадоксальным образом, однако, по свидетельствам не только анализируемых нами авторов, — самоубийств почти не было⁶. Менее всего подходит к этим свидетельствам название, данное в свое время Достоевским, — «Записки из мертвого дома». Или, точнее, в условиях того невероятно сильного давления внешнего физического мира (что и есть — неволя), какое в нормальных жизненных обстоятельствах чрезвычайно редко встречается, — происходило полное разделение людей на живых и мертвых, душевно мертвых еще при жизни тела, по отношению к которым, но только к ним, в самом деле подходит название — «Мертвый дом». Говоря словами Шифрина, — в этих условиях середины не было, человек или ломался, или становился сильнее⁷.

Так же сразу бросается в глаза тоже парадоксальное утверждение и эмпирическое свидетельство, что тело, физическую жизнь, — спасал тот, кто спасал свою душу, то есть, именно во имя внутреннего императива, готов был к потере тела и физической жизни.

Обыкновенно мы считаем, что дело обстоит как раз наоборот, то есть, что человек в трудных услови-

⁶ «Архипелаг ГУЛаг», т. II, стр. 587-589; «Записки Сологдина», стр. 498. ⁷ «Четвертое измерение», стр. 327.

ях стоит перед выбором между спасением — или тела, или души. Но вот, прошедшие через предельно трудные обстоятельства, угрожавшие и душе и телу, в один голос уверяют, что жертвовавшие душой для спасения тела, — теряли и то и другое, и что, наоборот, людям, готовым во спасение души потерять тело, какой-то странный и таинственный закон, вопреки обыденному сознанию, спасал и тело, то есть физическую жизнь.

И вот, сколько бы ни были необоримыми силы, задавшиеся целью уничтожить и душу и тело человека, — ж и з н е н н ы й опыт показал, что неведомая сила, находящаяся в глубине человеческой души, все же сильнее, чем все эти внешние силы порабощения и смерти. Не символически сильнее, а реально-эмпирически. И поэтому свидетели, описывающие этот факт, сотни раз проверенный и повторившийся в условиях ужасающей неволи, — приходят к убеждению о мощности психической энергии в душе каждого человека, о неотделимости духовного мира от мира физического, и к утверждению, что мысли и желания человека не менее, а намного более действенны во внешнем, физическом мире, чем руки.

И в то же время, эти свидетели настаивают на том, что ничего случайного в их жизни не было, что все определялось каким-то роком, тянувшим и гнавшим их по определенной дороге, вопреки их планам и попыткам изменить свою судьбу. Здесь как бы противоречие: с одной стороны — в человеке заложены неведомые силы, которые таинственным образом бывают чрезвычайно действенны во внешнем мире, с другой стороны — существует какой-то фатализм и предопределенность, изменить которую человек не в силах.

Однако это противоречие только видимое. Если человек, вопреки всем внешним обстоятельствам, вопреки своим желаниям и планам, вопреки угрозе фи-

зического уничтожения, вопреки доводам разума, не говоря уж об общественном мнении, — следует за тем глубинным, не поддающимся никакому разумному контролю голосу души, — то тогда в жизни человека сами по себе открываются пути, ведущие не только к сохранению всего того, чем было пожертвовано в целях следования за внутренним мистическим компасом, но и осуществляются все самые заветные душевные стремления.

Если же, наоборот, человек действиями во внешнем мире, наперекор глубинному голосу души (некоторыми называемым — инстинктом свободы), пытается осуществить свои желания и планы, спасти жизнь и избежать уничтожения, — то тогда именно и вступает в силу фатум, рок, приводящий раньше или позже к уничтожению того, из-за осуществления чего отвергнут был внутренний голос.

А человек свободен в отношении следования или нет за этим таинственным и крайне реальным внутренним голосом, — или точнее будет сказать — становится свободен, пройдя через страдания и усвоив страшные уроки неволи.

Так что, противоречия нет: в мире одновременно существует и неизменяемый рок, и крайняя свобода, определяющая даже внешние обстоятельства, в которых живет человек. И от него самого зависит, будет ли он жить в оковах рока, или в свободе даже от законов физического мира.

Конечно, если это все так, — а опыт, о котором мы говорим, об этом свидетельствует, — то далеко идущие выводы подрывают основу, на которой покоится все здание нашей науки не только о человеке и человеческой душе, но и о всей видимой и невидимой реальности. Если одновременно существуют два мира, неслиянных но и не делимых — мир полного фатума и мир свободы, если люди живут или в одном, или в другом мире, в зависимости от следования или

отбрасывания никаким разумным критериям не подвластного и никаким научным изучениям не поддающегося, для каждого человека совершенно обособленного и личного, таинственного и не всегда хорошо слышного внутреннего голоса, — то и тогда обесмысливается всякая наука, исходная точка которой — догмат о существовании только одного мира, с одними и теми же общеобязательными законами, власть над которым дает именно познание этих, от человека не зависящих, законов.

Опыт людей, прошедших через сгущенную жизнь неволи, говорит о противоположном: познание даже таинственных неведомых законов, о которых здесь идет речь, вопреки всем видимым и самоочевидным ужасам спасающих тех, которые последовали велениям внутреннего голоса, не говоря уж о познании тех законов, изучением которых занимается современная наука, — никакой власти не дает. Да и не нужна власть, не спасет власть, — а только свобода, ее же дает не познание, а вера, без которой невозможно следовать за ничем «объективным», не подтверждаемым внутренним голосом. Или точнее — следование за этим внутренним голосом и есть вера.

Здесь, в сгущенной жизни, происходит «испытание доктрин в ужасных условиях», — пишет Панин⁸; «здесь думают напряженней, чем в научной среде», — свидетельствует Терц-Синявский⁹, и он же приходит к категорическому утверждению, возникшему в результате личного экзистенциального опыта — «наука отодвигает от истины»¹⁰. Поэтому так напряженно заключенные вчитываются в переписанные от руки отрывки из Библии и Евангелия, собственным опытом заново раскрывают забытые людьми нового времени основные положения восточных учений о йоге, сами подходят к элементарным истинам теософии, — и все-

⁸ Стр. 129. ⁹ Стр. 102. ¹⁰ Стр. 89.

ми силами пытаются осмыслить свой, не подлежащий никаким сомнениям, личный опыт, который полностью обессмысливает всевозможные учения, идеологии, доктрины и науки нашего времени.

И вот, может быть, самое парадоксальное и оптимистическое убеждение этих людей, испытавших лично на себе всю силу зла, состоит в том, что — сила добра непобедима, как пишет Панин¹¹, что мир все же более похож на белую скатерть, лишь залитую черным злом, а не наоборот, как уверяет Шифрин¹², что палач убивает себя, а загубленный — жив, словами Гроссмана¹³, и что «жизнь значительнее, чем мы думаем», на чем настаивает Терц¹⁴.

ДЕЛО НЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ

Из всего до сих упомянутого видно, что борьба, ведущаяся между человеком и силами зла и смерти, о которой с такой духовной пронизательностью говорят книги, на которые мы ссылаемся, — менее всего — борьба только политическая. На поверхности и в самом деле кажется, что речь идет о политических столкновениях, об однопартийной диктатуре, о произволе и всевластии политической полиции, об отсутствии правовых гарантий и свободы слова. Но это только видимость, и лишь социальная проекция другой борьбы, страшной и суровой битвы, ведущейся в глубине бесчисленных душ человеческих, поставленных в условия, в которых невозможно избежать участия в великой битве. И невозможно отказаться от рокового выбора: покориться ли могучей и до сих пор непобежденной власти, силе и насилию, или восстать против нее, то есть поверить внутреннему голосу, не имеющему никаких гарантий.

¹¹ Стр. 137, 271. ¹² Стр. 329. ¹³ Стр. 118. ¹⁴ Стр. 178.

Вот поэтому борьба, ведущаяся в наше время в тоталитарных странах, — по существу борьба не политическая, а религиозная, что, конечно, не всегда осознается даже участниками великого сражения. С полным правом пишет Солженицын, что именно христиане в СССР — истинно политические деятели,¹⁵ подрывающие самое основание тоталитарного строя — веру во всемогущество внешнего мира, от которого якобы зависит внутренний мир человека, его душа.

Если внешний мир непобедим — то рабство человека никакими политическими реформами не может быть уничтожено. Если же наоборот, — внешний мир подвластен внутренним силам человеческой души, — то тогда только от человека зависит его судьба, тогда невинно пострадавших вообще нет, а все испытания и муки заслуженны и правомерны, но тогда и открыта дорога к свободной жизни, в которой человеческий политический строй — это лишь последствие внутреннего освобождения души.

В то время как для большинства людей вопрос о том — подвластен ли человек внешнему миру или нет — в общем, только теоретический, люди, чей опыт мы анализируем, были, наравне с миллионами других людей, поставлены в такие обстоятельства, в которых этот важнейший вопрос человеческого существования имел с у г у б о п р а к т и ч е с к о е з н а ч е н и е. Ответ на него означал — жить или умереть, не теоретически, а буквально. Следуя таинственному внутреннему голосу, спасая душу, человек познавал эмпирически, что пока душа не потеряна, — главное еще не потеряно, а на этом основывается вера в бессмертие души человеческой. Следовать за внутренним голосом, — это и значит все поступки во времени определять по отношению к вечности.

¹⁵ Т. II, стр. 304.

Но такой опыт чрезвычайно важен не только для людей, поставленных в условия максимальной неволи, но для всех когда-либо живших или ныне живущих на земле. Очень важно осознать то, что раньше или позже — каждый человек попадает в тюрьму, лагерь, во власть ничем не ограниченного произвола могучих сил внешнего мира, когда невозможно избежать выбора между покорностью перед смертью, полным уничтожением (не только физическим, но и душевным) и — дерзновенным следованием за внутренним голосом вопреки всему «реальному», объективному и разумному. Болезни, катастрофы, всевозможные несчастья, умирание — ведь это те же самые арест, следствие, тюрьма, лагерь. А избежать их — никому не дано.

И если не прошедшие через неволю люди предполагают, что есть существенная разница между бытием в тюрьме и вне тюремных стен, — то имеющие опыт неволи начинают понимать то, что разница эта только поверхностная и временная и что для каждого человека в какой-то момент вольный мир превращается в камеру смертников. «Весь наш мир — камера смертников», — так и пишет Солженицын,¹⁶ и он же — «тесна камера, но не еще ли теснее воля?». ¹⁷ Панин подтверждает, что «весь мир — только пересылка», ¹⁸ а Терц сравнивает смерть с выходом на волю.

ПЕРВОЕ И ВАЖНЕЙШЕЕ

Что же происходит с человеком в тот момент, когда внезапно вырванный из обыденной жизни он попадает во власть безжалостных и могучих сил, по видимому, желающих только одного — его уничтожения. Возможна ли какая-либо защита или сопро-

¹⁶ Т. I, стр. 455. ¹⁷ Т. II, стр. 605. ¹⁸ Стр. 332. ¹⁹ Стр. 271.

тивление? Все, чем человек жил, все, что имел: воля, близкие, любимая работа, собственность, физическое тело, жизнь, — все это он защитить не может, все это во власти сил зла. И если человек пытается сопротивляться в сфере того, чем он до тех пор жил и имел, — то он заранее обречен на поражение. Все, что мощные внешние силы, в тисках которых он находится, могут отнять, — не защитить самому человеку никаким способом.

И вот, находясь на краю бездны, перед полным уничтожением, человек начинает понимать, что все-таки существует что-то неподвластное внешним необоримым силам, и хотя уже все остальное не спасти, все же сопротивление, борьба и победа возможны, но только в одном: в сохранении своей души, или — что то же — внутренней свободы и непокорности злу и насилию. Но для того, чтобы борьба была успешна и вообще возможна, надо заранее отречься от всего, что внешние силы могут отнять.

«Только не дорожить жизнью», — пишет Солженицын,²⁰ и еще — ничего не имей, отрекись от тела,²¹ вообще от всего, враги человека — даже ближние его,²² а Панин подтверждает, что для борьбы необходимо отказаться и от ближних,²³ от всего на свете, кроме души. И только при полном отречении человек становится свободен, только тогда, когда уже у него нечего отнять.²⁴

И в тот момент, когда это случается, и человек становится полностью свободен, — происходит самое таинственное в опыте людей, прошедших через стуженную жизнь, то есть максимальную неволю: появляется какая-то могучая сила в глубине человеческой души, не только дающая истерзанному телу невероятную способность сопротивляемости, но и каким-то

²⁰ Т. II, стр. 302-303. ²¹ Т. I, стр. 139, 512-513, 541. ²² Т. I, стр. 117. ²³ Стр. 336. ²⁴ «Архипелаг ГУЛаг», т. II, стр. 595.

совершенно мистическим и для нынешнего сознания полностью необъяснимым путем начинающая влиять на внешний мир и определять события, независимые от человека, однако спасительные для него.

Поэтому — «спасешь душу — сохранишь тело», — твердит Панин,²⁵ только духовное спасает, дух держит тело, — повторяет много раз Солженицын,²⁶ и все описывают пережитые ими лично, или своими глазами увиденные, случаи невероятной живучести тела, поддерживаемого сильным внутренним духовным напряжением. И наоборот — все неоднократно видели, что потеря духовного прямо вела к смерти физической.

ОТНОШЕНИЕ К ВНУТРЕННЕЙ СИЛЕ

Огромная сила скрыта в нас, восклицает Панин, вся вселенная — система сгущений и разряжений, какими-то таинственными нитями связанная с глубиной нашего духа.²⁷ Каждый из нас — центр вселенной, пишет Солженицын.²⁸ И не абстрактным путем пришли они к этому выводу, а на себе лично неоднократно испытали действие неведомой силы. О внутреннем таинственном теле, появляющемся как бы из другого мира и спасающем человека в леднике, свидетельствует Солженицын.²⁹ О непонятной и неведомой силе, после сорока дней вернувшей его к жизни, рассказывает Панин, и он же — о заключенном, ежедневно «раздевающемся догола и катающемся по снегу» на ужасном морозе безо всякого вреда для здоровья; о многих пережитых ими лично, или виденных, непонятных и поражающих явлениях, повествуют эти книги-свидетельства.

²⁵ Стр. 389. ²⁶ Т. II, стр. 589-591, 597, 612. ²⁷ Стр. 259, 422-423, 436, 439, 443. ²⁸ Т. I, стр. 17. ²⁹ Т. I, стр. 482.

Но когда, отбросив все внешнее, человек решался следовать внутреннему голосу (это и есть вера) и внезапно видел и ощущал в себе вполне эмпирически, с восторгом, ужасом и трепетом, таинственную, но совершенно реальную и могучую силу, действующую и в его теле и во внешнем мире, — одновременно приходило сознание, что он не хозяин этой силы, то есть, что не в его воле распоряжаться ею по своему усмотрению, а наоборот, — что все в жизни, и самая жизнь, зависит полностью от этой внутренней и таинственной силы (мистикос — это и есть таинственный), на языке религии называемую Богом.

Вот этот пережитый опыт всемогущества неведомой силы и приводил заключенных к попыткам осмысления и осознания и самой мистической силы, и отношения человека к ней. Не абстрактно, не теоретически, не в экспериментальных «научных» целях, а с одной-единственной целью — спасения от страшной и неизбежной смертной угрозы, — подверглись испытанию и проверке — и молитва, и медитация, и техника йоги, и даже просто заклинания. Не только Ветхий и Новый Завет, в рукописных отрывках, записанных по памяти, но и все, связанное с древним учением йоги, с парапсихологией, с теософией, — явилось самым насущным и необходимым практическим пособием для сохранения души и тела, в условиях, в которых действие духовное прямо на глазах вызывало последствия в мире физическом.

О реальной силе молитвы свидетельствует Панин,³⁰ и он же пишет о Раджа-йоге,³¹ а Шифрин и о Хатха-йоге,³² о «Тайной доктрине» Блаватской,³³ о лагерном самиздате по парапсихологии³⁴ и тому подобном. Снова, как в забытой и невидимой за далью

³⁰ Стр. 135, 229, 307, 244, 407, 489. ³¹ Стр. 264, 266, 324, 442. ³² Стр. 236, 245, 257, 272, 307, 346, 376. ³³ Стр. 190, 192.

³⁴ Стр. 281.

веков древностью, стали самоочевидными такие истины, что воздух — есть в то же время и дух, питающий неведомыми энергиями, по словам Терца,³⁵ что в пище, принимаемой человеком, находится таинственная энергия, которую древние индусы называли — Праной, как повествует Панин,³⁶ что человека вполне реально бережет от внешнего зла и физического поранения — астральная броня, о чем рассказал Панин, лично переживший такую защиту,³⁷ и что под прессом физического и душевного страдания спадает с человека «кольчуга злой энергии», как говорит Солженицын.³⁸

Совершенно понятно, что у людей, испытавших не по своей воле таинственные и страшные явления, появлялась путаница во многих религиозных, мистических, магических, эзотерических теориях и доктринах, к тому же, воспринимаемых умами, воспитанными полностью материалистически и даже технически. Поэтому не удивляют такие высказывания, как, например, Панина, что духовная энергия, наподобие электричества, растрачивается или на мозговую деятельность, или уходит в руки при физическом труде.³⁹ Совершенно нормально воспринимаются теории о влиянии солнечной активности на земные революции,⁴⁰ и даже магическое действие на органы насилия самого упоминания Иисуса Христа, о чем пишет Солженицын.⁴¹

Однако, несмотря на все эти попытки теоретического осмысления, оказалось, что ни при какой духовной технике все же нельзя научиться управлять таинственной силой. Сила вела и указывала, неведомыми и не всем заметными духовными знаками, и можно было только довериться ей или нет. Но нельзя было по своему желанию или хотению направлять мисти-

³⁵ Стр. 97. ³⁶ Стр. 257. ³⁷ Стр. 245-248. ³⁸ Т. I, стр. 209.
³⁹ Стр. 91-93. ⁴⁰ Т. II, стр. 469. ⁴¹ Т. II, стр. 367.

ческую силу, а только лишь принимать от нее указания.

ДУХОВНЫЙ ОРГАН (окулус спиритуалис)

Солженицын замечательно описывает внутреннее «реле», безошибочно оповещавшее его о том, каков человек с которым ему приходилось иметь дело.⁴² Другие тоже свидетельствуют о безошибочности того, что мы привыкли называть интуицией. Единственным внешним проявлением внутреннего мира человека были только — глаза. Что глаза говорят «лучше паспорта», неоднократно свидетельствуют Шифрин,⁴³ Панин,⁴⁴ Солженицын.⁴⁵ Какой же это единственно надежный критерий истины, которому нельзя рационально ни обучить человека, ни передать словами осознанную правду? А вот опыт показал, что именно это и есть единственный в мире истинный критерий.

Но не только в прямом соприкосновении с другими людьми внутреннее «реле» безошибочно оповещало человека о глубинной сущности явлений, но и то, что мы называем предчувствием, действующим на расстоянии, так же совершенно безошибочно оповещало человека об опасности, об удаче, и обо всех событиях, касающихся его жизни. Панин рассказывает о пережитой смертной тоске именно в тот момент, когда, как это впоследствии он узнал, было решено его арестовать,⁴⁶ о внутреннем ощущении, ясно сообщившем ему, что в этот день у него украдут оставленную в бараке пайку (что в тех условиях угрожало жиз-

⁴² Т. I, стр. 193-194. ⁴³ Стр. 50, 139. ⁴⁴ Стр. 252. ⁴⁵ Т. II, стр. 586. ⁴⁶ Стр. 38.

ни).⁴⁷ Солженицын рассказывает о предчувствии беды у бежавшего ээка, поехавшего за своей женой, и спасшегося только потому, что он полностью доверился этому внутреннему чувству и изменил свой образ действия.⁴⁸ Много подобных эмпирических свидетельств находим в анализируемых нами книгах.

Значит, существует какая-то внепространственная вполне реальная связь человеческих душ. Однако не только внепространственная, но и вневременная связь, о чем тоже свидетельствуют пережившие это явление на собственном опыте люди. Солженицын описывает провидца, бывшего с ним в одной камере и во сне безошибочно видевшего все важнейшие камерные события следующего дня,⁴⁹ Шифрин, выйдя на волю, даже предпринимает дальнюю поездку к ясновидящей,⁵⁰ настолько для него после пережитого опыта стала самоочевидной возможность вневременного и внепространственного зрения.

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ, САМЫЙ ОСНОВНОЙ МИСТИЧЕСКИЙ ЗАКОН

Терц-Синявский, прошедший через сравнительно легкие испытания уже послесталинского времени, однако духовно лучше других уже до тюрьмы подготовленный к восприятию мистических явлений, пишет, что то, о чем много думаешь — вдруг приходит само,⁵¹ и рассказывает, что нужные книги как будто кто-то ему подсовывал в самый нужный момент. Мысль не менее действенна, чем руки — утверждает Шифрин⁵² и повествует о том, как все время кто-то сталкивал его, когда он мучился неразрешимыми вопросами, то со странным заключенным теософом, незапно именно к нему подошедшим на одной пересыл-

⁴⁷ Стр. 121. ⁴⁸ Т. II, стр. 398. ⁴⁹ Т. I, стр. 279. ⁵⁰ Стр. 419.
⁵¹ Стр. 193. ⁵² Стр. 182.

ке и ознакомившим его с основами эзотерических знаний,⁵³ то с оккультными книгами в больнице.

Из осознания, что мысль сама по себе действенна, становится объяснимым, почему в тоталитарных системах самое страшное преступление — это «инакомыслие», по словам Шифрина,⁵⁴ или, как пишет Солженицын, — «мысль только и каралась».⁵⁵

Тем не менее, именно случаи, которыми наши авторы иллюстрируют действие мысли, показывают, что не мысль, а что-то другое было чрезвычайно действенно, а сами мысли во внутреннем мире, так же, как и книги, и нужные встречи во внешнем мире, — кто-то в нужный момент лишь подталкивал к человеку. Лучшим примером, полностью иллюстрирующим этот самый главный, самый основной мистический закон, служит рассказ Солженицына о случае заключенного астрофизика в первой книге «ГУЛага».⁵⁶ Заключенный астрофизик в одиночной камере спасался от сумасшествия напряженным и углубленным разрешением каких-то астрофизических проблем, но через некоторое время натолкнулся на непреодолимое препятствие: он не знал наизусть каких-то нужных ему данных и цифр. Напряженная работа ума, спасающая астрофизика, остановилась. В отчаянии он взмолился еще не зная кому, — Богу ли, той ли неведомой силе — о спасении. И вот произошло совершенное чудо: по ошибке, случайно, в его камеру принесли из тюремной библиотеки учебник по астрофизике, о существовании здесь которого в этом месте заключенный и не догадывался. И хотя через два дня ошибку заметили и книгу унесли, однако он уже отыскал и заучил все нужные ему данные, продолжил умственную работу и создал оригинальную новую теорию.

⁵³ Стр. 178-179. ⁵⁴ Стр. 447. ⁵⁵ Т. I, стр. 368. ⁵⁶ Т. I, стр. 484.

Шифрин тоже описывает случаи таинственного вмешательства в события, угрожающие самому главному, тому, к чему было направлено его душевное стремление. Во время обысков в лагере, благодаря нескольким совершенно невероятным «случайностям», был спасен единственный экземпляр Библии и рукописный текст книги «Экзодус», переводу и распространению которой Шифрин посвятил много сил.^{56А}

Не мысль этих людей была действенна, а полное душевное, внутреннее устремление к определенной цели, вызвавшее ответное действие мистического закона во внешнем, якобы независимом от человека, мире. Не мысль действенна, не магическая власть мысли над миром, а, как Солженицын во второй книге «ГУЛага» догадывается, — «небеса прислушивались к молитвам и вмешивались...»⁵⁷

Поэтому можно сказать, что всякое инакомыслие, которое карается при тоталитаризме, — не причина, а лишь результат и внешний знак внутреннего устремления к какой-либо цели, устремления, опасного для власти уже тем, что оно внутреннее, а это значит — свободное от власти князя мира сего. Не мысль карается, а это душевное устремление.

Сильное внутреннее устремление вызывает во внешнем мире события, открывающие возможности осуществления этого внутреннего стремления. Или точнее — сильное душевное устремление вызывает ответное действие мистической силы, находящейся и в глубине души человеческой, и во внешнем мире, и человеку кажется, что кто-то вмешивается в жизненные течения в нужный момент и помогает достижению цели, на которую направлено стремление. Вот это и есть основной мистический закон, изменяющий все человеческое мышление и

^{56А} Стр. 403. ⁵⁷ Т. II, стр. 242-243.

взрывающий фундамент под самой идеей нашей науки.

Но сразу надо сказать, что душевное устремление, о котором идет речь, — не есть волевое устремление и не зависит от желаний человека и его выбора. От человека зависит только — последовать ли за этим внутренним влечением, или нет. Но, по отношению к внешнему миру, следование за внутренним голосом, куда бы он ни звал — акт величайшей свободы, и вспоминаются слова Бердяева о том, что не человек хочет свободы, а Бог требует, чтобы человек был свободен.

В западной новейшей литературе тоже существует одно произведение, прекрасно иллюстрирующее неведомый закон о соотношении внутреннего и внешнего миров. Это рассказ известного французского писателя Веркора, повествующий об одном молодом румыне, влюбленном во французскую культуру, французский язык и вообще во Францию, который, повинаясь внутреннему влечению, вопреки всякому здравому смыслу, оставил своих близких, свою работу и родину и добрался до Парижа, в котором у него не было ни одного знакомого человека, но жил какой-то его дальний родственник, адреса которого молодой румын не знал. Однако внутреннее влечение привело его в огромном незнакомом городе на один из мостов Сены, о котором у себя на родине он часто читал, и «случайно» в тот же день и тот же час на этот самый мост привело и его родственника. Это открыло для молодого человека возможность жизни во Франции и осуществления всех его заветных мечтаний.

Вот осознание этой реальной связи внутреннего мира человека и мира внешнего и есть — религия (религио — связь), а вера — это не требующее санкции разума следование за внутренним голосом, куда бы он ни звал.

Мне уже приходилось писать об этом основном законе зависимости внешнего мира от внутреннего, мира физического от мира духовного, намеки на который можно найти в русской самиздатской литературе новейшего времени⁵⁸. Комментарии и отклики на это мое выступление показывают непонимание того, о чем по существу идет речь^{58А}. Высказывалось мнение, что основной мистический закон, о котором я пишу, тождествен с идеями Романо Гвардини, высказанными в его известной книге о Достоевском. Это неверно. Именно Гвардини далек от понимания закона, о котором мне приходилось писать в связи с самиздатовцами, с эмпирическими свидетельствами в книгах Солженицына, Панина, Шифрина и Терца.

У Гвардини речь идет о том, что люди живут в разных мирах в зависимости от внутреннего мира, но только в том смысле, что, например, для человека хорошего, жизнерадостного, с сердцем, исполненным любовью ко всему живому, — открываются совершенно другие и весьма широкие дороги и возможности, чем для человека злобного и ненавидящего самого себя и весь мир. Перед первыми все люди, животные, и даже растения, раскрываются, идут во всем навстречу, а от вторых — бегут. Значит, они живут в разных мирах, причем от души каждого из них зависит, будет ли мир, в котором они живут, более свободным, открытым, как для одних, или, во многих отношениях несвободным и замкнутым, как для других.

Ничего мистического в высказывании Гвардини нет, и даже новейший психоанализ свободно может подтвердить явления, им описанные. Я же все время говорю об ином — о реальном влиянии внутреннего мира человека на физически и пространственно совер-

⁵⁸ «Зарубежье», № 39-40, Мюнхен, 1973. ^{58А} Там же, ст. В. Пирожковой «Послесловие».

шенно не связанные между собою события, какие, например, описывают Солженицын, Терц, Шифрин и Веркор. Учебник по астрофизике «случайно» попал в камеру к заключенному в результате его внутреннего устремления, а не личного обаяния или личного контакта. Парижский родственник молодого румына «случайно» проходил по мосту в тот день и в тот час, когда туда прибыл румын, потому что его туда привел мистический закон, вызванный к действию следованием за внутренним влечением со стороны его молодого родственника. Это ничего общего не имеет с тем, о чем говорит в своей книге о Достоевском Гвардини.

И в то же время необходимо подчеркнуть, что не я первый заговорил об этом основном мистическом законе. Не употребляя слова «закон», но именно об этом явлении писал, насколько я знаю, вообще первым (и не только в новейшей истории) — Георгий Мейер, в своей замечательной книге «Свет в ночи», посвященной анализу «Преступления и наказания» Достоевского⁵⁹. Вообще, интересно заметить, насколько мало известна эта глубочайшая книга, по сравнению с которой такие, ныне у историков и теоретиков литературы популярные работы о Достоевском, как, например, книга Бахтина,⁶⁰ — просто духовный хлам.

Основной мистический закон показывает, что существует неведомая общая основа и мира физического и мира духовного и что от событий в мире духовном зависят события в мире физическом, а не наоборот. И снова становятся понятными слова из древней книги, что на десяти праведниках держится физический мир, не символически, а буквально, и что, может быть, отнюдь не пустые выдумки рассказы из

⁵⁹ Г. Мейер, «Свет в ночи», изд. «Посев», 1967. ⁶⁰ М. М. Бахтин, «Проблемы творчества Достоевского», изд. «Прибой», Ленинград, 1929.

этой же древней книги о том, что бывали случаи, когда человеку покорялись законы природы и физического мира, а не он им.

ВСЕ ПРАВИЛЬНО

Но если все, что с человеком происходит в жизни, — лишь результат его отношения к миру внутреннему, — то тогда, значит, и тюрьма, и лагерь, и все мучения вполне закономерны и заслуженны? Да, это именно так, говорит опыт переживших максимальную неволю. Однако существуют ведь и безвинно пострадавшие, которых именно следование за внутренним голосом и сопротивление насилию привело к вратам смерти? И это верно, подтверждают наши авторы. Опять явное противоречие, о котором, однако, свидетельствует жизненный опыт. Как быть?

Поэтому Солженицын во второй книге «ГУЛага» оговаривается, что он в отношении к себе полностью принимает, что все, что с ним произошло, было совершенно заслуженным (и не только тюрьма и лагерь, но и тяжелая болезнь), однако не решается распространить такую закономерность и на тех, кто не примирился с насилием, не изменил своей душе, но погиб на Архипелаге.

Вспоминается, что Толстой в «Смерти Ивана Ильича», описывая внутренние невыносимые мучения умирающего, говорит о том, что в какой-то определенный момент Иван Ильич понял, что не смерть страшна, а прожитая жизнь, что именно главное и основное мучение состоит в его жизни, прожитой греховно, конечно, не по отношению к общепринятым моральным и этическим нормам, а по отношению к внутреннему голосу, о котором мы все время говорим. И он чувствует, что ему в этот смертный час единственное и реальное облегчение дают те редкие минуты в его жизни, когда он следовал за внут-

ренным голосом, а не за общепринятыми мнениями и обычаями: какая-то любовь в юности, дружба...

То же самое подтверждает и опыт переживших максимальную неволю. Не тюрьма страшна, а жизнь до ареста! Все они, неоднократно, а особенно Солженицын в «ГУЛаге», описывают те душевные муки, которые вызывало воспоминание о дотюремной жизни, о грехах по отношению к собственной душе, а значит — и к другим людям.

Однако ведь смерти никому не избежать, она ждет и тех, кто пережил, благодаря чуду мистического закона, следствие, тюрьму и лагерь. Но если опыт показывает, что в глубине нашей души существует вневременная и внепространственная сфера, или точнее, что именно наша душа принадлежит к этой сфере, — то тогда для души никакой смерти нет, так как смерть связана со временем и пространством. И тогда важно не то — потеряна физическая жизнь или нет, а как потеряна. То есть, самое важное — подошел человек к смерти следуя за внутренним голосом или нет. Если прав Толстой, что не смерть страшна, а жизнь до смерти, — то тогда, может быть, в этом и состоит самая существенная разница между смертью праведника и грешника.

Ведь существует же огромное различие страданий заключенного Солженицына, переживающего нередко моменты глубочайшего счастья в тюрьме⁶¹, и страданий типичного советского инженера, человека, не имеющего «верхней сферы», то есть совершенно глухого к внутреннему голосу и невидимому духовному миру, и поэтому до заключения безо всякого зазрения совести бравшего от жизни все, что было в его власти, и теперь испытывающего ужасные мучения от сознания окончательной потери всего, чем он жил⁶².

⁶¹ Т. I, стр. 593. ⁶² Т. I, стр. 208.

«Ведь жизнь-то одна?» — говорит инженер. Одна жизнь, но для чего она дана? — соглашается и спрашивает Солженицын⁶³.

И быть может, для них смерть — это выход на волю, словами Терца, а для других — заключение, «вечная ссылка», как говорит Солженицын в «Раковом корпусе»? Если это так, тогда совершенно понятно, что человек может даже после вынесения смертного приговора ощущать огромное счастье, как, например, в описанном Солженицыным случае одной заключенной, пережившей после вынесения смертного приговора самую светлую неделю в своей жизни⁶⁴.

Вспоминается, что такой же экстаз счастья и самоочевидного ощущения бессмертия души перед казнью, переживаемый революционеркой Мусей, бесстрашно следующей за своим внутренним голосом, — описал и Леонид Андреев в знаменитом «Рассказе о семи повешенных».

Но несмотря на внутренне переживаемое счастье, ведь все же и для праведника существует смерть и мука уничтожения тела? Однако о том, что ждет человека за воротами смерти, мы ничего не знаем, и остается только гадать по аналогии с тюремным заключением. И верно ли то, что будь человек абсолютно безгрешен, то есть имей он такую духовную силу — во все минуты жизни, от самого рождения, следовать только за внутренним душевным голосом, — то никакой смерти вообще бы не было, так как физические законы стали бы человеку подвластны? И об этом мы ничего достоверно не знаем, однако несомненно то, что почти для всех людей, переживших страшный опыт близости физического уничтожения, бессмертие человеческой души становится самоочевидным фактом.

⁶³ Т. I, стр. 275. ⁶⁴ Т. II, стр. 645.

И все же, в условиях максимальной неволи, жизнь спасали и те, которые, не то что покорялись — а открыто становились на сторону зла. Но что мы знаем об их конце?

КАРМА

Выстраданная вера в бессмертие души и опытное сознание того, что все, что с человеком происходит, — полностью заслуженно и безвинно пострадавших нет, — приводило мысль заключенных к древнему учению о Карме, о мистическом законе, утверждающем, что за всякое зло, учиненное человеком, он расплачивается тем, что такое же зло обрушивается раньше или позже на его голову. Однако, так как в течение одной жизни человек не всегда расплачивается за свои грехи, то закон Кармы связывается с верою в реинкарнацию, перевоплощение души человеческой, и говорит о том, что человек в настоящей жизни своими несчастьями расплачивается за грехи, содеянные им в прошедшей жизни.

Христианство не признает перевоплощения душ, а стоит на той точке зрения, что расплата за грехи единственной жизни — ждет человека на Страшном суде.

Мне хочется подчеркнуть, что учение о Карме не должно быть необходимо связано с перевоплощением души. Именно незнание того, что человек переживает в страшный час смерти, может означать, что несмотря на внешнюю видимость безнаказанности в течение только одной жизни, — все же расплата приходит уже в этой жизни. Ведь в той сфере, в которой находится душа человеческая, — никакого времени нет, и Иван Ильич Льва Толстого переживал именно вечность страдания.

Так или иначе, но наши авторы самой жизнью были приведены к понятию о Карме. Шифрин пишет о том, что осознание закона Кармы и реинкарнации

меняет все человеческое мышление⁶⁵. Солженицын описывает свою встречу с доктором Корнфельдом, за день до смерти поведавшем ему о своей уверенности в том, что все, что с человеком происходит, происходит кармически совершенно заслуженно⁶⁶, и он же в «ГУЛаге» рассказывает о старухе, глубоко уверенной, что ее выпустят на волю тогда, когда Бог сочтет, что она перестрадала за свои прегрешения, несмотря ни на какие приговоры и сроки заключения⁶⁷. «Бог сроки знает», — говорит старуха, и, как Солженицын свидетельствует, она никому не пишет прошений или жалоб, но проходит некоторое время, из Москвы приходит приказ — и ее выпускают.

Из такого опыта у заключенных создавалась уверенность в том, что ошибочно своими силами самому добиваться чего-либо, а надо покориться судьбе и только следовать за внутренним голосом, и если душевное спокойствие свидетельствует о том, что человек следует за внутренним голосом даже тогда, когда бездействует, терпит и только ждет сроков, как описанная старуха, — то тогда все окончится наилучшим образом. Наоборот, — своими попытками самовольного вмешательства в течение судьбы, человек может только усложнить и испортить свою жизнь.

И если страдание освобождало от греха, и в конечном счете выводило в определенный момент на волю, — то в тюрьму приводил именно грех. «Заслужили все дальнейшее», — пишет Солженицын, и он же — «все видят, в чем пострадали, но не видят, в чем виноваты», и неоднократно повторяет, что слабости отдают во власть НКВД, и что все происходит от страха⁶⁸.

И вот интересный парадокс, замеченный Гроссманом: те заключенные, которые в самом деле боролись

⁶⁵ Стр. 194 ⁶⁶ Т. II, стр. 600-601. ⁶⁷ Т. II, стр. 610-611. ⁶⁸ «Архипелаг ГУЛаг», т. I, стр. 554; т. II, стр. 488.

⁶⁹ Т. I, стр. 69; т. II, стр. 274, 322, 349.

и сопротивлялись тоталитарному режиму на воле (другими словами — следовали за внутренним компасом), — считали, что все заключенные невиновны, и наоборот — те люди, которые не имели грехов перед властью, но все же попали в лагерь, — считали, что только с ними произошла какая-то ошибка, а что другие и впрямь виноваты⁷⁰. И только страдание открывало духовные глаза, и являлось понимание того, что перед властью и в самом деле не многие были виноваты, но именно поэтому — то и были повинны перед собственной душой, так как покорность судьбе не означает покорности перед князем мира сего, а лишь перед требованиями души.

Поэтому нельзя даже временно, в целях обмана злых сил и для сохранения жизни, согласиться на внутреннее рабство, нельзя, словами Солженицына, «не жить, для того чтобы жить»⁷¹. Наказания за это не избежать человеку. И ничего случайного в жизни нет: и плохое и хорошее, что кажется случайной удачей или несчастьем, — полностью заслужено. А в глубине души, находящейся во вневременной сфере, человек наперед знает, что с ним произойдет, хотя осознают это знание только специально одаренные провидцы. Терц, раздумывая об этом, вспоминает анамнезис Платона⁷², Шифрин пишет о Карме.

Однако однозначна ли Карма основному мистическому закону, о котором у нас шла речь? Нет. Карма (или, что одно и то же, — рок) — расплата за отступление от следования за внутренним компасом, действительна только в несвободной жизни, точнее — Карма и есть несвобода. Основной мистический закон, наоборот, выявляет ту, для нынешнего сознания необъяснимую свободу, в которой даже физические законы реального мира служат осуществлению человеческого стремления, когда это стремление тождественно внутреннему голосу души.

⁷⁰ Стр. 92. ⁷¹ Т. I, стр. 287. ⁷² Стр. 162.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Как освободить того, кто душевно не свободен?» — спрашивает автор «ГУЛага»,⁷³ а Шифрин как бы отвечает на это — «лишь тот освободится, кто выйдет из пустыни внутреннего рабства»⁷⁴.

Внутреннее рабство приводит в тюрьму, внутреннее освобождение выводит на волю. А страдание открывает человеку глаза на внутренний духовный мир, на мистический компас, находящийся в душе каждого человека, и на грехи в жизни до ареста. Ареста же и тюрьмы — никому не избежать, как мы уже упоминали. И может быть, величайшее наказание состоит именно в том, что человек не проходит еще при жизни через страдание, а прямо, умирая, навеки попадает в «тюрьму».

Об этом мы ничего достоверно не знаем. Так или иначе, пережившие страдания максимальной неволи согласны в том, что в тюрьме человек был словно под увеличительным стеклом и переживал самые значительные минуты своей жизни, — словами Солженицына⁷⁵. Терц подтверждает — «человек в тюрьме — самый полный человек»⁷⁶. Так же, как и Шифрин, Солженицын свидетельствует о том, что в тюрьме проходил одновременно процесс растления и восхождения, начиналось шевеление добра в душе, человек становился более терпимым и терпеливым, словом, — перестрадав, человек становился хорошим⁷⁷. Все эки — личности, люди в тюрьме возвышаются и становятся интересными, самая сильная любовь — в лагере, — пишет Солженицын⁷⁸.

И по сравнению с видимостью свободной жизни людей на воле, ничего не смыслящих в самых важных для человека вопросах (о грехе, рабстве, страда-

⁷³ Т. II, стр. 594. ⁷⁴ Стр. 238. ⁷⁵ Т. I, стр. 209. ⁷⁶ Стр. 273.
⁷⁷ Т. II, стр. 267, 598-599, 602-603, 614. ⁷⁸ Т. II, стр. 233-234, 606, 610, 618.

нии, свободе, смерти), и поэтому находящихся как бы во сне, — тюремная жизнь кажется единственной настоящей жизнью, с разбуженными ото сна обитателями. «Хочу на Родину, к себе в Архипелаг», — восклицает Солженицын⁷⁹, а Терц парадоксально утверждает — лагерь, это максимальная свобода⁸⁰.

Страдание открыло дорогу к истинной свободе, освобождая человека от всего внешнего и второстепенного в жизни, а главное — от служения и поклонения кумиру власти земной, так как опыт показал, что все кумиры бессильны спасти человека в смертный час. «С душевным рабством раз и навсегда покончено», — восклицает Солженицын⁸¹ и благословляет тюрьму⁸².

Опыт неволи убедительно показал, что в каждом человеке заложены огромные возможности реального достижения максимальной свободы и могучие силы для изменения внешнего мира на основании мистического закона. Эмпирически подтвердилось, что судьба и жизнь каждого человека зависит не от власти князя мира сего, не от внешних физических сил, — а лишь от мистической силы, веками называемой Богом. Отношение же этой силы к человеку, по-видимому, определяется только отношением человека к внутреннему голосу души.

По существу, это триумфальное подтверждение онтологической и эмпирической свободы каждой человеческой личности. Вряд ли существует в мире что-либо оптимистичнее сознания, что совершенно реально можно влиять на мировые события, вопреки могучим силам зла, лишь следуя за освобождающим внутренним голосом души. И никакими внешними силами нельзя отнять у человека эту свободу, его душу, а только сам человек может ей изменить.

⁷⁹ Т. I, стр. 586-587. ⁸⁰ Стр. 279. ⁸¹ Т. II, стр. 501. ⁸² Т. II, стр. 604.

Духовный мир снова стал видимой реальностью. Вот этот осознанный опыт не может не изменить все человеческое мышление, все науки и идеологии, всю сознательную жизнь нашего времени.

И тем не менее нет полной уверенности в том, что пережитое до конца осмысливается. Хотя опыт, о котором свидетельствуют книги прошедших через неволю, говорит о том, что только следование за внутренним компасом освобождает, что только это следование и есть свобода, авторы этих замечательных книг, свидетельствами которых мы воспользовались, начиная обобщать свой опыт и поучать людей, выступают как бы не доверяя тому, что то, что их спасало, будет и для других таким же спасительным.

Оказывается уже, что не внутренний голос, а что-то внешнее должно бы освободить человека и привести человечество к свободной жизни. По Солженицыну — это человеколюбивый авторитарный строй, идеологически основывающийся на Православии, Панин всю надежду возлагает на Церковь и классическую церковную организацию, Шифрин, по-видимому, рассчитывает на усвоение людьми эзотерических доктрин и учений.

Их собственный опыт свидетельствует о противоположном. Никакие внешние организации общества, никакие Церкви и идеологии, никакие эзотерические или экзотерические учения не спасают человека и не освобождают его. Спасает одна лишь та могучая сила, управляющая человеческим и физическим миром, следование за голосом которой освобождает человека, по-видимому, даже во вратах смерти, как Даниила среди львов.

Нет и никогда не будет внешних гарантий, данных либо разумом, либо наукой, либо Церковью, какими-либо учениями, — в отношении внутреннего голоса, различного для каждого отдельного человека. Да и не надо никаких гарантий и учений для того, у

которого открылись духовные глаза, так же как совершенно бессмысленно изучать, — где будет находиться север или юг по отношению к тому месту, в котором мы будем завтра или послезавтра, — если при нас находится магнитный компас.

Словами Льва Шестова: «В страну обетованную приходит лишь тот, кто не знает, куда идет».

Сентябрь 1974

МИХАЙЛОВ Михаил (Михайло) Николаевич — родился 26 сентября 1934 г. в г. Панчево, недалеко от Белграда. Окончил гимназию в Сараеве в 1953 г. Учился на строительном, а потом литературном факультетах Белградского университета; окончил университет г. Загреба.

После публикации двух частей книги путевых заметок «Лето московское 1964» (впоследствии переведенных более чем на сорок языков) 4 марта 1965 года Михайлов был арестован и приговорен условно к двум годам тюрьмы. 22 - 23 сентября 1966 года состоялся второй суд над Михайловым. Его приговорили к году тюрьмы и к году поражения в правах. Адвокат Михайлова подал апелляцию и до решения высших инстанций Михайлов был оставлен на свободе. 12 ноября 1966 года его снова арестовывают и 17-19 апреля 1967 года состоялся третий суд. Его обвинили за статьи, опубликованные в западной печати после объявления второго приговора, а также за «хорватский сепаратизм». Михайлов был осужден на 4 года тюрьмы и 4½ года запрета выступать в печати.

В начале 1972 года против Михайлова возбуждают новое дело в связи с публикацией им статей в газетах «Нью-Йорк таймс» и «Интернэшонал геральд трибюн». Приговор — месяц тюремного заключения, — не привели в исполнение. В октябре 1974 года Михайлова арестовывают снова и приговаривают к 7 годам тюремного заключения строгого режима и 4 годам поражения в правах. Это — пятый по счету приговор, вынесенный бесстрашному борцу за справедливость М. Н. Михайлову.

Запад — Восток

Артур Кестлер

«МРАК В ПОЛДЕНЬ»

После разрыва* наступает критический период, когда ты попадаешь в положение отверженного партией отверженных и блуждаешь в мистических потемках своей души. Твоя бывшая революционность искушает тебя либо ринуться в лагерь бывших противников, либо стать религиозным неопитом. Те из моих друзей, которые преодолели искушение и сохранили интеллект и эмоциональное равновесие, почти все без исключения были людьми устойчивых интересов: писателями, художниками или учеными, — что и позволило им сохранить точку опоры.

Когда в начале 1938 года я вернулся в Париж, я привез с собой один ценный документ. Это был контракт с лондонским издательством Джонатана Кейпа на публикацию «Гладиаторов». Мой первый роман должен был появиться в печати. Я рассчитывал, что Кейп в качестве аванса выплатит мне 125 фунтов, и хотя надо было еще платить переводчику, остатка хватило бы месяцев на шесть спартанской жизни. Итак, наконец-то я смогу закончить книгу, которая все откладывалась, — то в силу отсутствия денег, то под давлением политических событий. Я закончил ее в июне 1938 года — через четыре года после начала работы над ней.

© for Russian by KONTINENT.

* Имеется в виду разрыв Кестлера с компартией в 1938 г. (Прим. пер.)

После каждого из таких более или менее драматических перерывов возвращения к I веку до н. э. наполняли меня чувством мира и покоя. На протяжении нескольких месяцев до и после разрыва с партией это стало для меня профессиональной терапией. Такие возвраты создавали ощущение связи времен, позволявшее мне дрейфовать сквозь период внешнего одиночества и внутренней опустошенности. Перед разрывом я считал себя рабом Процесса, а свое творчество — средством служения ему. Теперь я начал смотреть на себя как на писателя-профессионала, а на свое творчество — как на самоцель. И как только я закончил «Гладиаторов», я начал писать «Мрак в полдень».

Роман этот, как он вырисовывался из короткой заявки, составленной для Кейпа, должен был быть об арестованных в одной тоталитарной стране. Приговоренные к смерти, его четыре или пять персонажей переживают ситуацию перехода из банального в трагический план существования. Каждый из них переоценивает свою жизнь и приходит к выводу, что он виновен, но не в тех преступлениях, за которые должен умереть. Общим знаменателем их виновности заключался в том, что интересы человечества они ставили выше интересов человека, жертвовали моралью ради целесообразности, средствами ради цели. Теперь они должны умереть, потому что смерть их целесообразна для Процесса, умереть от рук тех людей, которые придерживаются аналогичных принципов. Название романа было «Порочный круг».

Когда я начал писать книгу, у меня не было готового сюжета и только один персонаж жил в моем воображении. Это был большевик из Старой Гвардии, система его мышления моделировалась по Николаю Бухарину, черты характера и физического облика представляли синтез Льва Троцкого и Карла Радека. Я видел его четко, как в галлюцинации: невысокий,

коренастый, с козлиной бородкой, вышагивающий назад и вперед по камере и вытирающий пенсне о рукав. Проблемой было найти ему имя. Роясь в залежах памяти, я наткнулся на имя «Рубашов», не имея представления, откуда оно взялось. Оно понравилось мне, потому что звучало как «рубаха» — вышитая русская одежда, в которую я сам много раз наряжался по воскресеньям*. На самом деле, «Николай Залманович Рубашов» было имя редактора ежедневной газеты Палестинской трудовой партии «Davar», но об этом я совершенно забыл. Я никогда не встречался с господином Рубашовым, но имя его мне было хорошо известно в годы моего пребывания в Палестине. Случайно, отчество «Залманович» сделало моего героя евреем, но сам я этого не заметил и ни один читатель не указал мне на эту деталь.

Начало виделось мне совершенно ясно. Когда собственные сотрудники Рубашова приходят арестовывать его, он спит и ему снится его последний арест в стране врагов; затуманенный сном рассудок не может решить, какой из двух диктаторов настиг его на этот раз и кто из них изображен на портрете, висящем над кроватью. Странно, но это символическое изображение фундаментального сходства двух тоталитарных режимов (которое проходит лейтмотивом во всей книге) было сделано тогда, когда на уровне своего рационального мышления я еще продолжал сохранять симпатии к Советскому Союзу, — за год пакта между Сталиным и Гитлером, когда я с негодованием отверг бы всякое утверждение о возможности выбора между Советской Россией и нацистской Германией.

После того как первая сцена была написана, мне уже не надо было заниматься поисками сюжета и деталей: они ожидали, погребенные в семилетних плас-

* Очевидно, во время пребывания Кестлера в Советском Союзе.

тах воспоминаний, и стоило открыть клапан, как с ними начинало происходить нечто вроде процесса брожения. Теперь пресс был снят и они забили ключом, обретая свое истинное содержание и окраску. Надежда, маленький Вернер, два начальника в Баку, множество эпизодов, отдельных фраз или жестов — все то, чему внутренний цензор годами не давал сдвинуться с места, теперь действовало по собственной воле. Я не заботился о том, что произойдет в книге дальше; я ждал этого со страхом и любопытством. Я знал, например, что в конце событий Рубашов будет сломлен и признается в своих воображаемых преступлениях, но у меня было лишь самое смутное представление о причинах, побуждавших его поступить именно так. Причины эти шаг за шагом проявлялись во время допросов Рубашова двумя следователями: Ивановым и Глеткиным. Вопросы и ответы этих допросов были обусловлены духовным климатом той замкнутой системы; они не сочинялись, а извлекались квази-математическими механизмами подсознания из той жесткой логической арматуры, в границах которой пребывали как обвиняемый, так и обвинитель, как жертва, так и палач. Придерживаясь правил игры, они могли только спорить и поступать так, как они поступали.

Западному сознанию, незнакомому с подобной системой и подобными правилами, признания на процессах представляются одной из величайших загадок нашего времени. Почему старые большевики — герои и вожди революции, которые столь часто играли со смертью, что сами себя называли «покойниками на каникулах», признали эту абсурдную, кровь охлаждающую ложь? Ведь если отбросить тех, кто, как Радек, пытался спасти собственную шкуру, как Зиновьев, был сломлен духовно, кто пытался защитить свои семьи, как Каменев, который, как говорили, был страстно привязан к своему сыну, то оставался еще твердый

орешек — люди типа Бухарина, Пятакова, Мрачковского, Смирнова и еще плеяда других — с тридцати и сорокалетним революционным прошлым, ветеранов царских тюрем и сибирских ссылок, чье тотально ликующее самоотречение остается необъяснимым. Рубашов и должен был представлять собой тип этого «твердого орешка».

Вытекающая из романа идея стала известна как «теория признания Рубашова» и вызвала долгую общественную полемику. Я не принимал участия в этой дискуссии. Некоторые доводы в защиту исторической правдоподобности этой теории содержатся в моей автобиографии, написанной пятнадцать лет спустя.

Три ретроспективных эпизода этого романа — эпизоды с Ричардом, Крошкой Леви и Орловой — представляют собой стилизованные варианты действительных случаев. Технические подробности методов допросов в ГПУ, такие, как лишение сна в результате «конвейерной» системы, выдерживание обвиняемого на ногах в течение дня или даже нескольких суток, предоставление ему выбора между «мягким» и «жестким» обращением, применение ослепительного света, угрозы расправы без суда в случае отказа сотрудничать — все это детально описано в более поздних свидетельствах. Что же касается главной проблемы — причин, по которым определенный тип обвиняемых, а именно тип «твердого орешка», путем логических рассуждений приходит к признанию в абсурде, — то я позволю себе злоупотребить терпением читателей, приведя две длинные выдержки. Первая представляет собой ключевой эпизод романа; вторая — свидетельство о допросе одного из главных обвиняемых на первом московском процессе, которое появилось позже.

Выдержка из романа относится к заключительной части допроса Рубашова Глеткиным. Рубашов доказывает, что хотя он был против политики Вождя, он

никогда не действовал с контрреволюционными целями и не был вражеским агентом, а руководствовался своей совестью и лучшими побуждениями. Отвечая, Глеткин цитирует собственные рукописи Рубашова: «Вопрос субъективных намерений для нас не представляет интереса. Тот, кто неправ, должен платить; правый будет оправдан. Таков наш закон...». В последовавшей словесной дуэли Глеткин продолжает подкреплять свои аргументы ссылками на письменные и устные высказывания самого Рубашова и Рубашов бессилён противостоять им. Глеткин цитирует дневник Рубашова: «Каждую идею необходимо вколачивать в головы масс средствами повторений и упрощений. То, что считается полезным, должно сиять как золото, то, что считается вредным, должно быть черным как деготь...». И в конце Глеткин добывает истощенного физически и духовно Рубашова последним аргументом:

«— Ваша фракция, гражданин Рубашов, разбита и уничтожена. Вы хотели расколоть Партию, хотя должны были знать, что раскол в Партии означает гражданскую войну. Вы знаете о недовольстве среди крестьянства, которое еще не научилось понимать значения наложенных на него жертв. В войне, которая продолжалась бы только несколько месяцев, такого рода явления могли бы привести к катастрофе. Следовательно, первейшая необходимость для Партии — сохранять единство. Она должна быть отлита из одного куска — пронизана слепой дисциплиной и абсолютной верой. Вы и ваши друзья, гражданин Рубашов, пробили брешь в Партии. Если вы действительно сожалеете об этом, вы должны помочь нам заделать брешь. Хочу вам сказать, что это последняя служба, которую ждет от вас Партия.

Ваша задача проста. Вы должны поступать в соответствии с собственной идеей: золотить Правду и чернить Ложь. Политика оппозиции — ложь. Ваша задача, следовательно, вскрыть презренное лицо оппозиции, помочь массам понять, что оппозиция — преступна и что ее вожди — преступники. Это тот самый упрощенный язык, ко-

торый массы способны понять. Если вы начнете разглаживать о своих сложных мотивах, вы внесете только путаницу в их ряды. Ваша задача, гражданин Рубашов, избегать жалости и симпатии. Симпатия и жалость к оппозиции опасна для страны.

Товарищ Рубашов, я надеюсь, вы поняли задание, которое поручает вам Партия.

Первый раз Глеткин назвал Рубашова «товарищем». Рубашов резко вскинул голову. Теплая волна поднялась в нем, и против нее он был бессилен. Когда он протирал пенсне, его подбородок слегка дрожал.

— Я понял.

— Учтите, — продолжал Глеткин, — Партия не обещает вам никаких надежд и не предлагает никаких наград. Некоторые из обвиняемых стали сговорчивы под физическим давлением. Другие — под влиянием надежды спасти свои головы и головы своих близких, которых мы держим как заложников. Вам, товарищ Рубашов, мы не предлагаем сделку и не обещаем ничего.

— Я понял, — повторил Рубашов.

Глеткин заглянул в досье.

— В вашем дневнике имеется место, которое меня заинтересовало, — продолжал он. — Вы пишете: «Я думал и поступал, как считал нужным. Если я прав, я ни о чем не жалею; если нет, я должен платить».

Он оторвался от досье и посмотрел прямо в глаза Рубашову.

— Вы неправы, и вы будете платить, товарищ Рубашов. Партия обещает вам только одно: после победы, в день, когда это уже не сможет принести ей вред, материалы секретных архивов будут опубликованы. И тогда мир узнает, что делалось за кулисами этой комедии Панча и Джуди, как вы когда-то выразились, где мы разыгрывали перед ним свои роли по учебнику истории...».

Материалы секретных архивов, на которые в поисках утешения ссылается Глеткин, все еще не опубликованы. Но некоторые из них просочились, как это с ходом времени и должно быть. Я приведу только

одно свидетельство: отчет генерала Кривицкого о методах, посредством которых должен был склониться к признанию один из главных обвиняемых первого процесса — Мрачковский.

До своего разрыва с советским режимом Вальтер Кривицкий был начальником советской военной разведки (Четвертое Бюро Красной Армии) в Западной Европе. Это был первый случай перебежки высокопоставленного сотрудника советской разведки. Два раза ГПУ пыталось прикончить его во Франции, при третьей попытке, в США, они добились успеха. Его смерть была выдана за самоубийство. Генерал Кривицкий был найден убитым выстрелом в голову, сделанным якобы его собственной рукой, в номере небольшого отеля в Вашингтоне, в котором он никогда раньше не останавливался. Он неоднократно предупреждал свою семью и друзей, чтобы они не верили в версию самоубийства, если его когда-нибудь найдут убитым. В ГПУ была старая поговорка: «Всякий дурак может убить, но только артист может выдать убийство за естественную смерть».

Я никогда не встречался с генералом Кривицким; те же из моих друзей, которые знали его, восхищались мужеством и цельностью его натуры. Его книга «Я был агентом Сталина» была опубликована в декабре 1939 года — как раз тогда, когда я закончил «Мрак в полдень», за исключением последней, следующей за допросами, главы — «Грамматическая фикция». Я прочитал книгу Кривицкого только несколько лет спустя, так как после окончания «Мрака в полдень» у меня на много лет появилась аллергия к этой теме в целом. Книги Кривицкого давно уже нет в продаже и, очевидно, она не будет переиздана в ближайшие годы, поэтому я хочу привести из нее несколько относящихся к делу отрывков.

Первый — из главы «Почему они признались?» — представляет собой краткое резюме всей этой проблемы:

Как были получены показания?.. Обескураженный мир наблюдал, как основатели советского государства бичевали себя за преступления, которые они никак не могли совершить и которые выглядели фантастической ложью. С тех пор загадка этих признаний смущает западный мир. Но для тех из нас, кто находился тогда внутри сталинской машины, признания эти никакой загадки не представляли.

Хотя эти люди пришли к признанию под влиянием нескольких факторов, в конечном итоге они поступили так в искреннем убеждении, что этим могут сослужить последнюю службу партии и революции. Жертвуя жизнью и честью, они спасали ненавистный режим Сталина, потому что видели в нем последние слабые отблески надежды на лучшее будущее, на алтарь которой они принесли себя еще в ранней юности.

Кривицкий указывает, что это объяснение относится только к определенному типу обвиняемых — к тому самому, который я называл «твердым орешком», и следующим образом описывает путь, по которому шел к признаниям Мрачковский:

Мрачковский был членом большевистской партии с 1905 года. Его отец был революционер, сосланный царем в Сибирь. Его самого много раз арестовывала царская полиция. Во время последовавшей за революцией гражданской войны он занимался созданием на Урале добровольческих отрядов, которые одерживали фантастические победы над армией адмирала Колчака. В период Ленина и Троцкого он приобрел репутацию почти легендарного героя.

В июне 1935 года подготовка к первому показательному процессу была закончена. Были обеспечены признания четырнадцати арестованных. Ведущие действующие лица — Зиновьев и Каменев — заучили роли и теперь репетировали линии своего поведения на процессе. Однако среди этой кучки намеченных жертв оказались два человека,

которых не удалось столкнуть на путь признаний. Одним из них был Мрачковский. Другим — его коллега Иван Н. Смирнов — основатель большевистской партии, командир Пятой Армии во время гражданской войны.

Сталин не хотел начинать процесса без этих людей. Их «прожаривали» несколько месяцев, к ним применяли все физические пытки третьей степени, взятые на вооружение ОГПУ, но они все еще не подписали показаний. Неожиданно глава ОГПУ вызвал к себе моего товарища — Слуцкого — и поручил ему допрос Мрачковского, чтобы «сломать» этого человека, которого, как выяснилось, Слуцкий глубоко уважал. Мы оба плакали, когда Слуцкий рассказывал мне про свой опыт инквизитора.

— Я начал допрос чисто выбритым, — рассказывал он, — а к концу у меня отросла борода.

Когда его первый раз привели в мой кабинет, я заметил, что он сильно хромает от раны, полученной на гражданской войне. Я предложил ему сесть. Он сел. Я начал допрос словами: «Как вы видите, товарищ Мрачковский, мне поручили допросить вас».

Мрачковский ответил: «Я ничего не скажу! Я вообще не хочу вступать с вами ни в какие разговоры. Ваш тип куда хуже, чем любые царские жандармы. Сначала докажите ваше право допрашивать меня. Где вы были во время революции? Что-то я не могу припомнить, чтобы слышал о вас в те дни».

Мрачковский показал на два ордена Красного Знамени, которые носил Слуцкий, и продолжал:

— Я никогда не видел людей вашего типа на фронте. А все эти награды — очевидно, вы их просто украли!

Мрачковский встал, резким движением поднял рубашку и показал шрамы от ран, полученных в битвах за советский режим.

— Вот мои награды! — воскликнул он.

Слуцкий продолжал молчать. Он принес чай и предложил арестованному стакан и папиросы. Мрачковский схватил стакан и стоявшую перед ним пепельницу, швырнул их на пол и закричал:

— Подкупить меня хотите? Можете передать Сталину, что я его ненавижу. Он предатель. Они водили меня

к Молотову, который тоже хотел меня подкупить. Я плюнул ему в лицо.

Наконец Слуцкий заговорил.

— Нет, товарищ Мрачковский, я не украл ордена Красного Знамени. Я получил их в Красной Армии на ташкентском фронте, где я воевал под вашим начальством. Я никогда не считал вас чудовищем и не смотрю на вас так даже сейчас. Но ведь вы находились в оппозиции и боролись против партии? Конечно, вы не станете этого отрицать. И теперь партия поручила мне допросить вас. А что касается ран, то посмотрите на это.

Слуцкий обнажил тело, демонстрируя собственные раны. Потом он сказал:

— Я стал работать в военном трибунале после гражданской войны. Позже партия перебросила меня на работу в администрацию ОГПУ. Сейчас я лишь придерживаюсь предписаний, следуя приказу. Если партия прикажет мне умереть, я пойду на смерть. (Восемнадцать месяцев спустя Слуцкий реализовал эти слова; было объявлено, что он покончил с собой).

— Нет, теперь вы выродились в полицейскую собаку, в обыкновенного агента охраны, — прервал его Мрачковский. Потом он замолчал и, поколебавшись, продолжил: — А все же, очевидно, в вас осталась крупца души.

В первый раз Слуцкий почувствовал, что искра понижения пробежала между ним и Мрачковским. Он начал говорить о внутреннем и внешнем положении Советского Союза, об опасностях изнутри и снаружи, о том, что враги партии подрывают мощь Советов, что необходимо любой ценой спасти партию как единственного защитника революции.

— Я сказал ему, — рассказывал мне Слуцкий, — что лично я считаю, что он, Мрачковский — не контрреволюционер. Я достал из стола показания других арестованных и показал ему, сколь низко они пали в своей борьбе с советской системой.

Целых три дня и три ночи мы говорили и спорили. В течение всего этого времени Мрачковский не смыкал глаз. Я же за все время нашей схватки урвал всего три или четыре часа сна.

Последовавшие за этим дни и ночи споров привели Мрачковского к открытию, что никто, кроме Сталина, не может в данных условиях управлять партией. Мрачковский твердо верил в однопартийную систему руководства и соглашался, что сейчас нет достаточно сильной большевистской группы, которая смогла бы изнутри реформировать партийную машину или сбросить сталинское руководство. Да, в стране назрело сильное недовольство, но объединение с элементами, стоящими вне большевистских рядов, означало бы конец диктатуры пролетариата, идее которой Мрачковский был предан. И следователь и арестованный согласились, что все большевики должны подчинить свою волю и свои идеи воле и идеям партии. Они согласились, что тот, кто принадлежит партии, должен идти на смерть, на позор или на позорную смерть, если это будет необходимо ради укрепления советской власти.

— Я довел его до того, что мы оба начали плакать, — говорил мне Слуцкий. — Я заплакал с ним вместе, когда мы пришли к выводу, что все потеряно, что не осталось больше надежды или веры и что единственная возможность — это сделать отчаянную попытку предотвратить безнадежную борьбу со стороны разочарованных масс. А для этого правительству нужны публичные «признания» лидеров оппозиции.

Мрачковский просил разрешить ему встречу с Иваном Смирновым — его близким товарищем по работе. Слуцкий вызвал Смирнова из камеры и встреча состоялась в его кабинете. Слуцкий описывает ее так:

— Это была душераздирающая сцена. Два героя революции упали на грудь друг другу. Они рыдали. Мрачковский сказал Смирнову: «Иван Никитич, дайте им, что они хотят. Это надо сделать...». В конце четвертого дня он подписал все показания, сделанные им на публичном процессе.

Я пошел домой. Целую неделю я не мог работать. Я не мог жить.

Когда я прочитал этот рассказ, лишь через несколько лет после окончания «Мрака в полдень», у меня возникло болезненное ощущение *déjà vu*. Сходство всего этого с обстановкой и содержанием первого доп-

роса Рубашова Ивановым было, конечно, поразительным. Совпадение хода доказательств Слуцкого и Иванова можно было объяснить легко: и роман и реальный случай определялись тем же самым кругом идей и обстоятельств. Но за этим стояло еще сходство нюансов и деталей. В том и другом случае допрос начинается с сентиментальных воспоминаний обвинителя и обвиняемого о гражданской войне, во время которой и там, и здесь обвинитель служит под начальством обвиняемого, в обоих случаях один из этой антагонистической пары несет на себе тот же знак гражданской войны — ранение в ногу, в обоих случаях следователя, в свою очередь, ликвидируют. По прочтении этого у меня было ощущение, что я встретил Doppelgänger, духовных дублей Рубашова и Иванова — призрачные сублимации реальностью персонажей и событий моего воображения.

Кривицкий никогда не читал «Мрака в полдень»; он умер как раз в момент его выхода из печати. Наши книги были написаны приблизительно в одно время. Согласно его издателю, Исааку Дан Левину, он писал ее в 1938 году, а его предисловие датировано октябрём 1939 года.

Как я уже неоднократно отмечал, методы, которые привели к признаниям Мрачковского, Бухарина или Рубашова, могли быть применимы только к определенному типу старого большевика, абсолютно преданного партии. К другим подсудимым применялись иные методы давления, варьировавшиеся в зависимости от каждого конкретного случая. Тем не менее, во время полемики, развернувшейся вокруг книги, постоянно утверждалось, что все признания я объясняю применением одного метода. На самом деле, из трех заключенных, появляющихся в романе, только Рубашов дает показания под влиянием своей жертвенной преданности партии; Заячья Губа признается под физической пыткой, неграмотный крестьянин призна-

ется даже не понимая, в чем его обвиняют, просто потому, что он привык делать все, что власти приказывают ему делать. Кроме того, в уже процитированном здесь отрывке, сам Глеткин перечисляет различные методы, которыми других принуждают к признанию; в другом месте (стр. 253) Рубашов размышляет о том, что «некоторые молчали из-за физического страха, некоторые в надежде спасти свои жизни» и т. д. и т. п. И все же, когда десять лет спустя после окончания книги в странах-сателлитах разразились показательные процессы, неутомимые оппоненты снова указывали, что, мол, кардинал Миндсенти или господин Фоглер не питали симпатий к коммунистической партии, что, следовательно, доказывает ошибочность «теории признаний Рубашова». С таким же успехом можно доказывать, что раз не только гвозди притягиваются магнитом, но и мухи — липучкой, следовательно, «теория магнитного притяжения» должна быть признана неверной. Настойчивость такого рода по большей части bona fide дурных истолкований обязана, вероятно, своим существованием внутренней тенденции рассудка к обобщениям и поискам единого объяснения, *lapis philosophicus* этих загадочных сложных феноменов. Ради поддержания этой точки зрения обвиняемые на каждом публичном процессе представляли собой тщательно подобранную «амальгаму» из людей цельных, морально сломленных и провокаторов, которые все вели себя одинаково, но исходили из самых различных побуждений.

Я начал писать «Мрак в полдень» во времена Мюнхена, а закончил в апреле 1940 года, за месяц до немецкого вторжения и последующего падения Франции. Снова, как это было с «Гладиаторами», — несколько длительных вынужденных перерывов в работе, превращающих писание книги в скачки с препятствиями по дорожке времени и судьбы, потому что уже со времени Мюнхена я считал, что Фран-

ция рухнет через несколько недель после немецкого нападения.

Первым препятствием, как раз на середине работы, было то, что я снова остался без денег. Для ее окончания мне было нужно шесть месяцев, и чтобы добыть необходимый капитал, два месяца — апрель и май 1939 года — я должен был пожертвовать на сочинение еще одной книги о сексе — третьей и последней. Потом, после трех месяцев спокойной работы на юге Франции, еще один барьер: 3 сентября разразилась война, а 21 октября я был арестован французской полицией.

С этого момента начинается серия кафкианских ситуаций, о которых я рассказал в «Земной накипи». Следующие четыре месяца я провел в концлагере в Пиренеях. Я был освобожден в январе 1940 года, но оставался «на привязи» у полиции. В последующие шесть месяцев я заканчивал роман в промежутках между допросами и обысками моей квартиры, пребывая в постоянном страхе, что меня могут снова арестовать и тогда рукопись «Мрака в полдень» конфискуют.

Но, видимо, моей книге покровительствовала добрая фея. В марте 1940 года, во время обыска моей квартиры полицейские забрали почти все мои записки и рукописи, но машинописная копия «Мрака в полдень» случайно избежала их внимания. Первый ее экземпляр лежал на моем письменном столе, куда я его положил, руководствуясь теорией Эдгара Алана По, по которой подозрительный предмет должен находиться там, где он вызывает к себе наименьшее подозрение; одновременно, вопреки этой теории, второй экземпляр я спрятал на верхней полке книжного шкафа. В конце концов меня снова арестовали и немецкий оригинал рукописи пропал. Но к тому времени уже был закончен перевод ее на английский. Он был переправлен в Лондон за десять дней до немец-

кого вторжения во Францию, и таким образом книге еще раз удалось проскользнуть в узкую щель.

В течение следующих шести месяцев, уже после моего собственного проникновения в Англию, книга быстро дошла до состояния верстки. Верстка настигла меня в Пентонвильской тюрьме в Лондоне, куда я был помещен сразу же по прибытии. Здесь возникли трудности, так как заключенным не разрешалось получать книг с воли, но поскольку было доказано, что книгу написал сам заключенный, то комендант дал разрешение. Я еще находился в Пентонвилле, когда впервые услышал английское название книги. Оно было подсказано мильтоновским «О мрак, мрак, мрак среди сияния луны» и идея его принадлежала переводчику. Переводчик, Дафна Харди, была по специальности не переводчиком, а молодым английским скульптором, — та самая, которая выведена под инициалом «Г» в «Накипи земли». Она бежала из Франции раньше меня и другой дорогой; наша первая встреча после этого произошла в комнате свиданий в Пентонвилле, где мы беседовали сквозь проволочную сетку в присутствии одетого в форму надзирателя. Когда надзиратель провожал меня обратно в камеру, он спросил, что это за книгу мы так долго обсуждали. Я ответил, что это была книга, которую я написал о заключенном в одиночной камере. «В таком случае вы, наверное, пророк», — сказал он и захлопнул дверь моей одиночки.

Когда «Мрак в полдень» вышел в свет, я все еще сидел в этой камере.

В Англии книга обсуждалась в левых кругах, но с другой стороны, появление ее вызвало так мало шума, что первое издание разошлось в количестве тысячи экземпляров, она несколько месяцев допечатывалась, а в конце года было продано не более четырех тысяч книг.

Во Франции она вышла после конца войны и разошлась в четырехстах тысячах экземплярах. Автору не пристало упоминать подобные цифры, но мне кажется, в данном случае исключение оправдывается двумя причинами: во-первых, потому что они иллюстрируют контраст между вкусами читателей в двух странах, а во-вторых, они касаются некоторых событий, о которых я сейчас расскажу.

Причина, почему „Le Zéro et l'Infini“ («Нуль и и бесконечность»)¹ побил все рекорды издательского дела во Франции, была не литературной, а политической. После террора немецкой оккупации Франция прошла через второй период террора, история которого еще не написана. В течение хаотических недель между ликвидацией оккупационной власти и установлением законного правительства почти каждый район Франции стал ареной массовых казней, произвола и беззакония. Коммунисты, превратившиеся в ходе движения Сопротивления в наиболее организованную силу, под видом борьбы с коллаборационистами использовали хаос этих недель для сведения счетов со своими противниками, точно так же, как они это делали в Испании. Власть *maquis* — в первоначальном, подразумеваемом беззаконие, смысле этого слова — слабела лишь постепенно и в более скрытых формах продолжалась несколько лет; даже сейчас некоторые ее аспекты прикрываются молчаливыми соглашениями. Во времена, о которых идет речь, коммунисты были еще самой сильной партией во Франции: они заседали в правительстве, осуществляли контроль над профсоюзами, косвенно, посредством шантажа и запугивания, в определенной

¹ Французское название ассоциируется с тем местом книги, где говорится, что в социальном уравнении ценность человеческой личности представляет одновременно и нуль, и бесконечность.

степени навязывали свою судьбу судебным органам, издательским фирмам, киноиндустрии и литературным кругам.

В этой душной атмосфере книга о советских чекистах, хотя и относилась к событиям десятилетнего прошлого, имела актуальное значение и содержала символические ассоциации, что вызвало более глубокий психологический эффект, чем это могло бы быть в обычных условиях. Случилось так, что она явилась первым этическим обвинением сталинизма, опубликованным в послевоенной Франции, а так как она была написана на языке, аутентичном языку компартии, и главным ее героем был большевик из Старой Гвардии, ее не так-то просто было объявить «реакционной» и «буржуазной». Вместо этого коммунисты попытались сначала запугать издателей книги. Не достигнув успеха, они начали скупать запасы книги в пригородных и провинциальных книжных магазинах и уничтожать их. В результате, между выходом дополнительных тиражей, книга продавалась на черном рынке по стоимости, в 3-5 раз превышающей номинальную. Когда тираж ее перевалил за четверть миллиона, коммунистические ораторы получили инструкции разоблачать ее на массовых собраниях. Нажим средствами запугивания подтверждается хотя бы тем фактом, что французский переводчик счел для себя более удобным скрыться за псевдонимом, а потом и вовсе убрать имя с обложки, так что в последующих изданиях имя переводчика вообще не упоминается.

Дискуссия эта достигла кульминации во время тех роковых недель, которые предшествовали референдуму о формах французской конституции. Если бы прошла формулировка коммунистов, это дало бы им, как самой сильной в количественном отношении партии, почти абсолютный контроль над государством. Когда борьба закончилась, одна из ведущих газет,

подводя в редакционной статье итоги этой кампании, писала, что «решающим фактором, который привел к поражению коммунистов в референдуме о конституции, был роман „Le Zéro et l'Infini“.

Я уже упоминал в одной из предыдущих глав, что в моей жизни есть два момента, которые в частые периоды моих депрессий и сомнений, возвращают мне душевное равновесие. Первый связан с «Ворами в ночи», второй — тот самый эпизод, о котором я только что рассказал.

Нападки коммунистов продолжались на протяжении всех послевоенных лет. Они варьировались — от академической полемики до физических угроз. На академическом уровне профессор Мерло-Понти, занявший после Анри Бергсона кафедру в Колледже де Франс, опубликовал удивительную книгу, в которой доказывал, что Глеткин был прав². На более низкой ступени этой иерархии официальные писатели французской коммунистической партии придерживались старой испытанной линии. В качестве примера этой категории можно привести книгу М. Jean Kappara, „Le Traître et le Prolétaire — ou l'Enterprise

² Hummanisme et Terreur (Paris, 1974), впервые опубликованная под названием „Le Yogi et le Prolétaire“ (полемическая перефразировка названия моей книги «Йоги и комиссары» (как одна из статей в издаваемом Сартром ежемесячнике «Les Temps Modernes»). Книга берет под свою абсолютную защиту весь сталинский режим, включая и сталинско-гитлеровский пакт, трактуемый в ней как Историческая Необходимость; поносит англо-американскую политику как политику империалистической агрессии и рассматривает критику Советского Союза как акт разжигания войны. Это почти классический пример подконтрольной шизофрении замкнутой системы, представляемой большинством экспонатов французской академической марксистско-экзистенциалистской школы.

Koestler and Co. Ltd.,³ (другая парафраза из «Йогов и комиссаров»), где он разоблачал тщательно скрываемый секрет, что я был завербован английской разведкой во франкистской тюрьме в Севилье. Еще более низкий уровень продемонстрировала статья на первой странице партийного еженедельника „L'Action“, где делалось открытие, что небольшая вилла в Fontaine le Port, которую я недавно приобрел, на самом деле была «штаб-квартирой холодной войны» и что я там обучаю «фашистских головорезов методам терроризма».⁴ На это откликнулась воскресная газета компартии „Humanité Dimanche“, поместившая карту этой местности с указанием стрелкой точного местонахождения этой виллы. После этого родственники нашей кухарки уже не посещали ее по воскресеньям, так как считали, что вилла в любой момент может взлететь в воздух.

В ноябре 1952 года роковая участь постигла моего близкого товарища Отто Каца, известного под именем Андре Симона.

Годы войны Отто провел в Мексике. Потом он вернулся на свою родину в Чехословакию. После коммунистического переворота 1948 года он был назначен редактором официального органа партии „Pravo Lidu“, а позже — руководителем Отдела прессы Министерства иностранных дел. В 1952 году пронесшиеся по странам-сателлитам великие чистки захватили и его. Он был одним из девяти обвиняемых на процессе Сланского-Клемента; и ему предъявляли обвинение в саботаже, в шпионаже в пользу Англии и — помимо всего прочего — в сионизме. Он признался во всем и был повешен.

Когда я читал жуткий отчет о признаниях Отто на процессе, я испытывал еще более мучительное пот-

³ Paris, 1950.

⁴ L'Action, August 6, 1950.

рясение, чем в предыдущих аналогичных случаях. В своем последнем слове перед трибуналом Отто так точно процитировал последнюю речь Рубашова, как будто мог помнить ее. Заключительные слова Отто были:

«Я... достоин виселицы. Единственная польза, которую я еще могу принести, это служить предостерегающим примером всем тем, кто в силу своего происхождения или склонностей находится в опасности последовать той же дорожкой в преисподнюю. Самое строгое наказание...» (Голос затихает и становится неразборчивым)⁵.

Последние слова Рубашова, в которых подчеркивалось стремление «принести последнюю пользу» и «служить предостерегающим примером», были парافразой признания Бухарина на московском процессе 1938 года, — и Отто знал это. Эти фразы из последнего слова Отто явно несли в себе скрытое сообщение, указывающее, что и он признается в преступлениях столь же воображаемых, как Бухарин или Рубашов. Вероятно, он верил, что я смогу сделать для него то же, что он сделал для меня, когда я находился в сходном, хотя и не столь безнадежном, положении; вероятно, он надеялся, что его бывшие влиятельные друзья в Лондоне, Париже и Голливуде, которые когда-то восхищались и славословили автора «Коричневой книги», пропагандиста республиканской Испании, теперь поднимут голоса протеста. Когда человека собираются вешать, он склонен переоценивать интерес, который мир питает к его дыхательному горлу. Ни один голос не поднялся в его защиту среди издателей, журналистов, социальных филантропов и кинозвезд, которые увивались вокруг Отто в романтические, розовые дни «Народного фронта». Его последнее сообщение было пос-

⁵ Би-Би-Си. Запись последнего слова Отто Каца на процессе Сланского-Клемента, 23 ноября 1952.

пешно нацарапанным SOS в бутылке, которую море прибило к берегу и которая осталась болтаться среди мусора прибоя, не замеченная толпой...

КЕСТЛЕР Артур — родился 5 сентября 1905 г. в Будапеште. С 1931 по 1937 год был коммунистом. Был журналистом на Ближнем Востоке и в Испании во время гражданской войны. Попав в плен к Франко, был приговорен к смертной казни и помилован. Автор ряда широко известных романов, посвященных проблемам тоталитаризма («Мрак в полдень», «Тайнопись» и др.).

Карл-Густав Штрём

ОПАСЕНИЯ КИТАЯ ПО ПОВОДУ СОВЕТСКОГО НАПАДЕНИЯ

Заметки к внешней политике и обороне Пекина

Уже в течение многих лет Советский Союз утверждает, что китайская политика «авантюристична», «агрессивна» и направлена против мира и безопасности. В Кремле более или менее прямо утверждают, что Пекин не побоится толкнуть человечество в пропасть третьей мировой войны. Особенный гнев вызывает в Москве факт, что китайские коммунисты имеют нахальство относиться недоверчиво и отрицательно к советским планам «коллективной безопасности». «Правда» от 18 мая 1975 года писала: «Среди тех, кто упорно ведет подкопы под возводимое народами здание мира, вновь выделяются пекинские лидеры. Заместитель премьера Госсовета КНР Дэн Сяо-пин на приеме в Елисейском дворце в Париже занялся антисоветскими измышлениями, пытался дискредитировать идею коллективной безопасности в Европе. Он противопоставил разрядке на европейском континенте призыв к сплочению Западной Европы, явно надеясь, что это может произойти под эгидой НАТО».

Автор этой статьи — Карл-Густав Штрём — дважды посетил КНР: в 1965 году, в канун культурной революции, и в 1975 году, в качестве немецкого журналиста, сопровождавшего боннского политика и председателя ХСС Франца Йозефа Штрауса.

Не лишено, конечно, иронии, когда одна социалистическая и коммунистическая великая держава называет другую, в которой победила та же идеология, «авантюристичной» и почти «преступной». Если следовать советской логике, по которой оказалось возможным, что «клика Мао» захватила китайскую компартию и весь китайский коммунизм в свои руки, то кто же гарантирует, что завтра не найдется какая-то «авантюристическая» клика в Москве, или в любой другой коммунистической столице, и не придет там к власти? Разве трудно повернуть острие в другую сторону: может быть, такие авантюристы уже давно находятся у власти в Москве? Может быть, советские крики об «авантюристической» и «безответственной» пекинской политике нужны только для того, чтобы замести следы своего собственного авантюризма?

Но некоммунистам не стоит вмешиваться в «идеологические» споры Москвы с Пекином. В свое время советская сторона бросала аналогичные обвинения против «клики Тито» в Югославии, с тем, чтобы несколькими годами позже признать устами Хрущева, что произошло это в результате интриг товарищей Берии и Абакумова. Албанские коммунисты вокруг Энвера Ходжи долго считались достойными подражания друзьями Советского Союза, пока однажды не выяснилось, что они — поработители своего народа. Если сегодня почитать те хвалебные гимны, которые до 1959—1960 годов возносились в Советском Союзе Мао Цзэ-дуну и победоносному китайскому коммунизму, то можно только удивленно спросить, откуда взялась тогдашняя слепота советских пропагандистов и политиков. Была ли китайская политика до 1960 года менее «авантюристична» и «опасна», чем теперь? Или дело обстоит так, что Москва осуждает чью-либо политику только тогда, когда она не находится под ее контролем и под командованием КПСС?

Но если анализировать, в чем «Правда» (в уже цитированной статье) обвиняет китайцев и особенно заместителя премьера Дэн Сяо-пина, то речь на самом деле идет об отношении, которое никак нельзя назвать «авантюристическим» и исполненным воинственных угроз. Дэн Сяо-пин, который сегодня после Мао и Чжоу Энь-лая занимает третье место в китайской иерархии, вел себя во время своего посещения Франции в гораздо большей мере как политический деятель, ощущающий свою международную ответственность, чем как несдержанный революционер. Он призывал народы и правительства Западной Европы к объединению и к сопротивлению давлению извне и внешней опеке — вне зависимости от того, американской или советской. Дэн Сяо-пин даже дал понять, что Китай считает уместным размещение американских войск в Европе и Азии. Был случай, когда в разговоре с группой американских сенаторов, выступавших за вывод всех американских войск из Европы, Дэн Сяо-пин поставил все на свои места, спросив, хотят ли они, чтобы вся Европа попала в руки Советского Союза? Когда же западногерманский политик и председатель баварского Христианско-социального союза Франц Йозеф Штраус был в январе 1975 года в Пекине, Дэн Сяо-пин воспользовался — конечно, не без сговора с другими китайскими руководителями — такой формулировкой: «европейцы должны понять, что вопрос касается их собственной шкуры».

В Пекине уже в течение некоторого времени утверждают, что Западная Европа может стать ближайшей целью советской агрессии. Своим иностранным гостям китайские коммунисты напоминают, что две трети наступательных сил Советской армии обращены против Западной Европы и только одна треть — против Китая. Положение в Европе оценивается китайцами и близкими им маоистскими группами сле-

дующим образом: «На одной стороне — пустые разговоры о мире и разрядке напряженности на клочке бумаги; на другой — невиданное массирование наступательных вооруженных сил Варшавского договора под командой социал-империалистов» («Юманите-Руж», Париж).

«Пекинское обозрение» — официальный орган КНР, выходящий на нескольких языках, — писало 29 апреля 1975 года: «Советский Союз добился новых успехов в инфильтрации некоторых южноевропейских стран и усилил свою милитаристскую активность в североευропейских водах. В то же время он принимает все меры для того, чтобы подорвать основы НАТО. Для Соединенных Штатов эта советская активность не осталась незамеченной. Главнокомандующий силами НАТО в Европе Хейг недавно предупредил о растущей военной угрозе Европе с Востока. Министр обороны США Шлезингер обратил внимание на то, что Советский Союз не только усилил мощь своего военного флота в Средиземном море, но собирается базировать его и в Индийском океане... Атмосфера неуверенности в Европе нагнетается со дня на день, в то время как вторая стадия 18-месячной конференции по безопасности Европы лицемерно определяет «безопасность на бумаге».

Конечно, стоит изучить вопрос, оправдано ли китайское утверждение о предстоящем почти наверняка советском нападении на Западную Европу. Само собой разумеется, что пекинские коммунисты выдвигают это утверждение не из бескорыстного человеколюбия, как вообще в политике ничто не делается из подобного человеколюбия. Можно ли, однако, отмахнуться от внешнеполитических и стратегических концепций Китая, назвав их «авантюристическими» и «безответственными»? Ясно, что в Пекине заинтересованы в том, чтобы на европейско-азиатском материке было сохранено равновесие. Китайские призы-

вы к укреплению западноевропейского союза, к консолидации хозяйственного единства Западной Европы, даже к усилению НАТО, в этом отношении — симптом того, что Пекин подспудно боится советского нападения на Китай.

Чтобы не допустить такого нападения, Пекин хотел бы видеть сильную Западную Европу и готовую к действиям на мировой арене Америку. Таким образом, китайская внешняя политика представляется политикой равновесия по отношению к Советскому Союзу. Однако стремящийся к равновесию никогда не может быть агрессором, так как агрессор всегда преследует цель нарушения равновесия (и таким образом — достижения собственного превосходства). В этой связи вызывает особый интерес, что Советский Союз теперь обвиняет Китай и в том, что тот не хочет отмечать тридцатую годовщину победы над фашизмом. Мао Цзэ-дун, по словам партийной газеты Монгольской Народной Республики, уже во время второй мировой войны со «злорадством» отмечал советские поражения.

От такого утверждения недалеко до заявления, что Мао Цзэ-дун — сам фашист и был союзником Гитлера. Степень неразборчивости советской пропаганды особенно ярко проявляется в освещении темы Тайваня. В то время как советские эмиссары — среди них известный кагебист Виктор Луи — ведут переговоры с китайскими националистами, китайским коммунистам делается упрек в том, что они недавно выпустили из заключения несколько генералов Чан Кай-ши. (Как будто люди, поведшие четверть столетия в тюрьме, могут быть чем-либо иным, кроме развалин).

Как раз в свете этих пропагандистских хитросплетений Москвы встает вопрос, не может ли советское военное нападение на Китай быть куда вероятнее, чем и Москва, и Пекин (исходя из разных сооб-

ражений) хотят признать. При этом, исподтишка распространяемая из Советского Союза версия, что советский удар против Китая может быть только превентивным, чтобы предупредить китайское нападение, слишком притянута за волосы, чтобы звучать убедительно. Китай еще в течение десятилетий не может, ни по своему военно-техническому потенциалу, ни по своей инфраструктуре, вести военное наступление большого масштаба. В этом отличие Пекина от Москвы, ибо Советский Союз располагает как раз теми техническими средствами, которых не хватает Китаю. Советское нападение на Китай из-за этого гораздо вероятнее и технически может быть легче представлено себе, чем какая-либо военная операция китайцев против Советского Союза.

В этом вопросе ничего не меняет и советско-китайский пограничный спор на Амуре и Уссури и в районе Синкъянга и Казахстана. Конечно, китайцы утверждают, что сегодняшняя советско-китайская граница создалась в результате «неравных договоров» колониального периода. Те советские политики и пропагандисты, которые с неослабевающей энергией требуют «ликвидации колониализма» во всем мире, не должны удивляться, что китайские коммунисты прикладывают к ним ту же мерку, которую они прикладывают к французам (в Алжире), к португальцам (в Анголе) или еще теперь к южноафриканцам и родезийцам. В то же время китайцы, даже в случае Гонконга и Макао — британской и португальской колоний буквально у дверей Китая, — не приняли никаких мер. Из-за этого вряд ли можно считать, что Пекин намерен пойти из-за пограничного спора на опасную конфронтацию с мощным Советским Союзом. Китайцы могут ждать.

С другой стороны, возникает вопрос, может ли ждать Советский Союз. С каждым днем Китай, хоть немного, приближается к своей цели — стать совре-

менной великой державой. И недалек тот день, когда китайские ракеты смогут донести свой атомный груз до Москвы. Тогда перед Китаем открылись бы примерно те же стратегические перспективы, как сегодня перед Советским Союзом, Соединенными Штатами или даже Францией. Китайцы тогда смогли бы успешно противостоять любому атомному шантажу со стороны «сверхдержавы» — Советского Союза. А Москва тогда навсегда потеряла бы возможность осуществлять политику гегемонии на европейско-азиатском материке.

В Пекине, по-видимому, — хотя в этом никто и не признается, — боятся, что в советском руководстве есть люди, которые хотели бы воспользоваться разрядкой напряженности в отношениях с США и Западной Европой, чтобы рассчитаться с Мао Цзэ-дуном. Китайские коммунисты видят вообще в советской политике разрядки напряженности мероприятие с антикитайской подоплекой. В китайской столице считают, что после того, как своей поездкой в Пекин Никсон разрушил первоначальный советский план — натравить Америку на Китай, Кремль мог бы заинтересоваться «нейтрализацией» Америки и Западной Европы с тем, чтобы выключить китайскую силу «идеологической полицейской акцией».

Уже с давних пор на Западе говорят о возможности советского «превентивного удара» по китайскому атомному центру в Синкъянге. Еще недавно Председатель Совета министров Казахской ССР обвинил КНР в том, что в Синкъянге готовятся «агрессивные мероприятия» против Советского Союза. Китайская агрессия, однако, если внимательно приглядеться, ограничивается — не считая пограничных инцидентов, в случае которых все равно неясно, кто и где начал, — установкой радиопередатчиков и пропагандой на казахском языке. Но и этого доста-

точно в качестве предлога для советской полицейской акции.

Китайским коммунистам, конечно, ясно, что Пекин и административные центры Северного Китая находятся в сфере достижимости советских танковых армий. Это означает, что с советской помощью можно водворить в Пекине «китайского Гусака». Что Китай подготовлен к отражению такой акции, за последнее время демонстрируют каждому посетителю страны. «Народная война», в ходе которой мужчины, женщины и дети ведут партизанские операции против иностранного завоевателя, — официальная основа китайской военной доктрины. В Пекине и Шанхае некоторым иностранцам демонстрируют большие системы бомбоубежищ, которые должны предоставить убежище и защиту десяткам тысяч людей и из которых может вестись оборона улиц и домов от наступающего врага. Слова Мао Цзэ-дуна, по которым китайцы должны «рыть глубокие туннели, устраивать зернохранилища и никогда не стремиться к гегемонии», в этом отношении больше, чем политическая программа. Это — указание к каждодневной практической жизни. Руководящие китайские чиновники жалуются на советские самолеты-шпионы, которые подлетают к границам китайских вод и наблюдают за каждым движением в стране.

В этой связи интересен и тот факт, что победа коммунистов в Индокитае явно вызвала у пекинского руководства двойственные чувства. С одной стороны, победа красных кхмеров в Камбодже и северовьетнамцев и вьетконговцев во Вьетнаме подтверждает правильность маоистского тезиса о «народной войне». В теории китайцы победили. На практике, однако, эта победа была бы невозможна без массивных советских военных и материальных поставок Ханюю. Что же случится, если покинутый американ-

цами Вьетнам превратится в советский сателлит? Китай зажали бы советские «тиски» с севера и юга. Москва могла бы использовать вьетнамских коммунистов для пропагандистских выступлений против Пекина, как это сегодня уже делается с Монгольской Народной Республикой, которая неоднократно бывает рупором Москвы в антикитайской пропаганде. Но за этим виднеется страшный для Пекина призрак: Юго-Восточная Азия, очищенная от американского военного, политического и экономического присутствия, но находящаяся во власти СССР — от Ханоя к Индонезии, Индии, Бирме и Филиппинам. Это очень ухудшило бы международное положение Пекина и могло бы сказаться на внутреннем положении Китая. Таким образом, китайские симпатии по отношению к НАТО и Западноевропейскому союзу — акт защиты против тщеславных мировых стратегических планов Советского Союза. С беспокойством отметили китайские коммунисты и последние советские военно-морские маневры во всех океанах. Эти маневры — самые крупные за время существования советской власти — считаются в Пекине «репетицией» начала третьей мировой войны и показателем, что Москва окончательно отбросила прежние опасения и готова вмешиваться в события на дальних континентах и в чужих морях. И это учитывается и влияет на характер китайской политики.

«Обе сверхдержавы — США и СССР — играют в сегодняшнем мире отрицательную роль». Этот тезис представители КНР сообщают каждому западному посетителю. В то же время, однако, в Пекине делают между обеими сверхдержавами маленькое, но существенное различие: Америка находится «в обороне», Советский Союз, наоборот, «в наступлении». Из-за этого политика советской сверхсилы оценивается в Пекине, помимо известных идеологических споров,

гораздо более отрицательно, чем американская политика. Странная картина: те же китайцы, которые в течение многих лет выпускали целые пропагандные залпы против «американского империализма», сожалеют теперь о слабости США. Им, пожалуй, даже жалко, что Мао Цзэ-дун оказался прав в своем утверждении, что «американский империализм — бумажный тигр».

Прибавляется психологический фактор: и китайские коммунисты остались, несмотря на всю идеологию и всю внутренне- и внешнеполитическую радикальность, — китайцами. Они представители великого народа, который подвергался нестерпимым унижениям со стороны европейцев (англичан, французов, немцев, американцев, но также и русских). В то же время, китайцы остались — даже облаченные в коммунистические мантии — народом, невероятно концентрирующемся на своих внутренних проблемах, на самих себе. Лучшим доказательством этого была культурная революция, когда Китай практически порвал все связи с иностранным миром, только для того, чтобы иметь возможность провести внутривнутриполитический эксперимент. «Группа прагматистов» в КПК, которой сегодня руководят Чжоу Энь-лай и Дэн Сяо-пин, хочет модернизировать страну и добиться для Китая положения великой державы. Лозунг, что Китай должен добиться хозяйственного и политического подъема «собственными силами», — не в последней мере результат неудачного опыта с Советским Союзом. Москва немедленно отозвала из Китая своих техников и экспертов, когда Пекин отказался следовать советской линии. Китайские чиновники еще и сегодня вспоминают, как они внезапно остались с пустыми руками на фабриках: советские техники уехали и увезли с собой даже производственные планы и архивы, по-видимому, надеясь, что китайское хозяйство

развалится. И когда китайцы сегодня говорят о советском «великодержавном шовинизме», они думают в первую очередь о том, что им пришлось перенести.

Но есть еще один довольно верный показатель, что Китай не думает и не может думать об агрессии против Советского Союза. В то время как Москва все еще придерживается приоритета тяжелой (а значит и военной) промышленности, в Пекине приоритет отдается сельскому хозяйству, то есть прокормлению 800 миллионов человек. Тяжелая промышленность отступает на второе место.

Агрессивен ли Китай? Конечно — в идеологическом плане. Китайские коммунисты не отрекаются от своего учения. Но в политическом и военном плане Китай за последние годы придерживается рациональной, сдержанной, осторожной позиции. Принимая во внимание факт, что сегодня китайские военные соединения не находятся на территории никаких других стран, нельзя говорить об «авантюристической» политике Китайской Народной Республики. Советская кампания против Китая, таким образом, не отвечает китайской действительности. Создается впечатление, что Москва намеренно наращивает антикитайские настроения, чтобы создать как у русского населения, так и за границей впечатление «желтой опасности». Китай, конечно, не так бел (вернее, не так красен), как утверждают китайские пропагандисты. Но он и не так черен и страшен, как утверждает советская пропаганда. Китай — тоталитарная страна и в этом отношении не лучше и не хуже Советского Союза. Но в то же время Китай — страна, чье руководство опасается иностранного нападения. Это нападение может произойти — по существующему положению вещей — только со стороны Советского Союза. Китай не может напасть на Советский Союз.

Москва же может напасть на Китай. Из-за этого вспыхнувшая заново советская кампания пропаганды против Китая должна настораживать. Подготавливаются ли уже предлоги для такого нападения?

Религия в нашей жизни

Архиепископ Иоанн Сан-Францисский
(Шаховской)

ПНЕВМАТОЛОГИЯ ВЕРЫ

(Записки Странника)

Эта, несущая свою логику, цепь мыслей и созерцаний была от юности моей одна из близких мне литературных форм выражения Духовидческого измерения жизни и истории.

Я ощущал — и ощущаю — всю недостаточность наших современных построений религиозной мысли, в которой остается костяк истины, но выветривается ее теплота.

Еще в «Пути», у Н. А. Бердяева, в 20-х и 30-х годах, я начал публикацию подобного материала, который потом входил в ряд моих книг 50-х, 60-х и 70-х годов («Время веры», «Письма о любви к Богу и человеку», «Книга свидетельств» и «Московский разговор о бессмертии»). Мне все хочется останавливаться перед пневматологическим, духовидческим измерением жизни и веры.

Наше время особенно зовет вспомнить раннее христианство с его даром «различения духов». Все более видно в мире, что главная борьба человечества — борьба не столько отвлеченных идей (в мире быстро высыхающих), сколько различных духов.



Русские мученики — особые. Они все показывают и доказывают, что они не мученики.

В отношении человека к своему мучению открывается одно из высших измерений свободы.

Людей, не раскаявшихся и не прощенных, преследует их зло. Зло, как предмет, ускоряет свое падение.

Никакой человеческий динамизм не сравним с Божьей любовью, ведущей мир. Но усилия нашей свободы и веры открывают нашу любовь и нас открывают Божьей любви. Вот отчего чужд сердцу рационалистический богословский спор: «Чем спасается человек — верой или делами?» Не верой и не делами, а любовью Божьей, нашей человеческую любовь.

«Имейте в себе соль»... И первая соль наша — просить Христа о соли Его, чтобы удерживалась и умножалась она в нас. Даже малая такая солинка есть богатство вечности.

Пусть не будет пустомельства о Боге. Богословам больше надо молчать о Вышнем. Слово о Нем прополаскивать в девяти ангельских водах.

Странно, что еще и сейчас некоторые люди думают, что в «здоровом теле — здоровый дух». Эти люди недостаточно разбираются в человеческой природе. Физическое здоровье, даже душевное (anima) не обеспечивают человеческого счастья и духа человеческого ни правдой, ни мудростью, ни человечностью.

Конечно, телесное здоровье ценно, но оно часть человека. Вот жил в Гадарисской области, около Галилейского озера, человек необычайно здоровый и сильный физически, а дух его не имел свободы и счастья. Терзаясь, этот человек проявлял явную враждебность к другим людям. Его связывали, но его здоровье было настолько сильно, что он разрывал

свои пути и убегал в пустыню, в свое неблагодарное, трудное одиночество. Тяжко ему было с людьми и тяжело быть в одиночестве.

Зло наступает на человека шумом неумного коллективизма и эгоизмом обособления от людей.

Евангелие пластично показывает, как злой дух гнал человека в пустыню, ввергал в горе эгоистического одиночества. Или оставлял среди непонимающих его людей, «друзей Иова», древнего страдальца. Человек живет либо в изоляции, либо в пустоте общественного возбуждения, становится «великим комбинатором», попадая ко злу в процессе, выявленном Булгаковым в «Мастере и Маргарите»... Разложение личности совершенно одинаково в неблагоприятном солипсизме и в суматошном активизме, который ложно себя считает активностью. В эту активность включается и требование активности в том или другом направлении.

Разнообразные психические и социальные теории уснащают ученое рассмотрение общности и единства. Но так часто они минуют рассмотрение содержания единства и духа общности.

Каков дух нашего уединения, обособления? Каков дух нашей общности с другими людьми?

Ни Маркс, ни Энгельс этим не занимались. Они вряд ли даже подозревали, что есть такая область, есть такое измерение человеческой культуры. Никакого внимания к этой важной области мы и не видели у их учеников.

Зло не любит человеческого самопознания. Особенно ему ненавистна исповедь, если она не пустое извержение слов на кушетке и не тщеславие откровенностью.

Злоба, страх, тщеславие, культ секса, немилосердие, эгоцентризм, корысть, бесчувственность и чувст-

венность, — вот качества, которые никогда не перейдут в лучшее качество из своего количества.

Но мы всегда имеем свободу духа противостоять всякому и количеству и качеству. Вися страдальчески со Христом, рядом с Христом, мы можем повернуть голову к Нему или — от Него. От этого зависит (от этой свободы) наша жизнь.

В мире — не-экзистенциальные единства, неблагоприятные коллективности не знают неповторимого человека.

Жизнь испещрена Божьими поощрениями и человеческими непощениями. Сталкиваясь, они рожают историю. Оттого такая тяжелая двойственность в истории.

«99 частей» любви, которая только есть в человеке, пусть идут, Господи, к Тебе. Тогда одна сотая будет истинной любовью к человеку.

«Пойти в храм» — этого мало! Надо, чтобы тебя туда ангелы впустили. Или понесли.

Все явления, указания Христовы, подобны шепоту Вифлеемского Младенца; почти неуловимы они, в своей глубине. Только чистому слуху открыты. Христос — единственный Младенец, который не кричит, а только шепчет.

Обессиливаясь незаслуженной радостью, вхожу в незаслуженный покой ее. Ты, Господи, даешь нам всем Тебе служить. Это чудо. И Тебя любить — еще большее чудо. Как это бывает, не знаю.

Надо иметь отрешенность возможно большую от всего не-Божьего. Не от плохого только, а и от нейтрального.

Хорошо иметь орлиную зоркость, падать с неба, чтобы добыть хоть крупинку добра на земле. Острое иметь зрение на добро, мгновенно добыть его.

Скучна обычная мысль, тесно в ней. Сколько в ней недорожденного, приблизительного... Но чудеса с неба все идут, как мельчайшие мезоны, в наше слово, в нашу жизнь. От этого не только переносима, но и радостна жизнь.

Вера христианская словно «не очень видна» в истории. Плетения сети истории слишком широки и главное уплывает от историков; они не замечают пневматологического процесса жизни. «Христианство», которое они видят в истории, — это лишь облегченная история сосуществования Церкви с миром.

Кто видит изгнание бесов? Кто видит опьянение истиной? Кто видит сияние богопреданности?

Теплохладность уравнивает чувства. Мы часто волнуемся по пустякам, как дети. Беда нашего христианства не в отсутствии великой истины, а в присутствии человеческой скуки. Истина радостна, а мы скучны. Скучно в нашем богословском мире и в «церковной истории». Люди только Кожу Церкви видят. И только о ней говорят.

Безличный мир природы не в силах всецело завладеть человеком, а от демонического мы так жалко обороняемся своей поверхностной правдой.

В наши дни психология все легче входит в область метафизики. Перефразируя А. К. Толстого, можно сказать, что в современном мире, как в «губернии», не только «охряются», но и психологизируются с плеча «ночлежный дом, острог и каланча». Да, многое что сводится в наши дни к психологии.

Но последняя глубина человека не психологическая, а пневматологическая. И тут нам надо искать свою человечность.

Криминологи производят свои вычисления, основываясь только на частично ими понятой природе человека. Если в прежние века церковные инквизиторы (даже иногда и добрые пастыри) злоупотребляли рационалистической формулировкой правове́рия и слишком смело брали на него патент, то в наши дни люди злоупотребляют относительностью, неопределенностью, психологической невыясненностью человека. Формулировки научного знания растекаются на неизвестно откуда возникающие «комплексы», «травмы»; они почти затопили науку о человеке абстрактными безделушками, которыми и играют психологи, не имея сил найти подлинный, нравственный мир человека. Иной раз определение находят верное, но выхода из трехмерности не видно и указать нельзя.

После моего прибытия в 1946 году в Америку мне пришлось встретиться с таким иррациональным (как, в сущности, все, что относится к пастырству) явлением. Ко мне обратилась мать одного отпущенного из армии и вернувшегося в свою семью американского солдата. У него была хорошая жена и двое детей. Но, не довольствуясь содержанием, получаемым на службе (и, как думал, «ради семьи»), начал он играть в азартные игры. Желая быстро приобрести деньги, он терял их и, когда иссякло его покрытие в банке, начал выдавать необеспеченные чеки. Тут пошла у него полоса столкновений с правосудием, аресты, суды и — чисто американские, гуманные — под разными предлогами — отпуска домой. Души в нем не чавшая (слишком, думаю) мать все возможности свои и своего второго мужа, материальные и моральные, истратила на вызволение и спасение своего единст-

венного сына. Но, выходя из заключения, он снова погружался в мучительную для него и губительную для его близких трясину. Никакими объективными причинами это погружение не вызывалось.

Судебные власти, не впервые видевшие подобный случай, отдали его в руки судебных психиатров (до которых американцы охочи).

Выйдя из тюрьмы, после очередного своего заключения, этот молодой американец пришел ко мне и сказал, что психиатр, занимавшийся с ним в тюрьме, убедил его вот в чем: беда его не в искании быстрого обогащения и своего счастья, а в искании своей гибели, в том, что он хочет погибнуть, ему нравится гибель, он ею заморожен; но стремление это облекается у него в форму спасения семьи и улучшения материального состояния.

Психиатр оказался человеком, понявшим духовную глубину жизни. Все помнят: в «Пире во время чумы» председатель говорит:

«Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю».

Эта мрачная бездна в мире есть таинственная реальность греха, завораживающая его зовы. Тут открывается ледяная бездна. Пьяницы в нее летят. Достоевский в «Игроке» (и в других произведениях) показывает ее. Спасти от тяготения к Бездне, от стремления к ней, кажущегося насладительным, невозможно без призывания и принятия Слова, Силы гораздо более сильной и высокой, чем психическая жизнь человека.

Душа иногда входит во мрак, прельщаясь и его злом именно как добром. «Психология» тогда ничего поделать не может, она не в состоянии объяснить такого явления. Тут не ее уже область, а духоведения,

мир пневматологических оценок. Только в нем нам открывается правда человека.

Надо людям снова учиться каяться. Раньше люди каялись в грехах. Теперь нам надо каяться и в добре своем. Надо просить прощения у Бога и за свое добро, за церковную жизнь.

Не идеи, а духи борются в мире. История пневматологична, хотя историки этого не замечают, вожди и политики об этом не догадываются. Идеи побеждаются и изнашиваются скорее, чем дух неправды, богопротивления. Он изгоняется только Божиим Духом.

Поэт должен писать стихи так, чтобы не было видно мира — из-за стихов. А была бы видна прозрачность нового бытия. Поэзия есть искусство этой прозрачности. Из самого малого стиха можно извлекать большую философскую книгу.

Все стукаешься о пределы своей христианской любви.

Тайна — в Духе. Какой твой дух, таковы и такова твоя близость к Богу, к другому человеку.

Удивительны в Евангелии пневматологические возможности более легкого спасения нищих духом мытарей и блудниц, чем самоудовлетворенных праведников. А фарисеям все кажется несправедливым спасение блудного сына и разбойника на кресте ранее других людей. Для старшего брата притчи, верного Отцу, нестерпимой оказалась особая любовь Отца к блудному раскаявшемуся брату. Узка наша правда. И Христос — новое ее измерение. Христос

открывает Закон, не как норму и справедливость, и программу поведения, а как жизнь в Доме Отца.

Евангелие никого не судит. Мы сами себя отлучаем от Бога. Если бы мы это поняли, стало бы легче жить. Нетрудно спасение человека — Бог так велик. Дело разбойника неуверовавшего не в его греховности, а в том, что он сам закрывает от себя спасение. Наши суждения, осуждения ползут по периферии бытия и затемняют видение Истины и видение Рая сладости в Боге.

«Пути Его для святых прямые, а для беззаконных они преткновенные». Острое, пневматологическое определение Сираха.

Мы живем среди новых замкнутостей, железных и других завес, стен, но и новых диалогов, взаимопониманий, взаимопроникновений.

Люди скучают в своих ограниченностях, и невероятно слабых своих коллективностях, но не признаются в этом друг другу и даже себе.

Более полу столетия Русское Зарубежье ведет диалог с Россией. А кажется, что диалог этот только начался и все явственнее тихие голоса России.

Поэзия должна «дезориентировать в жизни настоящей».

Время веры — истинного узрения вещей.

Засыпая, надо нам примериваться к смерти.

Еврейский национализм — в сущности, единственный религиозно оправданный. И если бы духовное развитие человечества остановилось на дорожке египетской эпохи, еврейский народ был бы жемчужиной всего человечества. Но после Евангелия

он лишь драгоценная раковина от вынутой из нее жемчужины. Больно это осознавать некоторым евреям. И они, по-детски, не могут «простить» Христу, ап. Павлу — в особенности.

Христос — Жемчужина мироздания, а не какого-либо народа. Евреи, понявшие это, стали великими апостолами мира.

Поэзия как-то не терпит экспериментаторства.

Отзвук сексуальной игры и борьбы в мире есть и в спорливости людей.

Вера и надежда идут в темноте, как во свете. Им даже нужна темнота, чтобы видеть Свет.

Человека преследует зло, в котором он не раскаялся. И его догоняет то добро, которое он осуществил.

В зрелом человеке (не тут ли его зрелость?) есть старец и есть ребенок. Иногда нам надо слушаться своего ребенка, иногда своего старца.

Желающий веры в Бога всегда найдет к ней основания. Не желающий ее — найдет к этому поводы.

Без хлеба добро не полно. Хлеб не питает без добра.

Просто говорит Евангелие о возникновении в человеке зла: «Иисус сказал: неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст — из сердца исходит; сие оскверняет человека; ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления: это оскверняет человека»... (Мф., 15 : 16-20)

Материальная ценность, проводящая любовь, и становится настоящей реальностью. Надо все превращать в любовь. Только истинная любовь это умеет.

Когда материальных ценностей, не обмененных на добро, оказывается слишком много, происходит их девальвация. Но человечество снова бросается менять свое время на деньги, вновь накапливает призраки, болезни и умирание. История все девальвируется. Но есть и обратный энтропии процесс — воскрешение личности во Христе.

Материальный мир, до какого-то уровня, помогает человеку, а потом начинает мешать. Важно установить в себе эту черту.

Ускорение производства материальных ценностей есть и ускорение их уничтожения. Змей материи тоже диалектичен: он питается своим хвостом (материалисты этого не видят).

Страшась друг друга, баррикадируясь друг от друга и не доверяя друг другу, люди, однако, безнадежно сплетаются друг с другом. Образ истории.

«Мое только то, что я отдал», — божественно сказал Максим Исповедник. А змей говорит: «Твое только то, что никому не отдал и не отдашь». И история исходит ржавчиной, тлением, пеплом, землетрясениями, наводнениями, несправедливыми указами властей, обвалами неистинных ценностей, болезнью и умиранием. Среди всего этого разложения мира надо понять, что человеку принадлежит (по-настоящему) лишь то, что он отдал.

Жизнь сделать надо каплей славословия Богу. Как ни вглядывайся, нет в ней другого смысла.

Верующих в Бога можно разделить на две части. Одни спрашивают: «Господи, Господи, за что Ты меня наказываешь?» — А другие: «Господи, Господи, за что меня милуешь?»

Проза, говоря о поэзии, показывает этим какую-то немыслимость поэзии.

«Народ Мой глуп — не знает Меня» (Иер., 4 : 22). Эти слова Божии, через пророка Иеремию обращенные к евреям, относятся еще более к христианам, которые крещены, но не знают Христа.

«Я не один, потому что Отец со Мною» (Ин., 16 : 32). Верующий — это антиодинокство.

Надо нам идти на святое заклание всего «своего». Так Авраам пошел на заклание сына своего Исаака. Вера людей — разные формы доверия к Богу.

Только молитва не скучна. И ты в ней не скучен себе.

Верности нигде нет. Она только у Господа. А мир наш стоит на неверностях и полuverностях, движется на изменчивости и непостоянстве. Истина верна (верные мужья, верные жены, верные друзья, люди, верные слову — все это звук верности Божественной).

Смерти человека не существует, а наша история — сплошное умирание. Но, в сущности, серьезного отношения к смерти почти ни у кого из людей нет. Люди просто не верят в смерть, не принимают ее всерьез... Иначе кружилась бы голова у них — так ужасна смерть и так она прекрасна. Безмерный треск легкой скорлупки. Выйдет ли «птенец»? А если не выйдет, вывалится вместо личности «гнилая материя».

Надо понять, что это айсберг. Лишь малая, надводная часть его видна. А главное — в глубинах.

Антирелигиозники стараются доказать, что они «стоят на материалистических позициях». Но они стоят на духовных, только — темных.

Теленедобросовестное видение — не таково ли состояние человечества?

Тягостно видеть пределы своей любви. Горько замечать пределы любви другого человека.

Бывают залежи «потенциального неверия», готового быстро обнажиться, как только человек зазевается. Это потенциальное неверие свое надо пускать по нужным рельсам, в сторону всех ложных идей и ценностей.

В духовном отцовстве, в старчестве, надо переходить на язык почти неслышимый, улавливаемый лишь сердцем. Этот язык должен быть все более ясен. Имплицитное указание глубже, чем эксплицитное, потому что слова и понятия этого мира грубы.

Мир в опасности не от перенаселения людей, а от недостатка святой веры в них. «По вере вашей будет вам», — значит, и по неверию.

В отношениях между нами, людьми, есть пределы близости. И пределы отдаленности. Нельзя человеку их ни в ту, ни в другую сторону перейти. И амплитуда наша невелика.

Ирония возникает, как род защиты от преувеличения мелкого и деградации великого.

Серьезность удивительно сочетается в человеке с несерьезностью. От сочетания света со тьмой рождается серость.

В 1748 году Ломоносов сочинил надпись для иллюминации в честь России:

«Воюет воинство твое против войны,
Оружие твое Европе мир приводит».

Удивительно, как давно считают, что «войны нужны для прекращения войн». Бедное человечество!

Образ компьютера ведет к познанию человечества, показывая меру и возможность нашей свободы. Добро и зло всякий из нас свободно закладывает и в программу Промысла о мире. История есть точный результат, сегодняшнее следствие всех 3,5 миллиарда человеческих свобод.

Некоторые слова пишутся с большой буквы. Может быть, некоторые слова следовало бы писать с буквы меньшей, чем другие буквы этого слова.

Пророчеств не достигает и от лжепророчества спасается поэт слабостью своих стихов.

Славьте Господа, все атомы и клеточки мои, все чувства и мысли, микробы и бактерии — восхваляйте Господа Бога нашего, не умолкайте.

У нас нет слов, дыхания, гортани, языка, чтобы соответственно Богу благодарить Бога. Неимоверны Твои, Господи, дела и дары нам. И даже, чтобы их принять, не сгореть от них, нужен особый Твой дар.

Как можно верить в Бога, Который не вочеловечился? Такого не может быть.

Когда мы стоим на коленях перед Богом, тогда мы на коленях у Него.

ИСТОКИ

Николас Бетелл

ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА

(Продолжение)

Три великие державы, договорившиеся между собой путем переписки и частных разговоров об обмене военнопленными, решили облечь свой договор в письменное соглашение, и наиболее удобным моментом была избрана Ялтинская конференция, которая началась 5 февраля. Сначала надо было определить рамки этого соглашения. Будут ли американцы в состоянии поддерживать политику репатриации только людей, «признавших свое советское гражданство»? Британское Министерство иностранных дел указывало Идену: «Мы опасаемся, что такая поправка неизбежно приведет к затяжной дискуссии с советским правительством и сведет на нет все достигнутые прежде соглашения». К тому же, американцы приняли английскую формулировку и согласились включить в договор, наряду с военнопленными, и перемещенных гражданских лиц. Как только эта трудность была преодолена, дискуссия пошла гладко. Эдди Пэйдж и Джон Дин, с американской стороны, Дин и Генри Филлмор, с английской, и представитель СССР Кирилл Новиков провели много часов, обсуждая такие детали, как рационы питания для освобожденных союзных военнопленных и оплату работы,

которую они должны были выполнять для своих освободителей. Само собой разумеется, что русские будут работать в Англии и США, но когда дело коснулось логически вытекающей из этого возможности принудительного труда англичан и американцев, то возникли значительные трудности. Итак, все пошло своим ходом, и самый сложный вопрос соглашения — решение о насильственной репатриации русских — почти не дискутировался.

10 февраля на Юсуповской даче состоялся разговор между Сталиным и Черчиллем, при котором присутствовали только Иден, Молотов и два переводчика: Павлов и Бирзе. Отчет гласил:

Премьер-министр говорил о трудностях, связанных с большим числом русских военнопленных на Западе. У нас их около 100 тысяч. 11 тысяч уже отправлено домой и в следующем месяце будет отправлено еще 7 тысяч. Он хотел знать, что думает маршал об остальных. Маршал Сталин выразил надежду, что они будут отправлены как можно скорее... с теми, кто воевал на стороне немцев, разберутся в России.

Надо полагать, что Иден и Черчилль прекрасно понимали, что подразумевает Сталин под словом «разберутся», но они уже связали себя обязательствами и не спорили. На другой день были подписаны два соглашения на двух языках: английское — Иденом и Молотовым, американское — военным атташе при посольстве Соединенных Штатов в Москве генерал-майором Джоном Дином и советским генерал-лейтенантом Грызловым. За исключением деталей, они были сходны по содержанию.

В текстах этих соглашений не было ничего, что указывало бы на принудительную репатриацию граждан и на возможность применения для этой цели насилия, но в свете октябрьской встречи в Моск-

ве и других предварительных переговоров именно таковым было их реальное содержание. Все же, несмотря на «приглушенный тон» наиболее неприятных аспектов этих документов, все три стороны сочли самым разумным держать их в секрете. Сталин сказал, что «этот вопрос не входил в программу Конференции и он думает, что его не следует включать в отчеты». Белый Дом сделал вид, что это соглашение заключено только ради пользы военнопленных и ни для чего более. Когда в Министерство иностранных дел в Лондоне, поступил запрос, следует ли данный документ опубликовать и зарегистрировать в ООН, как и все другие, младший служащий Министерства Томас Бримлоу наложил на этот невинный запрос резолюцию: **К а т е г о р и ч е с к и** отказать. Это соглашение должно держаться в секрете».

15 февраля три английских корабля отплыли из Ливерпуля с грузом в 7 тысяч советских военнопленных. «Они прыгали в море на протяжении всего пути», — вспоминает полковник Томлин. Несколько человек спрыгнуло во время прохождения Гибралтара, несколько других — в Дарданеллах. В Одессе, после высадки военнопленных, суда обыскивались советскими охранниками, чтобы ни один не вернулся назад в Англию.

Но и в самой Англии советские военнопленные причиняли много хлопот. К весне 1945 года общая ситуация для них прояснилась: всякий, кто объявит себя советским гражданином, будет послан на родину, хочет он этого или нет. Следовательно, для тех, кто боялся наказания и хотел остаться на Западе, единственной надеждой было доказать англичанам свое несоветское происхождение. Чтобы достичь этой нелегкой цели, они шли на разнообразные уловки, ибо между Советским Союзом и другими странами существовало серьезное различие в понимании того, что такое советский гражданин. Англия и Соеди-

ные Штаты не признавали советскими захваченные в 1939 и 1940 годах территории: Западную Украину, Западную Белоруссию и прибалтийские государства — Литву, Латвию и Эстонию. Поэтому они не могли признать советским гражданином человека, проживавшего на одной из этих территорий. Нежелающие возвращаться скоро поняли, что они могут избежать этого, если сумеют доказать, что до 1939 года они проживали вне пределов Советского Союза.

Поэтому англо-советской комиссии под председательством главы Советской Военной Миссии в Англии генерала Ратова и офицера связи между Миссией и Военным Министерством бригадира Р. Файрбрейса был поручен разбор подобного рода доказательств. Ратов и Файрбрейс провели много часов, обсуждая «спорные случаи» непризнания своего гражданства. Оба офицера имели подчиненных, говорящих на языках этих территорий, так что обычно национальная принадлежность того или иного человека определялась по его языку. Например, отказывали в признании кого-либо украинцем Западной Украины, если он говорил только по-русски. Он должен был в совершенстве знать украинский, а также польский, так как до войны эта территория принадлежала Польше. Никто не мог доказать свое происхождение из Прибалтики, если не говорил на языке одной из этих стран, а Файрбрейс достаточно хорошо знал эти языки, чтобы определить, говорит человек правду или лжет. Подобные языковые тесты могли применяться и к старым эмигрантам, прошедшим на Западе время между двух войн, так как за 27 лет советского режима русский язык заметно изменился. Чуткое ухо могло уловить разницу между русским языком 1917 и 1945 годов.

Первое заседание такого рода состоялось 12 апреля. За 8 часов напряженной работы Ратов и Файрбрейс разобрали 50 случаев. Ратову помогали 4 со-

ветских офицера, консул Кротов и стенографистка, фиксирующая каждое слово допрашиваемых. Единственная задача Файрбрейса заключалась в том, чтобы определить, имело данное лицо советское гражданство в 1939 году или нет. Если он решал, что это имело место, человек отправлялся в новый советский лагерь в Ньюландс Корнер, близ Гилфорда. Если он так не думал и Ратов с ним соглашался, чего он обычно не делал, то имя человека вносилось в «спорный список» и он содержался в отдельном лагере до окончательного решения.

14 апреля Файрбрейс отправил Кристоферу Вернеру в Министерство иностранных дел печальное письмо:

Вы поручили мне самую неприятную работу, которую только можно придумать, потому что все те, кто признает свое советское или польское гражданство, за редким исключением, горячо протестуют против возвращения в Советский Союз и даже в Польшу. Многие указывают на веские причины нежелания вернуться, опираясь на свой жизненный опыт в Советском Союзе и даже в Польше после вступления туда Красной Армии. Все это сводится к одной и той же длинной истории расстрелов, арестов, преследований и высылки семей. Они утверждают, что не хотят вернуться в страну, где происходит такое и где человек лишен всяких прав. Здесь были и кулацкие дети из мест, куда Макар телят не гонял, а один юноша рассказывал, что находился в тюрьме с двенадцати лет, пока его не освободили, чтобы взять в Красную Армию. Большинство из них говорило, что предпочитает смерть возвращению в Советский Союз, и предлагало англичанам лучше расстрелять их, чем выдать советским. Я никогда в жизни не видел такого страдания и такой степени отчаяния.

Файрбрейс подкрепляет свое письмо рядом частных подробностей. Так, один человек открыто сказал Ратову, что он не хочет возвращаться на родину, потому что ему стыдно называть себя советским гражданином. Его отец был священником, которому, чтобы он не мог проповедовать, советские сначала отрезали язык, а потом расстреляли его. Сам он несколько лет провел в тюрьме, потом бежал и месяцы скрывался в лесах, как преследуемый зверь, пока не разразилась война и он присоединился к немцам. Дюжины подобных историй открыто и бесстрашно бросались в лицо советскому генералу и его офицерам, очевидно для того, чтобы сделать еще более трудной для англичан моральную проблему их выдачи Советам.

Ратов выслушивал все эти тирады, не делая попыток прервать говорящих, но положение его казалось очень неудобным. «Ему явно не доставляло удовольствия, что советские методы раскрываются в присутствии английских офицеров», — замечает Файрбрейс. Но каждое слово записывалось советской стенографисткой, и Ратов, очевидно, утешал себя тем, что, попав в Советский Союз, каждый заключенный дорого заплатит за свой вызывающий тон. Файрбрейс чувствовал себя «крайне неудобно и очень переживал» всякий раз, когда был вынужден соглашаться с Ратовым в несомненности советского гражданства того или иного лица и, следовательно, в неизбежности его репатриации. Но каковы бы ни были его симпатии, приказ был ясен, и он не мог спасти никого, кто не предъявлял убедительных доказательств своего несоветского происхождения.

Только однажды, рассказывает Файрбрейс, он поддался эмоциям и спас человека. Это был военнопленный, который указал пальцем на Ратова и прокричал: «Вы убили мою мать, вы убили моего отца, вы убили моих братьев, и я прошу английского ге-

нерала, чем отправлять меня в Советский Союз, лучше расстрелять тут же на месте». После такого взрыва Файрбрейс не мог найти в себе силы осудить на смерть этого человека. Он сказал Ратову, что, по его мнению, этот человек поляк, и, хотя это было явно бездоказательно, его занесли в «спорный список», на время избавив от опасности.

Но это был единственный случай, когда Файрбрейс путем заведомой лжи спас человека. «Я хотел бы спасти и других, но это было невозможно, приказ был ясен», — говорит он. Он знал, что если постоянно будет нарушать его, то навлечет на свою голову гнев не только Ратова, но и своих начальников, в особенности из Министерства иностранных дел. Конечно, военнопленные находились в Великобритании и под английским контролем, но Ратов не упускал случая дать понять, что произойдет, если он не добьется своего и не получит под свою опеку всех лиц, чье советское гражданство установлено. За обедом 11 апреля он имел с Файрбрейсом длинный разговор, во время которого заявил, что если англичане будут действовать таким образом, советские власти задержат в Одессе 50 английских военнопленных. «Как вам это понравится?» — усмехнулся он. Весь походе, Файрбрейс ответил: «Хотя ваши слова звучат как плоская острота, все же я сообщу о них в высшую инстанцию». Было бы лучше не придавать этому значения, но в глубине души Файрбрейс знал, что советские власти способны на это, а в таком случае он нес бы личную ответственность за неприятные для английских солдат последствия.

Файрбрейс был одним из первых английских офицеров, попавших в страшную моральную ситуацию: выполняя требования высокой политики, делать то, что ему отвратительно. Ему было сказано, что имелись серьезные причины для подписания Соглашения и для его выполнения. Он располагал лишь не-

большой частью информации, которой обладали ведущие переговоры дипломаты. Единственно, что он знал твердо, это то, что он вынужден был делать работу, которая с моральной точки зрения была ему противна.



28 марта помощник Файрбрейса полковник Томлин сообщил по телефону Патрику Дину тревожные новости: «К несчастью, один из русских, подлежащих выдаче, повесился в лагере Скарсбрук перед самой отправкой партии в Ливерпуль, а другой перерезал себе горло на пристани в Ливерпуле и находится при смерти».

Полковник Томлин вспоминает, как он поднялся на корабль и в одной из кают нашел умирающего. Он хотел отправить его в береговой госпиталь, но советские представители настаивали на том, что тот должен быть отправлен вместе с кораблем. Эти новости вынудили Патрика Дина ответить: «Крайне неприятно, что мы отсылаем в Советский Союз лиц, которые, какова бы ни была их степень сотрудничества с немцами, предпочитают покончить с собой, чем вернуться в собственную страну». Тем не менее, продолжал он, эти люди несомненно относятся к категории советских граждан. Великобритания связана международным соглашением об их выдаче и должна поступать соответствующим образом.

Но человек умер, и Дин очень беспокоился, что надо начинать расследование, а это означало бы просачивание информации в прессу и возможность разоблачений некоторых аспектов Ялтинского Соглашения. Дин писал, что за последнее время имели место четыре или пять случаев самоубийств, а это давало повод для политических осложнений. В конце концов прессе «посоветовали» не касаться этого воп-

роса. Время было военное и журналисты поступили так, как им было сказано.

Путешествие в Одессу было тяжелым и сопровождалось напряженными отношениями между английскими и советскими офицерами. Английский переводчик Чеслав Есман рассказывал, что на борту «Альмансоры» с военнопленными проводились постоянные беседы, имеющие целью подготовить их к возвращению к советской реальности. Им говорили, что Англия согласилась освободить их и отпустить домой только под сильнейшим нажимом. Пленным, которые задавали невинные вопросы о качестве питания на судне, докладчики отвечали, что «Альмансора» — это образцовое судно английского торгового флота, а на других кораблях условия гораздо хуже.

В Стамбуле судно остановилось, чтобы подобрать четырех советских граждан, которые спрыгнули в Дарданеллах с предыдущего корабля и были задержаны турецкой полицией. Когда пленных взяли на борт, старший из советских офицеров майор Шершун откровенно сказал англичанам, что задержанные, по всей вероятности, будут отправлены в «исправительно-трудовые лагеря». Проблема заключалась в том, объяснил он, что невозможно сказать со всей определенностью, кто из военнопленных сотрудничал с немцами, а кто нет.

«Альмансора» прибыла в Одессу 18 апреля, и в тот же день, как только русские сошли на берег, Есман услышал две пулеметные очереди за большим строением на пристани. Несколько позже ему удалось поговорить с одним из советских охранников, и тот сказал, что это расстреляли на месте двоих за сотрудничество с английской полицией и за то, «что они продались капиталистам». Он доложил об этом капитану корабля Баннистеру и старшему из английских офицеров полковнику Бойлу, однако официального протеста не последовало. Теперь военно-

пленные были советскими гражданами на советской территории и их судьба больше не касалась англичан.

Но самые страшные события произошли на английском судне «Эмпайр Прайд», которое отплыло из Ливерпуля 23 мая. С самого начала было ясно, что это будет весьма трудное путешествие. Среди русских имелось много больных — сказывались условия их пребывания в немецких лагерях. Несколько человек страдало туберкулезом в тяжелой форме и не надеялось дожить до конца пути. Больных было так много, что корабельный госпиталь не мог вместить всех. В партии находилось и несколько женщин, большинство из которых были беременны.

Пленных сопровождали два офицера из группы Файрбрейса: Джеймс Мартин и Джордж Юматов — канадец русского происхождения, чья семья эмигрировала в 1920 году, а также полковник Мирошниченко из Советской Военной Миссии и два его подчиненных. Неприятности начались уже при погрузке трех тысяч русских. Основную массу людей привели к пристани, построили в колонны. Некоторых внесли на борт на носилках. Группу примерно из 12 человек сопровождала усиленная охрана, по два солдата на военнопленного. Когда группа подходила к сходням, один из военнопленных наклонился, разбил о землю армейскую кружку для чая и осколком перерезал себе горло.

Мартин и Юматов приготовились отправить его в госпиталь в Ливерпуль, но тут вмешались советские офицеры, которые требовали доставить его на судно. Его имя значилось в списках, сказали они, и оставить его ни в коем случае нельзя, к тому же судно хорошо оборудовано для медицинской помощи. Английский врач осмотрел истекающего кровью и тут же на месте зашил ему горло. Его доставили на корабль и заперли на гауптвахте. Юматов пишет:

Этот человек был раздет догола и его руки были крепко привязаны к койке. Тем не менее он дважды срывал перевязку, хотя военврач обещал ему взять его под свою опеку. Вида этого человека, каюты, забрызганной зеленой краской и кровью, — я никогда не смогу забыть.

30 мая, когда «Эмпайр Прайд» проходил Гибралтар, человек по имени Дашенко прыгнул в море и быстро поплыл к африканскому берегу. Была объявлена тревога и начаты поиски, которые, однако, не увенчались успехом. Через несколько минут капитан сказал, что нет никакой надежды обнаружить его в темноте, и корабль продолжал свой путь. Юматов вспоминает, что ширина Гибралтарского пролива достигала здесь восьми миль и берега казались очень далекими. Человек, который спрыгнул, мог видеть только мерцающие огоньки. Маловероятно, что Дашенко достиг Африки, скорее всего он утонул. Через несколько дней еще несколько русских прыгнули за борт в Дарданеллах. Их подобрал турецкий патрульный катер и один из них после попытки перерезать себе бритвой вены был доставлен обратно на судно. Он был арестован и заперт в камеру.

Самым неприятным во всем этом путешествии было поведение военнопленного майора Поляченко, который каждый день приносил Мирошниченко и другим офицерам Военной Миссии списки имен лиц, сотрудничавших, как он утверждал, с немцами или совершивших другие преступления против советской власти. Часть из них, всего тридцать один человек, были тут же арестованы и заперты в камеры, но Поляченко доносил каждый день на 15-20 человек и для всех его жертв камер не хватало. Поэтому, думает Юматов, остальные оставались на свободе, не подозревая, что их имена внесены в черные списки. Английские офицеры со страхом наблюдали за собы-

тиями и ждали, что же произойдет, когда они придут в Одессу.

Корабль причалил к одесской пристани 10 июня в 6.30 вечера и тут же началась разгрузка. Большинство военнопленных сходило на берег без охраны и не сопротивляясь, но Юматов и Мартин были потрясены тем, что русские почти не проявили заботы о больных. В своем рапорте Юматов сообщал:

Советские представители отказались признать кого бы то ни было лежащим больным и даже умирающим было приказано нести на себе собственные вещи. Вынесли только двоих: человека с ампутированной правой и сломанной левой ногой и другого, находящегося без сознания. С тем, кто пытался кончить самоубийством, обращались так грубо, что его раны открылись и кровоточили. Его спустили с судна и провели за здание склада на пристани. Раздался выстрел, но ничего не было видно.

После того как между 10 и 11 часами на берег сошли остальные, Юматов увидел, как военнопленных в количестве 31 человека, находившихся на судне под строгим арестом, провели в пакгауз в пятидесяти ярдах от причала. Через 15 минут из пакгауза раздалась громкая пулеметная очередь. Юматов говорит: «Мы переглянулись и кто-то из нас сказал: «Ну вот, этим ребятам конец». Еще через 20 минут из пакгауза выехал крытый грузовик и направился к городу. Видя, как этих людей сгружали с судна, офицеры не были удивлены, услышав выстрелы. Однако для них было неожиданным, что среди этих военнопленных находился и Поляченко — доносчик и главный помощник в составлении черных списков, который, по всей видимости, был убит вместе со своими жертвами.

В Уайтхолле* отчет Юматова вызвал переполох. Файрбрейс проверил по своим спискам имена 31 жертвы и пришел к выводу, что все они отказывались вернуться в Советский Союз или пытались избежать репатриации, выдавая себя за польских военнослужащих. Все это усиливало его тревогу за судьбу людей, которые проходили перед Объединенной комиссией и заносились в спорный список: «Этот отчет помог мне понять, что необходимо более тщательно рассматривать все спорные случаи, и я могу только надеяться, что ни один человек из этих списков никогда не будет отправлен в Советский Союз». Он напомнил Министерству иностранных дел, что, с советской точки зрения, советским подданным является каждый житель прибалтийских государств и Западной Украины, а также и многих других территорий, и что только благодаря непризнанию Англией этих претензий некоторые военнопленные избегают общей судьбы. «Нет ни малейших сомнений, что такие люди были бы расстреляны немедленно по прибытии», так как они открыто рассказывали о поведении Красной Армии во время вторжения 1939 и 1940 годов, а каждое их слово фиксировалось на бумаге, заключает Файрбрейс.

Подошел конец июня. За шесть предыдущих месяцев 32044 советских гражданина было на кораблях вывезено из Англии: часть северным путем в Мурманск, часть через Средиземное море в Одессу. Русская проблема в Англии подходила к концу. Оставались лишь «спорные случаи», несколько больных и те, кому удалось скрыть свое гражданство. Несколькими неделями позже практика пересылки военнопленных с континента в Англию прекратилась. Проще было оставлять их на континенте. И по мере того

* Лондонская улица, на которой находятся основные правительственные учреждения. (Прим. переводчика).

как надвигался разгром нацистской Германии наступающими с востока и запада огромными армиями, становилось все более ясно, что скоро станет возможной репатриация и сухопутным путем.

После того как 30 апреля Гитлер покончил с собой и власть нацистов заметно ослабла, миллионы людей были освобождены из лагерей и расплылись по всем направлениям. И когда неделей позже Германия формально признала поражение, стало ясно, что эти «перемещенные лица» представляют собой колоссальную проблему, даже еще более важную, чем разоружение и контролирование бывших врагов.

5 мая по всей Европе на многих языках была передана по радио инструкция генерала Эйзенхауэра для перемещенных лиц: «Не покидайте ваших мест. Ждите приказов. Объединяйтесь в небольшие группы соотечественников и выбирайте ответственных, которые будут иметь дело с военными властями союзников». Конечно, для американцев и граждан Западной Европы проблема не стояла так остро. Они уезжали домой, их ждали родственники и друзья. Но на Востоке рушились государства. Национальные границы передвигались на сотни миль, неся смерть и разрушения в огромном масштабе. Штыками Красной Армии насаждались левые правительства. Многие беженцы с большой тревогой смотрели на будущее и не были склонны возвращаться домой.

Одной из таких стран была Польша, и инструкция Эйзенхауэра учитывала тот факт, что автоматическое возвращение поляков на родину невозможно. Поэтому он объявлял: «Полякам, освобожденным на территории Германии и поступившим в ведение Верховного Командования, должна быть предоставлена возможность высказать свое желание относительно возвращения в Польшу. Каждый случай должен рассматриваться индивидуально». Отношение к русским было иным. Было сказано просто: «Все русские, ос-

вобожденные на территориях, находящихся в ведении Верховного Командования, должны быть переданы советским властям как можно скорее».

Этого было достаточно, чтобы проницательные журналисты забили тревогу, и 24 мая «Нью-Йорк таймс» писала с вызывающей удивление точностью: «Очевидно, на Ялтинской Конференции было решено, что все проживавшие на территории Советского Союза до 1939 года лица будут высланы обратно в Россию. Теперь их репатрируют, несмотря на нежелание многих». 30 мая лондонская «Дейли геральд» объявила, что «все лица русского происхождения будут насильственно возвращены, хотя бы они этого или нет». Теперь тайное соглашение стало известно многим союзным офицерам. В конце концов оно просочилось на страницы прессы, но освещение этих событий не могло произвести сильного впечатления на западную публику. Лишь немногие англичане и американцы знали, что для осуществления репатриации применяется насилие и что многие русские предпочитают покончить с собой, чем вернуться на родину.

Репатриация русских с немецких территорий производилась на скорую руку, без тех сложностей и формальностей, которыми она сопровождалась в Англии. Как сообщает один американский офицер: «Многих из них просто впахивали в поезда, не задавая лишних вопросов». Английским и американским офицерам было просто приказано передавать русских советским офицерам, для чего их надо было приводить или привозить на обменные пункты, расположенные на границе между зонами оккупации. 2 июня «Дейли геральд» сообщила, что ежедневно переправляются через границу по 10 тысяч русских, причем большинство из них женщины. Чтобы переправлять их, через Эльбу сооружен понтонный мост. Газета «Таймс» изображала процесс репатриации в розовом свете и писала, что «у всех только одна

цель — вернуться домой». «Дейли геральд» тоже создавала впечатление, что миллионы русских жаждут вернуться в Советский Союз. Ее репортеры наблюдали, как транспорт с 1600 русскими входил на территорию советских оккупационных войск у Веддендорфа. Они видели вагоны, украшенные лозунгами: «Да здравствует наше Отечество!» «Слава вдохновителю наших побед великому Сталину!» Во всем этом не было ничего, внушающего тревогу: «Казалось, никто не протестовал против возвращения в Россию. Всю ночь они провели в дороге, но они смеялись, пели, шутили и жестикулировали. Пели под аккордеон. Тут же брнчали на балалайках».

В конце войны в западной части Германии находилось немногим менее двух миллионов советских граждан, и процесс их репатриации проходил так интенсивно, что за два месяца советским властям было передано 1 393 902 человека. Сведения об этом хаотическом периоде отрывочны и трудно сказать, сколь многие из них оказывали сопротивление. Как рассказывают некоторые младшие офицеры, ведавшие отправкой, большинство возвращалось домой добровольно, хотя и сомневаясь, очевидно, в доброжелательном приеме, так как они сдались только под влиянием строгого предупреждения Сталина, но не ожидая в виде наказания 10-ти лет трудовых лагерей. Другие сопротивлялись с самого начала. Несколько офицеров рассказывали автору этих строк, что некоторые русские выскакивали из поездов, отправляющихся на восток, некоторые просили охрану лучше расстрелять их, чем выдавать советским властям. Но большинство понимало, что англичане и американцы получили приказ выдать их насильно и обязаны подчиняться приказу, поэтому они покорились судьбе и не сопротивлялись. К тому же в их интересах было притворяться довольными своим воз-

вращением и как можно чаще высказывать свою лояльность, так как это вселяло надежду на прощение.

Немногие из этих двух миллионов могли бы доказать свою полную непричастность к какому бы то ни было виду сотрудничества с врагом. Сотни тысяч советских граждан добровольно и с энтузиазмом сражались на стороне немцев. И было бы странно, если бы это было не так. Ни одна страна не терпит вторжения врага, особенно столь бесчеловечного, как нацисты, и только степень социальных потрясений, происходивших в Советском Союзе перед взрывом войны, побудила многих его граждан — не менее миллиона — с готовностью взять в руки оружие и сражаться на стороне врагов. Как пишет Солженицын в «Архипелаге ГУЛаг»: «А во «власовские» отряды вермахта их могла привести только последняя крайность, только запредельное отчаяние, только неутолимая ненависть к советскому режиму, только презрение к собственной сохранности».

Среди них наиболее яростной антисоветской группой были казаки. Еще раньше, чем власовцам, им было дано разрешение формировать полунезависимые отряды в составе немецкой армии и они завоевали репутацию хороших бойцов. 17 мая фельдмаршал Александр телеграфировал в свой Главный Штаб в Лондоне, запрашивая инструкций, что делать с 50 тысячами казаков и 25 тысячами хорватов, находившимися на его территории. Быстрое решение, писал он, «поможет нам разгрузить людские скопления в Южной Австрии». В то же время он выражал беспокойство, что «в каждом отдельном случае возвращение этих людей на родину могло бы оказаться роковым для их судеб».

На другой день начальник британского Главного Штаба военно-морских сил Эндрю Каннигэм ответил, что казаки наверняка должны быть возвращены в Россию, так как их случай предусмотрен Ялтин-

ским Соглашением. 20 мая Черчилль в письме к начальнику своего личного штаба генералу Эсмею выразил обеспокоенность этой проблемой:

Что вы знаете о количестве русских, которые были взяты в плен немцами и освобождены нами? Можете ли вы отделить тех, кто просто работал на немцев, от тех, кто активно боролся против нас? Не могли бы вы сообщить мне дополнительные сведения о 45 тысячах казаков, о которых говорил генерал Эйзенхауэр? Как они очутились в их настоящем положении? Боролись ли они против нас?

Черчилль не довел до конца дело, которое тревожило его, он получал крайне туманные ответы на свои вопросы и приходили они уже после того, как операция пошла своим ходом. 29 мая Александер получил приказ Главного Штаба передать в установленном порядке казаков и хорватов Сталину и Тито. Фактически репатриация началась без особого приказа, основываясь просто на положениях Ялтинской Конференции, и уже произошел целый ряд кровавых инцидентов. Дальнейшее изложение покажет, что для английских солдат это был самый ужасающий эпизод за всю войну.

(Окончание следует)

Йозеф С м р к о в с к и й

НЕОКОНЧЕННЫЙ РАЗГОВОР

Этот разговор с Йозефом Смарковским мы записали на магнитофон в то время, когда события 1968 года уходили в прошлое и вокруг них создавалось некое подобие тумана, сплетенного из различных мифов и прежде всего из официальных искажений, вызванных стремлением дискредитировать один из наиболее значительных периодов современной истории наших народов. Смарковский вспоминает в этом разговоре о том времени, которое он по праву считал самым напряженным не только для его собственной политической работы, но для всего чехословацкого коммунистического движения, представителем которого он чувствовал себя до последних минут своей жизни. В 1968 году для Смарковского — при его активном участии — должна была, после всех исторических перипетий, наконец осуществиться идея, ради которой он когда-то вступил в КПЧ, причем идея созревшая, объединявшая позитивный синтез существовавших некогда иллюзий и веры с реальностью, преодолевшая наивные предрассудки и самоспасительное насилие, которое должно было вести несовершенных людей нетерпеливо, часто против их воли, прямо в рай. Он ничего не упрощал. Он знал, что и это развитие не избежит трудностей, что нелегко будет найти хрупкую границу, за которой свобода перерастает в разрушительную анархию, а дисциплина — в умертвляющую диктатуру. Ему было ясно, что такая граница не существует раз и навсегда, что за нее надо будет снова

и снова бороться по мере того, как будут изменяться люди и окружающая среда, в которой они живут. Поэтому он считал крайне важным, чтобы о 1968 годе сохранилось как можно больше материалов, чтобы осталось по возможности наибольшее количество подлинных сведений для всех тех, кто будет заниматься этим периодом и критически изучать его.

Следующий ниже текст первоначально не должен был служить окончательным вариантом. Смрковский рассчитывал на то, что многое он еще дополнит. Однако текст этот теперь приходится считать окончательным, так как смерть прервала работу Йозефа Смрковского.

Опубликовать эти неоконченные мемуары мы решили по многим причинам. Одной из них было то, что Смрковский сам считался с такой возможностью. Он только хотел, чтобы мы опубликовали некоторые дополнительные факты, потому что в больнице в его распоряжении не было соответствующих документов. По понятным причинам он и дома не мог работать над текстом. Так случилось, что нам почти ничего не пришлось исправлять. Смрковский, далее, просил нас, чтобы мы тщательно взвесили, какие данные надо из текста выпустить. Мы выполнили это его пожелание, — во-первых, руководствуясь его указаниями при записи разговора, во-вторых, поступая по собственному усмотрению. Эти вычеркнутые места, которых, между прочим, очень мало, не авторизованы прямо, и ответственность за них несет составитель. Мелкие дополнения, составляющие во всем тексте максимум 13 строчек, были сформулированы и внесены нами только там, где Смрковский сам просил, что именно надо дополнить. В этих вычеркнутых местах и дополнениях речь идет только о фактах, взглядов они не касаются.

Наконец, надо сказать, что мы сохранили разговорную речь, — то проявление личности, которое навсегда запечатлело оратора и рассказчика Йозефа Смрков-

ского в памяти тех, кто с ним когда-либо встречался лично или как слушатель его политических выступлений.

Ондржей Петр

ГОВОРIT ЙОЗЕФ СМРКОВСКИЙ

ОП: 1968 год — это прошлое. И все же — мало есть вещей более современных. ЦК КПЧ одобряет «Уроки кризисного развития КПЧ»¹, и кажется, что даже для нас, «проигравших», если так можно выразиться, 1968 г. становится чем-то мифологическим. Так что, вначале — классический вопрос: «С чего начать?»

ЙС: Январские события 1968 года начались, собственно, уже на октябрьском (1967 г. — Ред.) заседании Центрального Комитета партии, где должны были решаться, или же стояли на повестке дня, проблемы партии. Все заседание проходило в тоне критики практической политики партии. Речь шла о проблемах внутрипартийных, о реформе экономики, о взаимоотношениях между чехами и словаками с точки зрения господства. Словаки проявляли справедливое беспокойство в отношении пражского централизма и бюрократизма. Речь шла также о поведении правительства на практике. Тогда даже Антонин Новотный остро критиковал правительство, говоря, что «правительство не правит».

Обсуждение было настолько бурным, что потребовали, чтобы оно не кончалось, а продолжалось на новом заседании. Боровка² требовал не закрывать заседание, а созвать заседание новое и продолжать дискуссию.

В конце декабря 1967 года все эти вопросы решались на заседании Президиума ЦК партии, и там возник новый момент — по инициативе секретарей,

или же некоторых членов Президиума, которые, однако, все это немного упрощали. Они выступили с требованием разделить посты. Один человек — первый секретарь и другой — президент. Вот что нужно было Президиуму ЦК партии, вот о чем шел спор, о котором мы знали очень мало. Мы узнавали, что происходит одно собрание за другим, но что на них ничего не решается. Заграничное радио тогда сравнительно много обо всем этом передавало; и в конце декабря я попросил некоторых членов Президиума ЦК партии, чтобы они мне сказали, в чем, собственно, состоит дело. Тогда же я посетил Яромира Доланского³ и Любомира Штроугала⁴ и попросил их объяснить мне, о чем идет спор в Президиуме, в чем там заключается дело.

При этом было интересно, какая там царила атмосфера. Когда я пришел к Доланскому в здание ЦК, то он попросил меня, чтобы мы пересели на другой конец стола в его кабинете, — там стоял стол для заседаний, — а причиной было то, что телефоны, находившиеся на столе в том месте, где он обычно сидел, служили для подслушивания, объяснил он мне. На другом конце стола он шептал мне, что Президиум, его отдельные члены и секретари, не могут, собственно говоря, ничего делать, что все подлежит строгой цензуре, проводимой самим Антонином Новотным. Главный упор он делал снова на то же самое: разделить посты.

Когда я беседовал со Штроугалом, то атмосфера была еще более грустной. Он хотел говорить со мною, но не в здании Центрального Комитета партии, и попросил меня, чтобы я пришел к нему домой, но только не заезжал на машине на ту улицу, где он жил, а пешком. Когда я туда пришел, то он выглядел очень напуганным, боялся, что Антонин Новотный прибегнет к репрессиям против тех, кто выступает против него.

Перед заседанием Декабрьского пленума, перед первым заседанием — продолжение было потом в январе — было это в пятницу рано утром, около 7 часов, ко мне на квартиру позвонил Антонин Новотный и спросил, могу ли я прийти к нему в тот же день. Само собой разумеется, я согласился.

Пленум начинался в понедельник предрождественской недели, перед сочельником. У Новотного я был в ЦК партии во вторую половину дня, в пятницу. Мне вспомнилось, что в течение целых двух лет у него не было времени встретиться со мной. Я дважды обращался к нему с письмами, с просьбой, чтоб он принял меня; я хотел говорить с ним о проблемах партии и о других вещах, но все напрасно. На сей раз вызывал меня он. Он объяснил мне также, в чем состоит суть спора, идущего в Президиуме ЦК партии, постепенно сузившегося к этому личному спору — персональному разделению постов — и сказал мне, что хочет тоже реорганизовать руководство партии, Президиум ЦК партии, что хочет провести персональные изменения. У него это было написано на листе бумаги; и он говорил мне, что рассчитывает и на мою кандидатуру в Президиум ЦК партии. Чтобы убедить меня, он встал со своего президентского стула, обошел стол и показал мне черновик той бумаги, где я был написан в составе Президиума. Не дал мне прочесть всё, только показал мне, что и мое имя там написано.

Все это дело мне было, в целом, неприятно, потому что он позвал меня для того, чтобы заполучить меня для своей поддержки. Я не мог это принять. Когда он окончил свое объяснение насчет персональных реорганизаций, как он их себе представляет, то я высказал ему свой взгляд: что для этого уже слишком поздно, что, учитывая положение в стране и в обществе, необходимо провести не только разделение обоих постов, но что надо во всей широте дать раз-

вернуться тому процессу, который, наконец, начался после января. Я ссылался на октябрьское заседание, на критические голоса, требующие, чтобы правительство было правительством, а не только исполнительным аппаратом аппарата партии, говорил о проблемах Словакии, об экономической реформе и т. д.

Думаю, что этими своими аргументами мне удалось его достаточно расшатать, потому что он заговорил об этом разделении постов и сказал: «А кого бы тогда...?»

Я ему говорил, что он продолжал бы быть президентом, пусть останется в Граде⁵, что этого достаточно для одного человека, а должность первого секретаря пусть занимает кто-нибудь другой. Так мы вместе вслух размышляли, кто бы это мог быть. Он спросил меня. Я обдумывал это раньше и поэтому предложил, чтобы первым секретарем был Ленарт⁶. Я сказал, что считал бы это наиболее легко осуществимым решением ввиду его спокойного характера; я знал Ленарта до того времени и поэтому думал, что это было бы удачным решением.

Он на это сразу же — тогда еще Ленарт был премьер-министром — «Кто же в том случае будет премьер-министром?»

Я ответил, что не продумал все это настолько конкретно, потому что не знал, что кто-нибудь будет меня об этом спрашивать.

Долго мы об этом говорили, и в конце концов у меня создалось впечатление, что мне удалось его убедить. Я уходил от него с ощущением, что он так и сделает. Была пятница. Еще когда я оттуда уезжал, то сказал своему водителю, что прожил хороший день и хорошо поработал, что товарищ Новотный прислушивается к советам.

На другой день в Ланах⁷ была охота. Раз в год президент всегда устраивал для государственных и партийных деятелей охоту. Был там я, были там так-

же Худик⁸, Садовский⁹, несколько министров. Однако самого Новотного там не было. Во вторую половину дня, когда мы все там сидели после охоты, позвонили из Праги, что товарищ Новотный с Ленартом находятся на пути в Ланы и чтобы мы там подождали. И прямо, — чтобы там подождал я, чтобы не уезжал.

Приехал, все мы посидели вокруг стола, потом он кивнул мне, чтобы я вышел с ним.

«Ну, вот посмотри, — называл он меня Тоником или Йоско, один раз назвал Тондой (подпольная кличка в период 1939-45 гг. — Пер.), как меня обычно зовут, а другой раз опять назвал моим настоящим именем, — вчера мы с тобой говорили, ты мне советовал подать в отставку и т. д. Сегодня ко мне пришли старые партийные товарищи, я сказал им, что ты советуешь, а они сами настроены против этого. Не согласны, чтобы я ушел в отставку. Я думаю, что они правы». Рекомендовал мне снова пересмотреть свою точку зрения.

Я сказал, что, конечно, еще об этом подумаю, но также, чтоб он не слишком-то полагался на так называемых старых товарищей, это были его друзья. Я сказал: «Это не друзья твои, Тоничек, это твои гробовщики. Им не важно то, останешься ли ты на обоих постах. Им важно, чтобы они сами сохранили свои посты, которые занимают, многие из них давным-давно со своей работой не справляются или им там делать нечего».

Например, Йозеф Немец¹⁰, Кленхова-Бессерова¹¹, Козелка¹² (он уже умер), вся эта старая компания его пражских друзей. Мало кто из них вообще занимал бы свою должность, если бы Новотный сам не позаботился об этом; все это было общеизвестно. Так мы с ним и разошлись с тем, что я должен все еще раз обдумать.

В воскресенье я позвонил Франте Кригелю¹³, с которым у меня до того времени никогда не было ка-

ких-нибудь личных разговоров, только — по случаям различных приемов или общественных мероприятий. Когда тот не захотел приехать ко мне в учреждение, то я заехал к нему на квартиру и рассказал ему все об этом деле. Он сказал мне, что тоже говорил с Новотным и что тоже не договорился с ним. У нас с Кригелем было, в целом, сходное мнение, что необходимо решать эти вопросы.

В понедельник утром — до этого времени я должен был все это продумать — я заехал к Ленарту в правительство; он был первый, с кем я говорил в этот день, потому что Новотный во все его посвятил. Вот я и сказал Ленарту, что размышлял об этих делах и ничего не могу в своей точке зрения изменить, пусть передаст это Новотному.

Ленарт ничего не возражал против того, что я ему говорил. Подчеркиваю, что мое отношение к Ленарту было до той поры и еще позже, после января, наилучшим. Я знал его по работе в правительстве и, в общем, глубоко уважал его как человека квалифицированного, спокойного, рассудительного и образованного. Поэтому я его и рекомендовал. И думаю, что Ленарт был бы согласен, если бы Новотный пошел на это. Сегодня мне не хотелось бы обсуждать это, но долгое время мне казалось, что такое решение было бы приемлемым, если бы Новотный сам не толкал все дело к конфликту.

От Ленарта я пошел тут же, в здании правительства, к Шимунеку¹⁴, с ним я говорил примерно тоже час, рассказал ему также обо всем, хотя бы уже потому, что Шимунок, как мне казалось, или как я был убежден, стоял близко к Новотному.

Я старался подействовать на него, чтобы он поговорил с Новотным, убедил его не вести дело к конфликту, а принять решение, приемлемое для всех. Шимунок тоже не возражал.

Прошло декабрьское заседание, но ничего не было решено. Заседание было прервано с тем, что после Рождества оно снова соберется. Я на этом декабрьском заседании не получил слова, так как числился в списке примерно тридцатым, — слово мне дали только в январе.

Декабрьское заседание — те первые три дня — показало, что Новотный сопротивляется изо всех сил и добровольно он не уйдет. Напряжение, таким образом, еще усилилось.

И вот, что же случилось! В течение праздников, думаю, что это был второй рождественский день, праздник Штепана, в первую половину дня ко мне на квартиру пришел один редактор, которого я знал по общественным мероприятиям, и сказал, что должен передать мне что-то важное: товарищ Местек (член ЦК и министр сельского хозяйства. — Ред.) был как раз на совещании в министерстве вместе с тремя другими товарищами; Местек вернулся от Новотного и рассказывал товарищам, как обстоит положение, что будет дальше. «Это важные вещи, ты должен это знать», — передавал один из товарищей, редактор назвал мне его, который был среди тех троих, с которыми Местек говорил и о котором думал, что это его человек. Так вот, этот один из участников того разговора мне передавал следующее: что товарищ Новотный будет защищаться, что он рассчитывает на армию, что он верит армии, что рассчитывает на милицию, что к нему потоком начинают ходить депутации с крупных предприятий и предлагают ему не уступать, опереться на них; еще было что-то из Высочан¹⁵, где у него была своя определенная база; но также и другие вещи он мне передавал из этого разговора у Местека: что Местек говорил, мол, жаль, что меня, Смрковского, и других выпустили в 50-е годы из Рузини¹⁶, что мы должны были там остаться и что подготовлены написанные ордера на арест, что на них

не хватает только подписи. Среди этих ордеров один выписан тоже на меня. Далее, что товарищ Местек предоставил автомобильный парк Министерства сельского хозяйства для всевозможных курьерских служб, нужных для проведения всей этой операции. То есть: чтобы я знал, как обстоит дело, с чем мы должны считаться и к чему готовится Новотный.

Так я узнал, что положение становится критическим, что по-хорошему дело уже не пойдет, что Новотный не уступит. У меня было подготовлено выступление для декабрьского заседания, я не получил слова (оно находится в моем архиве), так я его для январского заседания переделал на более боевое. В нем я вспоминаю о теме разговора, который был у меня с Новотным. Новотный подтвердил, что такой разговор между нами был, что я ему советовал и что он отвергал — это, в конце концов, напечатано в сборнике материалов заседаний ЦК.

ОП: В то время много говорилось о стремлении Новотного заполучить для себя поддержку Советского Союза. Что знали об этом вы, члены Центрального Комитета?

ИС: Во время рождественских праздников 1967 г. у меня был разговор с Червоненко¹⁷ во время охоты в Конопиште¹⁸, куда я его пригласил. Там тоже был Свобода¹⁹, Садовский и другие. Это происходило между декабрьским заседанием ЦК и Рождеством; на «дипломатической охоте» был и Червоненко, и мы там вместе в лесу обменялись несколькими словами на тему: «что у нас происходит». Он спрашивал меня, что, по моим ожиданиям, будет. Я тогда сказал ему, в общем, категорически, что дела будут решаться, потому что они должны решаться, причем, не только персональные дела, касающиеся этих двух наивысших постов, но также и вопросы экономики, и правительственные проблемы. Я просто на эту общую тему сказал,

что решаться это будет. Он на все это реагировал сдержанно, скептически, поскольку у него на это были свои взгляды, к тому же, с самого начала он не слишком этому симпатизировал. Таков был Червоненко.

В то же самое время, конечно, приезжал Брежнев. И мы напрасно просили, чтобы нам было сказано, о чем они вместе совещались (с Новотным. — Ред.), потому что это все же было вмешательством во внутрипартийные дела. Было нам сказано, что Брежнев выслушал, в чем состоит дело, и что он отказался в это вмешиваться — таково то известное выражение — «это ваше дело»; мы эту его точку зрения, если это вообще было правдой, все приняли с симпатией.

ОП: Я вспоминаю, с какой радостью хотя бы те, которые о событиях что-то знали, приняли сообщение о том, что первым секретарем уже не является Новотный, что им стал Дубчек²⁰. Даже не столько потому, что мы много знали о Дубчеке, но из-за того, что исчезла опасность, что Новотный попытается добиваться победы путем насилия. Поэтому мы были потрясены, когда вышло официальное коммюнике Пленума ЦК²¹. Мы говорили себе: как же хотят начинать новую политику с такой лжи? И почему?

ИС: Когда 5-го января заседание окончилось — в последний день ночью Президиум ЦК решил, что наконец-то Новотный подаст в отставку и уйдет со своего поста, — я узнавал постепенно, какая там ночью в Президиуме совершалась «базарная сделка». На место первого секретаря была масса кандидатур, против кого-то был Новотный, в другом случае — словаки, все много спорили, и, наконец, единственным кандидатом, имеющим надежду пройти, оказался Дубчек. Словаки были «за»; и Новотный не решился выступить против Дубчека, ввиду того, что уже на октябрьском заседании, а потом в декабре и в январе, вопрос «чехи — словаки», вернее сказать, «Новотный — сло-

ваки», был для него тонким льдом, где он попал в неприятное положение. Так что, в конце концов, все согласились на кандидатуре Дубчека как на единственной. Только, насколько мне известно, Дубчек не соглашался с этим. Мне потом рассказали, как ночью, с пятницы на субботу, когда это заседание окончилось, Дубчек упирался. Черник упрасивал его принять этот пост и обещал, что все его будут поддерживать; просто Дубчека во все это буквально втравили. Он не был к этому подготовлен; и внезапно все это свалилось ему на голову.

Когда Центральный Комитет принял (думаю, против одного или двух голосов) его кандидатуру, то товарищи из тогдашнего Президиума хотели закончить заседание. Оно было прервано после избрания Дубчека. Было нас немало, обращавшихся к Чернику²², Штроугалу, к другим, с тем, что недостаточно только решить это, что надо об этом сообщить партии и общественности. Мы хотели также, чтобы было принято коммюнике и сделано заявление о главных принципах дальнейшей политики, сказано, какую политику будет проводить партия; чтобы в этом заявлении был выражен смысл дискуссии на заседаниях ЦК, происходивших в январе, декабре и октябре. Я тогда говорил с Черником, со Штроугалом. Черник мне говорил, буквально просил меня: «Йозифек, пойми, что дальше идти мы уже не можем, что мы еле держимся на ногах, что это были бесконечные ночи, что ни у кого из нас не было времени, чтобы кто-нибудь из нас что-нибудь продумал, мы должны оставить это на следующее заседание». Редакционная комиссия, которая тогда была создана, должна была предложить общие главные тезисы политики партии, которые вошли бы в резолюцию.

В конце концов мы были очень недовольны, что от всего этого так отделались, но смирились с этим. Факт тот, что занятый этими спорами в Президиуме

ЦК партии, шедшими между октябрём, Рождеством и январем, тогдашний Президиум не продумал, не подготовил вообще ничего.

Поэтому сразу же после января мы настоятельно обращались к Дубчеку с просьбой позаботиться о том, чтобы Президиум или органы, для этого назначенные, ускоренно разработали документ о послеянварской политике.

В то время я не мог сразу попасть к Дубчеку — тот был очень занят; поэтому я зашел к Садовскому, который был секретарем ЦК по сельскому хозяйству, и я знал, что каждый день он говорил с Дубчеком вечером или ночью. Я напомнил ему, что здесь, в Праге, имеется масса марксистской интеллигенции, что здесь у партии есть люди, которые полностью предоставляют себя в распоряжение ЦК для той работы, которая от них понадобится. Ходили к нему и другие; чувствовалась такая необходимость; и это было начало подготовки «Программы действий»²³ партии. Однако Дубчек с пониманием относился к работе с интеллигенцией, так как делал это в Братиславе, правда, не гениально, но лучше, чем Новотный это делал в Праге. Дубчек понял это — у него у самого, собственно, была такая концепция — но только он позволил втянуть себя, как все мы позволили втянуть нас, в это, и вместо простой, временной «Программы действий» — я представлял ее себе как нечто по типу «Десяти пунктов» Клемента Готвальда²⁴ — многие товарищи делали из этого грандиозный труд, в котором хотели уместить всё. Примерно два или три раза я заходил к Дубчеку, раз я был у него один, в другой раз — с несколькими товарищами, с тем, что партия, общественность уже ждут чего-то, ждут, чтобы ЦК наконец сказал, какую политику он будет проводить; мы добивались того, чтобы ускорить появление «Программы действий», сократить ее и дать общественности. К сожалению, все это тянулось вплоть до марта.

ОП: Было, однако, несколько членов ЦК КПЧ, которые старались заполнить этот пробел в информации. Ты принадлежал к их числу, и нам известно, что эта деятельность встречала препятствия.

ИС: Сразу же после январского заседания 1968 г. партийные организации и разные общественные организации, все, проявляли крайнее любопытство, что же, собственно, какие вопросы решаются в ЦК. И созывали собрания, требовали референтов, членов ЦК; и я знаю, что у аппарата партии, у ее секретариатов были с этим затруднения. Не было в распоряжении ораторов, многие товарищи неохотно шли выступать на эти собрания. Я был одним из тех, кто с первых же дней предоставил себя в распоряжение центрального секретариата. Началось мое турне по собраниям. Началось оно в деревне. При этом было интересно, что тогдашний аппарат партии не хотел допустить меня на собрания в Праге. А когда на моем счету было примерно десять — пятнадцать собраний в деревне, и пражские организации хотели, чтоб я пришел к ним, то я обратил на это внимание товарищей в Центральном Комитете партии. Обратил на это внимание также и Дубчек, не знаю, сам ли, или же ему кто-то сказал об этом, но он вмешался с тем, что меня должны пускать и в пражские организации. Так я начал ходить и на активы, районные активы в Праге: я был в Праге 2, потом — в Праге 3, затем в ЧКД²⁵, а потом так и пошел колесить по районам — заводам, организациям, учреждениям. Интересно было то, что возникли сомнения, о чем говорить и о чем не говорить. Приблизительно через 10 дней после заседания ЦК нас, референтов, позвал в ЦК Гендрих²⁶. Тогда собралось нас там около сорока, может, пятидесяти человек. Все жаловались, что не знают, о чем можно говорить, о чем нельзя. Скрыть от партии проблемы, которые обсуждает ЦК партии, — это было против партийных принципов. Гендрих информировал нас, что Прези-

диум партии занимался этим вопросом и решил, что на партийных собраниях, а в соответственной степени и на других, можно говорить обо всех вещах, обсуждением которых занимается ЦК. За единственным исключением: а именно, что не надо называть лиц, у кого какие взгляды были на заседаниях.

ОП: С трибуны Дворца съездов, наряду с тобой и другими товарищами, выступал также Густав Гусак²⁷. Тогда он произвел на слушателей положительное впечатление и, очевидно, не предполагал, какие перемены его еще ожидают в жизни. Не предполагал этого, однако, никто. Или с тобой дело обстояло иначе?

ИС: Здесь я хочу вернуться назад. Примерно 16 января 1968 г. я попросил приема у Дубчека из-за Гусака. К тому времени в Братиславе должность первого секретаря занимал уже Билак²⁸. Я обратился к Дубчеку с тем, что считаю правильным, чтобы после таких перемен Гусак и Новомеский²⁹ были включены в работу. Я вспомнил, что в 1964-65 гг., когда меня реабилитировали, то я пытался добиться у Новотного также реабилитации Гусака и Новомеского. Тогда я посетил их дважды или трижды и мне удалось продвинуть это довольно далеко. Настолько далеко, что Гусак должен был получить должность заместителя министра юстиции. Но дело было в том, что он не хотел быть каким угодно заместителем, т. е. одним из нескольких, а хотел быть первым заместителем. Но он бы уже согласился, я его уговаривал, чтоб он согласился, хоть это и не должность первого заместителя. Наконец он поставил одно, последнее условие. Дело было зимой, как будто в феврале, была слякоть. Хотел, чтобы Новотный принял его для разговора, принял в Граде, и чтоб об этом было официальное сообщение: о разговоре в Граде! Я передал это Новотному через Гонзу Свободу (член ЦК и заведующий Организационным отделом ЦК). И Новотный отказался.

Сказал, что раз Гусак не хочет, раз ставит такие условия, — прием в Граде, официальное сообщение, — он этого делать не будет. А раз товарищ Гусак не хочет, так из этого ничего не выйдет.

Вслед за этим Гусак приехал с Лацо Новомеским в Прагу. Мы встретились в Репрезентяке³⁰ — было это в субботу, — чтобы сообщить им решение. Гусак отказался без выполнения поставленного им условия принять должность, но Новотный все же не хотел его принять в Пражском Граде. Так все это и не состоялось из-за такой формальности. Меня потом Новотный во время какого-то заседания ЦК встретил в Граде, в коридоре, и сказал: «Прошу тебя... эти твои дела с Гусаком... оставь уж это в покое». Поскольку я делал это чисто по личной инициативе, то все осталось по-прежнему.

И вот в январе 1968 г. я пошел к Дубчеку и снова заговорил об этом деле. Дубчек выслушал меня и сказал, что он с этим согласен. Я сказал ему, что завтра, — по-моему, 16 или 17 января, была опять суббота — я все равно еду в Братиславу, как было договорено; Эвжен Лебл³¹ был в январе 1968 г. нечто вроде посредника между мной и Гусаком. Я заехал к Билаку в Секретариат. Это было в те дни, когда он стал Первым секретарем Словакии, ходили туда представители учреждений давать клятву и тому подобное. Принял он меня скоро, заставил ждать дальнейших коллег, около 15 или 20 минут мы говорили друг с другом.

Во-первых, это было дело общественное: я поздравил его — я был тоже министром в Словакии. И потом мы говорили с ним о проблемах Гусака, Лацо Новомеского; что с этим Дубчек согласен, что я делал при Новотном, как это не вышло и т. д.

И Билак сказал: да, он согласен. Что этим займутся. И еще мы вместе беседовали — у Дубчека до этого тоже — о положительном решении: по какой линии, на каком участке должен был бы, собственно,

работать Гусак. Тогда у всех у нас была одинаковая точка зрения, что легче всего, пока не будет решено множество всяких дел, было бы дать ему работу по линии государственной. Чтобы он стал членом правительства. Они оба с этим соглашались, Дубчек и Билак, и на этом мы расстались. Потом, уйдя от Билака, я забежал в «Повереництво лесов» (Лесное управление. — Ред.) и оттуда поехал на квартиру к Лацо Новомескому. Я прихватил его, и вместе мы поехали домой к Гусаку, в его особнячок на окраине Братиславы, где он уже ждал нас.

Там у нас был примерно трехчасовой разговор. Я рассказывал им, чего мне удалось добиться у Дубчека, у Билака, и разошлись мы по-дружески, с сознанием, что все обстоит хорошо, и Густав Гусак и, конечно, тоже Новомеский, — но в первую очередь речь шла о Гусаке, — будет активизирован по государственной линии, что и случилось после. (В апреле 1968 г. он был назначен заместителем председателя чехословацкого правительства. — Ред.).

Грустно то, что Гусак все это точно знает, что это знает Лацо Новомеский, что это, само собой, знает тоже Билак. Год спустя, на заседании ЦК, Билак сказал, что я приходил тогда к нему и хотел привлечь его на свою сторону против Дубчека и всякие такие несуразности. А Гусак молчал, хотя хорошо, до подробностей, знал, о чем шла речь, почему я был у Билака, что я туда поехал из-за него.

ОП: После того, как Новотный подал в отставку, и, собственно, уже перед этим, возник важный вопрос: кто будет президентом Республики? Кандидатов было много; общественность обсуждала несколько имен. Избран был генерал Свобода. Несмотря на то, что много людей хотело избрать тебя, ты поддерживал его кандидатуру. По какой причине?

ИС: С январского заседания ЦК между мною и товарищем Свободой начались очень интенсивные от-

ношения. Он работал в то время в Военном историческом институте, а я был тогда министром водного и лесного хозяйства, на Оплеталовой улице находилось наше учреждение.

Между январем и мартом он обратился ко мне, а потом, может, с исключениями, редкими исключениями, он ежедневно посещал меня в Оплеталовой улице. Иногда случалось, что и дважды в день. Хотел знать, как обстоят дела в партии, какие проблемы решаются, не только персональные, но и остальные, спрашивал о людях, которые были в Президиуме. Тогда он не знал многих людей, не знал, что они собой представляют. Все время он спрашивал меня, кто такой Черник, какой он человек; кто такой Индра³², кто такие остальные; просто до того времени он знал очень мало о той проблематике отношений между партией и правительством, о лицах, о том у кого — партийный, а у кого — государственный пост. Он раньше этим не интересовался, и вот я посвящал его во все эти вещи. И совершенно честно. Где-то в феврале, в конце февраля и в марте, уже было в партийных и правительственных кругах общеизвестно, что Свобода так вот объезжает многих людей в деревне, в Моравии, в Словакии; и тогда я впервые узнал от других товарищей, что за этим стоят предположения, что Новотный не удержится и как президент и что выбор пал бы потом на Свободу. И я смотрел на это в целом положительно, я принял эту альтернативу и потом поддерживал его тоже в этом деле.

ОП: В апреле Черник стал премьер-министром, а ты — председателем Национального собрания и членом Президиума ЦК, несмотря на нападки Хагера³³, сигнализировавшие, что именно на твою личность нацеливается несогласие с новой чехословацкой политикой в некоторых союзнических странах. Каков был твой выход на эту международную арену?

ИС: 4-го мая 1968 г. мы поехали — Дубчек, Черник, Билак и я — в Москву. С советской стороны там были Брежнев, Подгорный, Косыгин, Суслов и несколько работников, среди них — Катушев.

Были мы там всего один день. По сути дела, провели весь этот день, слушая длинное перечисление всего того, что не нравилось Советскому Союзу или советским представителям в наших событиях. В сущности, это было чтение «Белой книги»³⁴ по рабочим материалам, так примерно я бы это назвал.

В течение совещания постоянно ходили секретари, носили Брежневу новые и новые сведения о том, что написали у нас те или другие газеты, что сказал у нас тот или иной человек.

В действительности никто из нас вообще не знал о ряде вещей, которые нам там читали, — и в первую очередь, — Брежнев. Что было написано в какой-нибудь районной газете, какая та или иная статья в ней была, какое где было собрание, кто там выступал и что говорил — как мы всё это могли знать?

Они, а у нас там — Червоненко, черпали эти сведения от людей, которых потом начали называть консерваторами. Эти последние собирали всякие сплетни и передавали их в советское посольство, — а от туда они шли к Брежневу.

Мы посвятили этот день тому, что отвергали и разъясняли. Я, например, говорил Брежневу, что через месяц, через два, у него не будет такой кипы подобных материалов.

В противоположность этому мы приводили, и, прежде всего, — Дубчек и другие, факты и информацию, несравнимо более важные, чем была кучка так называемой информации, которой они располагали. Позже мне депутат Догналова³⁵ в 1968 г. с некой ехидностью сказала: «Мы позаботились о том, чтобы советские товарищи знали всё, что у нас происходило в то время».

Прошло только несколько дней после 1 мая 1968 г., и нам казалось странным, что их совсем не интересует Первое мая, участие народа в праздновании которого было настолько импозантным, спонтанным, в общей сложности это были миллионы людей, которые с таким энтузиазмом поддерживали коммунистическую партию и ее политику. Это их не интересовало. Их интересовали собрания КАНа, К-231³⁶, на которых было или бывало пятьдесят или сто человек, иногда даже меньше. Все это совещание вызвало у нас нехорошее ощущение, так как мы видели, что их не интересуют факты, не интересует общая ситуация у нас, но что они ищут предлоги, чтобы оправдать враждебное к нам отношение. Наше положение ухудшалось еще и то, что аргументация Билака опиралась на их позиции и была направлена против нас: фактически он не был нашим четвертым членом делегации, а был как бы их пятым членом, так что нас было не четверо — на четверых, а трое — на пятерых.

ОП: У вас не было никакого предварительного совещания?

ЙС: Нет.

ОП: На какой основе это проходило, ведь речь шла о делегации одной партии и одного государства?

ЙС: Мы были приглашены; в сущности, мы не знали точно, почему нас приглашают, почему с нами хотят говорить, так мы поехали. Мы были, наверное, позваны для проработки. Они требовали от нас жестких административных, здесь я сказал бы — полицейских, мер против каждого у нас в стране, высказавшего свое мнение, не находившееся в полном согласии с документами или с политикой партии.

Мы же, со своей стороны, делали упор на то, что с помощью демократической дискуссии и демократических методов мы сумеем справиться со вспышкой

политической активности у нас в стране. Мы прибегли бы против крайностей к административным мерам, в случае, если вещи выходили бы за рамки законов и наши методы не оказались бы успешными.

Об апрельском пленуме ЦК нашей партии, поскольку мы о нем упоминали, советские товарищи говорили лишь косвенно, недовольство проявляли примерно в том смысле, что, мол, не совсем ясно, чего мы хотим. Когда речь идет об апрельском пленуме, то мы имеем в виду «Программу действий».

ОП: Предъявляли ли вы к советским руководителям сами какие-нибудь требования?

ИС: На совещание в Москву, происходившее 4 мая, мы приехали также с вопросом о предоставлении займа. Черник, как премьер-министр, обосновал нашу потребность в модернизации обрабатывающей промышленности, постепенного изменения состава, структуры нашей промышленности. Кроме того, мы задумали расширить квартирное строительство. Нам нужна была сумма около 400 или даже 500 миллионов рублей. Мы хотели получить этот заём от Советского Союза и сказали советским товарищам, что если бы они не могли одолжить нам сумму в таком объеме, то мы попросили бы заём у международного банка или где-нибудь еще. Ударение мы делали на то, что такой возможный заём на Западе был бы сделан нами строго на принципе торговли, без политических условий.

На это ответили — Косыгин — равнодушно, что нашу просьбу будут рассматривать. Но Косыгин не забыл отметить следующее: для кого, собственно, мы хотим производить товары широкого потребления? Для экспорта? Сказал, что Западу наши товары широкого потребления не нужны и нужны не будут. Разве что мы хотели бы тогда идти с нашими товарами на рынки социалистических стран и, в первую

очередь, — на рынок СССР, с помощью инвестиционного капитала западных стран. Но что рынок социалистических стран тоже не нуждается в наших товарах широкого потребления, что ему не нужны наши инвестиционные товары.

Это была очень неприязненная и категорическая точка зрения, поддерживающая старую «железную» концепцию нашей промышленности, которая ведет нашу экономику постепенно не только к состоянию односторонней полной зависимости, но и к состоянию постоянной неэффективности, ввиду отсутствия у нас своего сырья. Оказалось, что их политика торговли по отношению к нам является продуманно политической, целевой: отрубить все возможности нашего суверенитета и прочно подчинить нас своей политике. Из займа тогда ничего не вышло, также обстоит дело и до сих пор. Так мы и вернулись из Москвы разочарованные настолько, что не способны были с чистой совестью ничего сказать нашей общественности, раз невозможно было говорить о действительном содержании совещания.

ОП: Может быть — еще один вопрос. Это была твоя первая поездка в Советский Союз с той поры, как ты стал председателем Парламента. Советские представители на совещании высказывали много критических замечаний. Позже, однако, говорилось, что они с самого начала предупреждали, что давали вам понять, что должны будут вмешаться. Сказал ли кто-нибудь из них на этом майском совещании что-то, на основании чего можно было бы хотя бы отдаленно судить, что они обдумывают и возможность военного вмешательства?

ИС: Такие разговоры мы тоже слышали. Я могу сказать, что до половины двенадцатого ночи 20 августа я никогда раньше не слышал ни прямо от кого-нибудь с советской стороны, ни через второе лицо,

что они решили войти на нашу территорию и занять нашу страну своей армией. Если бы я нечто такое слышал, пусть хотя бы от второго лица, то наверняка занялся бы этим конкретно, об этом должно было бы говориться в Президиуме ЦК партии; просто я не мог бы пройти мимо этого. Я никогда ничего такого не слышал; и на тех нескольких совещаниях с советскими представителями, где я был участником, речи об этом никогда не было.

ОП: А как насчет других угроз, каких-нибудь предупреждений о возможных экономических или других санкциях?

ИС: Ничего, из чего я мог бы логически вывести, что их слова могли бы вести к военной интервенции. Всё говорившееся — была только критика, утверждения, но такой угрозы, пусть хотя бы не прямой, — я не слышал. Нет.

ОП: Ваши московские разговоры, однако, повлияли на положение. Это проявилось в резолюции майского пленума. Думаешь ли ты и сегодня, что тогдашний компромисс был удачным? Он должен был быть большим, меньшим, вообще никаким или была еще другая альтернатива?

ИС: После этой нашей поездки в Москву, в конце мая состоялось заседание ЦК партии, на котором мы обсуждали положение в стране, и понятно, что в докладе Дубчека и в наших выступлениях сквозило то настроение, с которым мы уезжали из Москвы. Думаю, что конец мая был, собственно, неким кульминационным моментом той большой нервозности, разных «взрывов», о которых мы говорили, что это крайности, и где мы могли вмешаться очень остро. Все это продолжалось потом до июня. Центральный Комитет в документах и выступлениях заявлял в общем открыто и предупреждающе в адрес всех о том,

что настроение должно успокоиться и свестись к законным формам.

Вспоминаю в этой связи о дискуссиях, которые велись в Президиуме ЦК партии вокруг проблем майского пленума ЦК, где мы подробно обсуждали все эти крайности, и никто из нас не относился к положению легкомысленно. Я сам опубликовал, кажется 19 мая 1968 г., в «Руде Право» сравнительно острую статью, нацеленную как раз против этого экстремизма и экстремистов. Не думаю, чтобы кто-нибудь из тех, кто потом, после августа, были такими «мужественными» и «принципиальными», отважился бы тогда открыто на что-нибудь подобное.

Мы в то время, в мае, в июне, смотрели на вещи примерно так: народное недовольство, накопленное за долгие годы, достигает высшей точки. Пока мы еще, к сожалению, не можем дать достаточно гарантий, что те отрицательные вещи из прошлого, те искажения, как это говорилось, будут последовательно уничтожены. Этим могли злоупотребить для наступления вообще против коммунистов как таковых, — что опять же могло иметь непредвиденные последствия, — вплоть до этих танков. Поэтому я выступал против крайностей как публично, так и в частных разговорах. При этом, естественно, было произнесено немало резких слов; я сам, например, говорил (потом этим злоупотребляли против меня), что если бы экстремистские группы не послушались, то мы должны были бы использовать против них законы.

Когда каждый из нас должен был ответить, какую позицию он занимает, от каждого из нас требовалось, чтобы мы ясно заявили, на какой позиции мы стоим, то и я сказал свою точку зрения: что если бы радикальные экстремисты хотели бы нагнетать ситуацию дальше, к каким-нибудь конфликтам, то в таком случае я бы однозначно встал плечом к плечу с рабочей милицией и не колебался бы применить

строгие меры против тех, кто ставил бы под угрозу самое существование Республики. Однако, снова подчеркиваю, что это были дискуссии при том самом напряженном положении. После майского заседания ЦК, после проведения больших активов, после документов партии, настроение, безусловно, успокаивалось, и перспектива государственного конфликта практически исчезла из поля зрения.

ОП: Со времени резолюции майского пленума в силе находилась формулировка о главной опасности справа, которая была использована позже и которой потом злоупотребляли. Как она попала в резолюцию, что вело к принятию такой формулировки, — кроме причин, которые ты, собственно говоря, уже косвенно приводил?

ИС: Поэтому я как раз говорил о позиции, например, нашей интеллигенции. Большая часть спорящих, те кто сегодня выдает себя за здоровое ядро партии, вели наступление против так называемых «правых». Я придерживался точки зрения, и ряд других товарищей — тоже, что у нас нет только одной крайности среди «правых»; что эта крайность питается и провоцируется крайностями «левых», так называемых «левых», то есть консерваторов. Я хотел, чтобы наша интеллигенция однозначно выступила в поддержку политики партии. А они мне говорили: где у тебя есть гарантия, где у партии есть гарантия, что через какое-то время к власти не придут именно догматики. И я должен был хотя бы отчасти с ними согласиться, и эту точку зрения я, собственно, защищал все то время, пока был в Президиуме: что если мы хотим добиться успеха в каких-нибудь мерах против крайностей справа, то мы должны параллельно оказывать сопротивление также крайностям догматиков. Последние устраивали собрания, активы; это была просто иллегальная, фракционная деятельность. К сожалению

нию, нам не удалось отстоять эту точку зрения: в резолюцию майского пленума попала преимущественно критика «правых» и недооценивалась опасность «левых». (Понятия «левые» и «правые» в чехословацкой ситуации не отвечают классическому пониманию этих понятий. Догматики причисляли к «правым» не только незначительные силы классических «правых», но также всех прогрессивных коммунистов. Самых себя догматики считали «левыми». Перенесение этих понятий, вначале с добавлением «так называемые», а позже — уже без него, в разговорную речь было общим явлением и способствовало запутыванию понятий и добавочной фальсификации. «Правые» взгляды тоже были, но те, кто добивался осуждения «правых», имели в виду именно прогрессивные идеи коммунистической партии и остальных общественных групп. — Р е д.). Конечно, давление из-за границы, из Советского Союза, тоже влияло на все это, что эта формулировка тоже туда попала. Что главную опасность начали видеть только в крайностях «правых», а на все в целом не обращали внимания.

ОП: Я вспоминаю, что именно это состояние играло отрицательную роль в пресловутом разжигании страстей в обществе. В то время дело состояло, главным образом, в следующем: доказать, что партия хочет проводить новую политику.

ЙС: Думаю, что у людей был правильный инстинкт. Это сыграло потом тоже свою роль в появлении «2000 слов»³⁷, потому что у людей все время были опасения, что старые времена могут снова вернуться. Но с нашей стороны меры против деятельности догматиков не были таковы, чтобы они могли удовлетворить тот, второй, лагерь. Думаю, что люди это чувствовали, и, наконец, дальнейшее развитие потом показало, что люди опасались не без оснований.

ОП: Ты упомянул здесь «2000 слов». Как бы ты оценивал их сегодня?

ИС: «2000 слов»! Вся эта история! Было это в пятницу. Число на память не помню. Заседал Парламент, и я еще перед заседанием забежал в ЦК партии.

Там, на лестнице, ведущей с улицы, я встретил Ольду Швестку (член Президиума ЦК КПЧ и главный редактор газеты «Руде Право». — Р е д.) и Зимянина (член ЦК КПСС и главный редактор «Правды». — Р е д.).

Зимянин — это бывший советский посол у нас — набросился на меня, что я, мол, на это скажу, что это неслыхано... Я был удивлен, спрашивал: «Что?» Я еще не знал, что в тот день в газетах вышли «2000 слов». Зимянин страшно возмущался, говорил мне, что это призыв к контрреволюции... И вот я находился в напряженном ожидании, что же, собственно, написано в газетах. Я вернулся на заседание, происходило оно в Граде, там уже об этом некоторые депутаты тоже начали говорить; и в течение заседания мы второпях, я и другие, которые этого не читали, знакомились с содержанием. Там, посоветовавшись с товарищами, мы договорились, что заседание Парламента не закончится в тот же день, как это было намечено в программе (была пятница), а что он будет заседать еще в субботу, что мы продолжим заседание, и что в субботу должен выступить премьер-министр с заявлением по поводу «2000 слов».

После окончания заседания Парламента, в тот же день, заседал Президиум ЦК, обсудил этот вопрос. Было решено, чтобы Индра, от имени Президиума, информировал по телетайпу областные организации в духе совещания Президиума. Так и случилось, но только сообщение по телетайпу он составил сам, в соответствии с тем, как он понял совещание Президиума.

Правительство тоже заседало. Я требовал от премьер-министра, чтобы правительство выступило против заключений манифеста «2000 слов». В час ночи я звонил ему (Чернику. — Ред.) в правительство, а он мне сказал: «Не могу убедить правительство, правительство не хочет выступить».

Когда мне Олдржих Черник сказал это, то я спросил его, будут ли он и правительство возражать, если я приеду на заседание правительства как председатель Национального собрания. Он пригласил меня: «Приезжай». Тогда я поехал в правительство, говорил там о возникшем положении и просил, чтобы оно серьезно занялось этим делом и постаралось отвергнуть заключения этого манифеста. Я говорил: «Товарищи, Парламент ожидает завтра в 9 или 10 часов сообщения вашего председателя, и если вы не выработаете вашу точку зрения, то может случиться, что правительство выработает ее через неделю. Но это уже будет иное правительство, это уже будете не вы».

Это была жестокая угроза. Потом еще было несколько разговоров в кулуарах обо всем этом деле, и утром премьер-министр вместе с правительством приехали в Парламент, премьер-министр выступил, его выступление было удачным. Думаю, что это была правильная точка зрения, и Парламент уже единогласно ее одобрил.

ОП: Тогда ты написал «1000 слов». Они уже отличались от твоей первоначальной реакции.

ИС: Вместе с другими, Дубчеком, Черником, Славиком³⁸ и еще некоторыми товарищами, мы на следующей неделе, в среду, встретились с авторами, или же, вернее, с теми, кто подписал манифест «2000 слов». Был там Вацулик, были там и другие. Кажется, наш разговор происходил в Хрзанском дворце, в полдень. Что им, собственно, пришло в голову, какие цели они преследуют?

Они доказывали нам, что мы этого не поняли, что это — страшное недоразумение, что они хотят помочь, а не повредить.

Думаю, что мы были правы в том, что те выводы манифеста, где авторы призывали к определенным кампаниям, были нехорошими. В любом случае, вся эта затея была неудачной, если учесть, как манифестом потом злоупотребляли, что вокруг этого происходило и какой это был предлог для грандиозной травли против нашего дела.

После дискуссии с ними (подписавшими манифест. — Ред.) я написал через неделю статью в газету «Праце» («Труд», чешск. — Пер.) под названием «1000 слов», где я признавал утверждение подписавших «2000 слов», что они, конечно, не собирались повредить — вообще речь не шла ни о какой контрреволюции или о каких-нибудь таких вещах, которыми потом злоупотребляли. Однако одновременно я должен был сказать, что разжигать страсти у народа — это неправильный метод. Я вспомнил, далее, куда это приводило в 50-е годы, когда около 10.000 резолюций приходили в ЦК партии, с требованием, чтобы наказания в процессах были еще более строгими и чаще казнили через повешение, дольше держали в тюрьмах и тому подобное. Я вспоминал в статье, что надо избегать каких угодно призывов; между доброй волей и тем, как она иногда может быть понята, часто бывает большая разница. Они (подписавшие. — Ред.) наверняка хотели добра, а в конечном счете все это повернулось и против них, против нас, против всех это было скверно использовано.

ОП: В то время ты встречался со студентами. Твои отношения со студентами вообще заслуживали бы отдельного рассказа.

ИС: Было торжественное представление в Национальном театре, думаю, что праздновалось 100 лет

Национального театра. Был там президент, первый секретарь, я и другие. Когда мы покидали здание, я встретился в коридоре с Шиком³⁹.

Он сказал мне, что в тот вечер получил сообщение, что на завтра какие-то студенты организуют в Праге мероприятие. Что они пойдут на улицу из вузов и вообще из учебных заведений и будут требовать выхода ЧССР из Варшавского пакта. Мол, они говорили перед этим с какими-то писателями, те их предупреждали, но безуспешно, студенты не поддаются на уговоры.

Тогда я сразу же пошел к Дубчеку, еще успел перехватить его где-то на улице, перед зданием Национального театра. Сказал ему, что немедленно еду в городской комитет партии, он пусть идет домой спать, что я сам организую все необходимое на завтрашний день, чтобы ничего не случилось.

Городской комитет заседал, я там сделал сообщение, и мы договорились, что еще в течение ночи и, главное, рано утром, в учебных заведениях и повсюду в других местах будут проведены такие мероприятия, чтобы никакие выступления молодежи произойти не могли. Богоуш Шимон (генеральный секретарь городского комитета КПЧ в Праге. — Ред.) организовал это вместе с остальными. Утром во все вузы были посланы наши товарищи; мы тоже немедленно предоставили себя в распоряжение и были готовы пойти туда, если бы студенты хотели что-нибудь начать. Мы также приняли на всякий случай меры, чтобы милиция находилась в полной готовности и в случае, если бы студенты из какого-нибудь вуза хотели выйти на демонстрацию, могла бы этому воспрепятствовать.

Оказалось, что это не утка. Действительно, у некоторых ребят из тех вузов возникла такая мысль, но наши меры имели полный успех, так что ничего не

произошло: ни собрания, ни какой-нибудь попытки устроить демонстрацию.

Мне кажется, что всегда, когда была дискуссия со студентами, выходило, что с ними можно договориться. У меня есть большой опыт в этом деле, я побывал на очень многих факультетах, ходил туда, где атмосфера была наиболее накаленной. И даже если наши взгляды не сходились во всем на 100 процентов, то расставались мы всегда спокойно, с должной мерой приличия в политической дискуссии. Более или менее мы всегда договаривались.

И поэтому у меня было не только к молодежи вообще, но и к студентам, — абсолютное доверие. Я знал, что пусть происходит все, что угодно, они не сделают ничего необдуманного.

ОП: Между тем как доверие внутри страны возрастало, росла международная напряженность. В июне ты возглавлял парламентскую делегацию, отправляющуюся в Москву. Вокруг этой поездки было много дискуссий. Почему?

ИС: Поездка делегации в Советский Союз была запланирована давно, как ответный визит на посещение делегацией Верховного Совета нашей страны. Однако время, когда наша поездка должна была осуществиться — июнь — было мало благоприятным для поездки такой делегации, а также для меня, потому что я активно участвовал во всех событиях 1968 г.

Мы поехали. На аэродроме нас встречали, среди других, председатель Совета Национальностей, председатель Совета Союза, был там председатель Верховного Совета Подгорный. Мы отправились в поездку по Советскому Союзу.

Я, как руководитель делегации, при каждой возможности говорил о проблемах нашей страны, причем, думаю, что я сказал этого достаточно; я снова подчеркивал незыблемую веру в добрые братские от-

ношения с Советским Союзом. Конечно, о наших проблемах я говорил тоже, хотя только в общих чертах, без подробностей, так что это не ускользнуло от внимания советских властей.

Поэтому примерно через три дня, когда мы вернулись из Волгограда в Москву и должны были лететь оттуда в Ригу, я получил нового проводника, которым был уже упомянутый Зимянин, бывший посол у нас, говоривший мне в самолете, чтобы в своих выступлениях я не упоминал о проблемах, которыми живет Чехословакия, о тех проблемах, которые мы называли демократизацией и т. д. Ссылался он при этом на то, что советские люди не настолько информированы, не посвящены в суть дела, широко, подробно разъяснить это на таких собраниях нельзя, а если только кратко упоминать об этом, потом у них будет сумбур в головах. То есть, более или менее просьба, чтобы я об этом не говорил.

Я пошел ему навстречу, в своих выступлениях говорил об этом меньше. Тем не менее, после возвращения в Москву мы устроили пресс-конференцию с советскими журналистами. Было их там примерно 80 человек, конференция длилась несколько часов, была острой. Журналисты задавали атакующие вопросы, я сказал бы, в духе «Белой книги», — хотя и не настолько остро, — я же отвечал им совершенно четко и однозначно, как раз потому, что это были журналисты.

Например, вспоминаю: когда нам ставили в вину, что мы хотим расширять связи с капиталистическими странами, что хотим получить от них заём, то я задавал им вопрос: «Берет советское правительство ссуды от капиталистических стран? — Берет. Даже заводы дает себе строить — «Рено», «Фиат», японские инвестиции, — говорил я. — Есть в этом что-нибудь странное? Советский Союз это делает. Я полагаю, что это правильно. Почему же вы упрекаете нас, что мы хо-

тим делать нечто похожее, хоть и в несравненно меньшей мере, соответствующей возможностям Чехословакии?».

Дискуссия была очень резкой, утомительной, однако в газетах из всего этого почти ничего не появилось.

На прощание нашу делегацию принял Брежнев. Официальный прием длился около часа. Проходил он дружески, очень много чувств во всем было, даже и слез; обстановка была непринужденной, сердечной.

После окончания меня товарищ Брежнев попросил, чтоб я остался там еще для разговора с глазу на глаз. Так и было. Не присутствовал ни Коуцки, наш посол, ни кто-либо другой с советской стороны, — мы с Брежневым были одни. Он снова высказывал свои опасения, недовольство развитием положения у нас в духе ранее происходивших разговоров, о которых я уже упомянул. И еще он говорил о вождях. Выразил недовольство выборами, жизненным и партийным опытом товарища Дубчека. Примерно в том смысле, что он не соответствует занимаемой должности. Наоборот, в совершенно четкой форме говорил обо мне. Извинился передо мною, что меня в первые месяцы советские руководящие представители еще не знали достаточно хорошо, так что их пропаганда могла произвести на меня неблагоприятное впечатление, чтоб я извинил их, что так бывает, что это — от неинформированности. Говорил о том, что я старый человек, который почти сорок лет посвятил партии. Ставил вопрос так, как будто я должен был нести ответственность за то, чтобы положение у нас изменилось, в соответствующем духе, как нам они советовали и для чего потом, в августе, — приняли известные меры.

Я был очень озабочен этим разговором, потому что я знал, что Брежнев мне предлагает. Как же теперь отказаться, чтобы это носило приемлемую форму, чтоб

это было однозначным? Тогда я стал защищать Дубчека. Не только нашу политику, но и Дубчека. Как он быстро развивается, что хотя у него очень много работы, но он с ней справляется и что из него становится действительный вождь партии, каким он должен быть. Я просто отклонил то предложение, которое мне тут, собственно, было сделано.

Я никому ничего не сказал, вернулся домой, где рассказал об этом жене. Что с этим делать? Я решил: если расскажу об этом Дубчеку, то только его разволную. И я решил, что буду молчать об этом, что никогда никому об этом не скажу. И я действительно не сказал. Однако, когда мы потом были в августе арестованы и не знали, чем все это кончится, так в Закарпатской Украине, где нас с Черником держали в лесу, в каком-то полицейском бараке, я рассказал ему об этом: если он еще когда-нибудь встретится с Дубчеком, то пусть ему скажет, что когда я был в июне в Москве, то Брежнев мне говорил то-то и то-то предлагал. Что я отказался от этого, ну, и те причины, почему я это не сказал Дубчеку. Когда мы потом вернулись домой из Москвы, все произошло по-другому, чем мы себе представляли; уже в августовские дни я спрашивал в Граде Черника, сказал ли он об этом Дубчеку. Он сказал, что нет, что когда он увидел, что положение изменилось и мы вернемся домой, то решил об этом промолчать. И тогда я, — а было это во время совместного обеда, на котором присутствовали Дубчек, Черник, Свобода и я, — снова рассказал всем троем историю разговора с Брежневым.

ОП: Наверное, надо бы вернуться назад. Как было дело с Варшавским письмом?

ИС: Следующим актом в ходе всех этих крупных событий было Варшавское письмо. Я не хотел бы сам вспоминать об истории вокруг Варшавского письма,

потому что обо всем этом деле довольно точно рассказал на сентябрьском пленуме ЦК партии — в сентябре 1969 г. — товарищ Дубчек. Поскольку вокруг этой истории было столько разговоров, то он описал ее, и в своем дальнейшем рассказе я буду пользоваться этим документом.

Хочу добавить, что для нас это было не какое-нибудь совещание (в Варшаве. — Р е д.), но мы были вызваны, чтобы отвечать за содеянное. Мы должны были давать отчет. Приглашение носило такую форму, что это каждого оскорбляло. Хочу снова подчеркнуть, что данные для своих воспоминаний я черпаю из описания Дубчека, потому что перед заседанием ЦК в 1969 г. мы долго и тщательно обсуждали, какова была точная последовательность всех тогдашних событий, приглашений, дат и пр. И никто уже лучше не опишет хронологию тех событий, не составит такую документацию, как это сделал именно Дубчек.

Все дополнительные слухи, — что, мол, если бы нас Дубчек лучше информировал, то мы поехали бы в Варшаву,⁴⁰ — только клевета. Я, например, вспоминаю, что когда мы получили приглашение — особое письмо от Червоненко, и ЧТК (Чехословацкое агентство печати. — Р е д.) сообщило, что остальные делегации съезжаются в Варшаву, то в Президиуме ЦК было решено, что Президиум ЦК нашей партии не должен покинуть территории нашей Республики.

Я ничего не хотел бы прибавлять или убавлять, но я ставлю перед собой вопрос: кто, собственно, внес это предложение? Мне что-то все время подсказывает, что именно Олдржих Черник внес это предложение и аргументировал его тем, что Президиум ЦК партии не должен бы, при том положении, которое существует, покидать территорию Республики и ездить на какое-либо совещание вне этой территории.

Первый, кто предложил отказаться от поездки в Варшаву, был словацкий Президиум ЦК компартии

Словакии, и его резолюцию привез в Прагу Василь Билак, причем еще перед 17 июля 1968 г., то есть перед заседанием Президиума ЦК КПЧ. Это было напечатано, кажется, даже в «Руде Право» и наверняка — в словацкой «Правде», 16 и 17 июля. Однако после апреля 1969 г. об этом весьма предусмотрительно забыли.

ОП: Позже появились обвинения, что ты выдал содержание письма Городской конференции в Праге. Несмотря на всю абсурдность этого обвинения, можно ли об этом сказать несколько слов?

ИС: Прежде всего, я вряд ли когда-нибудь буду заниматься — думаю, что никогда — опровержением какой-нибудь клеветы, потому что её было так много, что меня это перестало интересовать.

Это бессмыслица. Когда на заседании Президиума ЦК я ознакомился с приглашением на Варшавское совещание, то это слышали двадцать человек и, кроме них, — еще десять работников аппарата. Было нас на этом заседании тридцать человек, а если двадцать человек узнало об этом прямо в здании ЦК, так это значит, что об этом знали все пятьсот или шестьсот служащих. Кто-то это разболтал. При таком положении это просто неизбежно. Когда мы получили официальное приглашение на Варшавское совещание, то ознакомились с ним, а когда я потом вечером шел на заседание городского комитета партии и говорил там об этом, то вряд ли можно сказать, что я что-нибудь выдал. В тот же день об этом тоже сообщило ЧТК. Нам сообщили, что мы должны ехать в Варшаву, что туда съезжаются остальные делегации, и об этом тоже было сообщение в печати — не от нас. Разве можно после этого говорить, что это было выдано, — ведь получается вздор.

ОП: Это происходило за неполных две недели до встречи в Чиерне-над-Тиссой. Вокруг этой встречи

было немало волнений и многочисленных недоразумений. Только 21 августа появился, как кажется, ответ на затруднительный вопрос, касающийся ее успеха. Несмотря на это, до сих пор нельзя понять вполне ясно, почему и в какой момент отступили от основы переговоров и заменили ее военной силой.

ИС: Место переговоров, Чиерна-над-Тиссой, было выбрано потому, что Президиум нашей партии отказался покинуть территорию Республики; как будто мы догадывались о намерениях советских представителей, которые они осуществили потом — 21.8.1968 г. Для советской делегации Чиерна давала возможность находиться только в нескольких десятках метров от своих границ, ночью быть дома, так как каждый день их спальный вагон возвращался за границу, и иметь под рукой все необходимое, среди них, вероятно, — и постоянную связь с коллегами по Варшавскому совещанию.

Наша поездка в Чиерну привлекала к себе внимание всего народа. Тогда возник Манифест, автором которого был, кажется, Павел Когоут⁴¹.

Манифест давал нашей делегации мандат доверия, — мало какая чехословацкая делегация имела нечто подобное на международных совещаниях, — но вместе с тем он устанавливал ту границу, которую мы не могли перешагнуть в наших переговорах. В Манифесте подчеркивалось, что мы должны удержать и защитить четыре постулата Чехословацкой социалистической республики, а именно: социализм, союзничество, суверенитет и свободу, являющиеся программой нашей страны, нашего народа.

В беседах по пути в Чиерну я сформулировал нашу задачу, подчеркивая, что у нас есть два мандата: во-первых, защищать программу послеянварской политики, запечатленную в «Программе действий» партии, и, во-вторых, предотвратить разрыв с Советским Союзом.

Так я это формулировал. Брежнев в своем выступлении атаковал эти два мандата, прежде всего в том направлении, что мы оказывали давление на переговоры.

У Брежнева опять были помощники на нашей, чехословацкой стороне, причем, не только Билак, как это было 4 мая в Москве, но и Колдер⁴² и некоторые другие.

Хочу показать на одном конкретном примере, — хотя их можно было бы привести сотни, — как народ стоял за наше дело. В Чиерну приехала делегация из района, не помню, был ли это Тренчин или Жилина — мне надо было бы проверить, что это был за район, потому что в том напряжении и быстрой смене событий эти два названия слились у меня воедино, а здесь, в больнице, мне негде справиться об этом.

Делегация хотела говорить с Дубчеком. Я принял ее как его заместитель. Они привезли переплетенные в виде книги страницы петиции, подписанные всеми гражданами их района. Подписей всего было двадцать тысяч и несколько десятков сверх этого числа. Товарищи подчеркивали, что подписали все граждане района, включая больных. Петиция была написана в поддержку Манифеста, о котором я уже упоминал. Думаю, что недоставало бы только малого процента, если бы была возможность всенародного плебисцита. Такое единство мыслей и сознательности людей вряд ли когда-нибудь существовало в нашей истории. Августовские дни после вторжения войск еще выразительнее показали это. Социализм, союзничество, суверенитет, свобода — таковы слова, выражающие все то, за что боролся наш народ, многие его поколения, всё рабочее движение, что записано в программе международного коммунистического движения, за что велись и ведутся справедливые войны. Все это было одобрено нашим народом и против этого была под-

нята эта трагическая кампания советских товарищей, всей «варшавской пятерки».

Переговоры начались в понедельник, в Доме железнодорожников. Обе делегации жили в своих спальных вагонах, стоявших на рельсах рядом друг с другом, наш — на узкой колее, и рядом советский — на ширококолейном пути. Не могу забыть, как наши товарищи просили нас быть осторожными, чтобы мы не очутились внезапно на другой стороне границы. Думаю, что это недоверие было очень важно для наших людей, и позднейшие события его только углубили.

Совещание проходило в таком же духе, как и в Москве 4 мая, только гораздо острее. Выступали советские товарищи, выступали и мы. Однако тогда как советский Президиум, где отсутствовали, кажется, три человека — Полянский, Мазуров и Кириленко — выступал в полном единстве, то на нашей стороне дело обстояло иначе.

Главное слово от нашей делегации имели Дубчек, который объяснил политику партии, и Черник, разъяснявший ее с позиции государственной политики. Потом, разумеется, выступал каждый. С позиций Дубчека, Черника выступали я, Кригель и другие товарищи. Их список есть в моих заметках. Однако другая группа наших — Билак, Колдер, Швестка, снова эта знакомая группа — те выступали с позиций советских аргументов. Так что у нас положение было нехорошим, потому что они критиковали всё, что говорил Дубчек или мы, остальные.

Во вторник вечером выступал секретарь Украины Шелест, который обвинил нас в том, что в нашей стране даже печатаются листовки, которые распространяются в Закарпатской Украине, с призывом отторгнуть Закарпатскую Украину от Советского Союза, и ответственность за это сваливал на нас. После целого ряда таких нелепостей в его выступлении дело кончилось тем, что Дубчек поднялся и мы с ним —

тоже, потому что мы не хотели больше всё это слушать, позволять оскорблять себя.

Дубчек заявил, что если это будет так продолжаться, то мы немедленно уедем домой и в таком совещании участвовать не будем. Я тоже встал, подошел к Червоненко, который там тоже присутствовал, и сказал ему, что как председатель Национального собрания хочу заявить ему и прошу передать правительству СССР, что если с представителями ЧССР переговоры будут вестись подобным образом, то я не буду участвовать в таком унижительном и оскорбительном совещании. Совещание просто развалилось. Мы поднялись и покинули помещение Дома железнодорожников.

ОП: Все?

ИС: Все ли — я с трудом могу сегодня сказать, что все, не знаю, остался ли там кто-нибудь. Некоторые ушли в наш вагон, я ходил по перрону, и через некоторое время ко мне прибежал кто-то из работников аппарата, что я должен прийти в спальный вагон к Дубчеку, что там сейчас советская делегация. Кроме Брежнева, там был Подгорный, Косыгин, Суслов и, думаю, что и этот Шелест. Не помню уже точно. Они извинились, что Шелест переборщил. Одним словом, пребывание в вагоне длилось около двух часов, было видно стремление помириться, для того чтобы продолжать переговоры.

Действительно, мы как будто бы помирились. На второй день утром — это была среда — совещание не продолжалось ввиду того, что Брежнев заболел; Дубчек должен был посетить Брежнева в его вагоне. Пока он был в вагоне у Брежнева, мы, остальные, ходили по Чиерне-над-Тиссой.

Я, например, шел со Свободой, с советской стороны с нами шли Подгорный и Косыгин. Мы гуляли

по этому городку и опять дискутировали обо всех этих вопросах.

После того как около полудня мы вернулись в вагон, Дубчек информировал нас о своем разговоре с Брежневым: что переговоры должны закончиться, что советская сторона выработала коммюнике, которое, в общем, ничего не говорило, и внесла предложение, вернее, решение, что в субботу соберутся все партнеры по Варшавскому совещанию и мы, чехословацкая сторона, — таким образом, шестеро, — в Братиславе.

И вот мы вернулись на самолете домой из Чиерны, а в пятницу снова поехали в Братиславу, где, однако, не произошло никакого совещания, но где, по предложению советских представителей, из каждой делегации было выбрано два представителя — Первый секретарь ЦК и еще один советник. Это был, собственно говоря, редакционный совет, который в течение субботы выработал то известное Братиславское заявление, вообще не касавшееся Чехословакии, которое было посвящено общим принципам поведения коммунистических партий социалистических стран в международных вопросах.

Но вернемся еще к Чиерне. Там были приняты строгие меры: например, наши сотрудники, — каждый из нас мог взять кого-нибудь с собой, секретаря, со мною тоже был сотрудник — однако, не могли участвовать в этих переговорах. Они не были там.

Вход на нашу территорию — к вагону и к месту совещания — охранялся органами безопасности, так что туда никто не мог попасть.

Время от времени кто-нибудь все же проникал. Люди приветствовали нас, было там множество людей и из других мест, не только из Чиерны-над-Тиссой, как мы потом узнали.

ОП: Позже много раз повторялось, что в Чиерне представители Чехословакии и Советского Союза до-

говорились и что Чехословакия потом нарушила этот договор. О чем же вы, стало быть, договорились и что же, собственно, было нарушено?

ИС: Когда я снова повторял себе, чего же от нас конкретно хотят советские товарищи, перебирая весь этот огромный поток критики, то мои размышления привели меня к нескольким конкретным требованиям. Последовательность не играет роли. Сначала персональные вопросы:

так, например, категорическое требование, чтобы доктор Кригель перестал быть председателем Национального Фронта;

второе требование — Честмир Цисарж не должен быть секретарем ЦК КПЧ, лишить его должности секретаря в Президиуме ЦК партии;

третье требование — мы не должны разрешить существование социал-демократической партии;

четвертое требование — мы должны запретить КАН и К-231;

и, наконец, средства массовой информации. Мы говорили себе — это будет самое трудное, потому что мы не хотим снова вводить цензуру, недавно уничтоженную, хотим это сделать демократически, договориться. Что касается журналистов — в этом направлении мы тоже примем необходимые шаги; после возвращения из Чиерны мы с ними очень много говорили, положение тоже менялось, мы приняли разные правительственные меры, которые должны были воспрепятствовать различным крайностям в передаче информации.

Таковы были эти несколько конкретных требований, вытекавших из совещания в Чиерне.

Но через неделю после этого товарищ Брежнев звонил каждый день Дубчеку и спрашивал, почему это не выполняется. Дубчек снова ему объяснял, что будет происходить в конце августа в ЦК, что будет происходить на съезде, объяснял, что мы не можем

сделать это административным порядком. Всё было напрасно, потому что нас не хотели понимать. Сначала они приняли это к сведению, а потом стали говорить нам, что мы не выполняем резолюции, соглашения. Так вот они, эти, так называемые соглашения. Никаких соглашений не было — мы сказали, что либо вопросы уже решены, или же они будут решены и как это будет решаться.

С этим мы и уходили из Чиерны-над-Тиссой; в Праге мы сразу же рассказали обо всем на собрании руководящих партийных работников во Дворце съездов, выступали мы там все, объективно, ничего не утаивая. Только о той отвратительной атмосфере, которая царила в Чиерне, мы, понятно, нигде не говорили.

ОП: Говорилось ли там вообще о том, что требования, выдвигаемые советскими руководителями, особенно те, персональные, и другие, являются неуважением к нашему суверенитету и вмешательством во внутренние дела? Хотя бы как о принципе, раз уж практика повсюду в мире иная?

ИС: Сегодня всё это так просто. И, в общем, тоже ни к чему. Это мы знали, но при этом мы не понимали, не могли понимать, что всё это только предлоги.

(Окончание следует)

КОММЕНТАРИИ

¹ «Уроки кризисного развития КПЧ в 1968 - 69 гг.» — документ, принятый ЦК КПЧ в 1970 г., который, по замыслу авторов, должен был «разоблачить» притягательную силу идей 1968 г.

² Боровка Йозеф — в 1968 г. член ЦК и на короткое время член Президиума ЦК КПЧ (будучи членом Президиума, он оставался председателем сельскохозяйственного кооператива). Позже он был министром сельского хозяйства; с 1970 г. — исключен из КПЧ и живет в деревне.

³ Доланский Яромир — старый член партии; с 1945 г. почти непрерывно — член Президиума ЦК КПЧ; долгие годы председатель Госплана и министр финансов. Умер в 1973 г.

⁴ Штроугал Любомир — бывший министр земледелия, министр внутренних дел; теперь — член Политбюро и премьер-министр Федерального правительства. Он удержался на своих постах, несмотря на то, что 25 августа 1968 г. подписал от имени чехословацкого правительства резкий протест против советской оккупации ЧССР.

⁵ Град — Пражский Кремль, традиционная резиденция чехословацких президентов.

⁶ Ленарт Йозеф — словацкий политик умеренных взглядов, бывший премьер-министр Чехословакии (1963-68 гг.). В настоящее время — первый секретарь ЦК компартии Словакии.

⁷ Ланы — летний дворец президента ЧССР, расположенный недалеко от Праги.

⁸ Худик Михал — словацкий политик консервативных взглядов; в период 1964 - 68 гг. — член Президиума ЦК КПЧ. В семидесятых годах — посол ЧССР в Болгарии.

⁹ Садовский Штефан — словацкий политик; в 1968 г. — секретарь ЦК КПЧ. В настоящее время работает мелким административным служащим.

¹⁰ Немец Йозеф — чешский консервативный политик; после 1968 г. — министр юстиции ЧССР и председатель Союза чехословацко-советской дружбы.

¹¹ Кленхова-Бессерова Людмила — депутат Национального собрания ЧССР, член ЦК КПЧ.

¹² Козелка Бедржих — депутат Национального собрания, бывший секретарь чехословацких профсоюзов.

¹³ Кригель Франтишек — врач, участник испанских интербригад, сражался на войне с Японией в Китае. Один из наиболее принципиальных и прогрессивных политиков 1968 г. В 1968 г. — член Президиума ЦК КПЧ, председатель Национального Фронта и главный врач одной из пражских больниц. После 1968 г. исключен из КПЧ и уволен с работы. Сейчас живет на пенсии в Праге.

¹⁴ Шимунок Отокар — член Президиума ЦК КПЧ и долгие годы — председатель Госплана.

¹⁵ Высочаны — район Праги, в котором расположены крупнейшие промышленные предприятия.

¹⁶ Рузинь — известная следственная тюрьма в пригороде Праги. В ней велись следствия не только при известных политических процессах в 50-е годы (в ней, между прочим, допрашивали и Сланского, и Гусака), но и при политических процессах 70-х годов.

¹⁷ Червоненко Степан — член ЦК КПСС, посол СССР в Чехословакии (в период обострения отношений между СССР и Китаем — в начале конфликта — был послом в Китае; в настоящее время — посол СССР во Франции).

¹⁸ Конопите — замок в 30 км от Праги.

¹⁹ Свобода Людвик — генерал армии, во Второй мировой войне — командующий чехословацкой армией на Восточном фронте. Герой Советского Союза; в 1952-55 гг. работал бухгалтером в с/х кооперативе. С 1968-1975 гг. — президент ЧССР и главнокомандующий чехословацкими вооруженными силами.

²⁰ Дубчек Александр — словацкий политик; в период 1963-69 гг. — член Президиума ЦК КПЧ; с января 1968 г. — первый секретарь ЦК КПЧ. В 1970 г. исключен из КПЧ. В настоящее время работает механизатором в Управлении лесного хозяйства в Братиславе.

²¹ Официальное коммюнике было кратким, формальным и не содержало даже намёка на те проблемы, которые тогда решались в ЦК КПЧ.

²² Черник Олдржих — чехословацкий политик; в период 1966-1970 гг. — член Президиума ЦК КПЧ; 1968-70 гг. — председатель Правительства ЧССР. В 1968 г. относился к прогрессивным членам руководства; в настоящее время исключен из КПЧ и работает техническим служащим в Праге.

²³ «Программа действий» — обширный манифест, принятый ЦК КПЧ в апреле 1968 г., содержащий анализ основных причин чехословацкого кризиса и принципы новой политики КПЧ.

²⁴ «Десять пунктов» Клемента Готвальда — сжато сформулированные принципы политики КПЧ, написанные им после захвата власти коммунистами в 1948 году.

²⁵ ЧКД — крупнейший машиностроительный завод в Праге.

²⁶ Гендрих Иржи — чехословацкий политик, член Президиума ЦК КПЧ в 1958-68 гг., секретарь ЦК КПЧ по идеологическим вопросам. Выведен из Президиума в 1968 г. как сторонник и бывший сотрудник Новотного.

²⁷ Гусак Густав — словацкий политик, приговоренный на процессах 50-х годов к пожизненному заключению; затем реабилитирован. В 1968 г. — активный сторонник Дубчека. После оккупации ЧССР — первый секретарь ЦК компартии Словакии, с 1969 г. — Генеральный секретарь ЦК КПЧ.

²⁸ Билак Василь — один из наиболее консервативных словацких политиков. Портной-недоучка из Закарпатской Украины, — он до 1968 г. занимал пост первого секретаря ЦК КПС, после 1968 г., по требованию советского руководства, остался в Президиуме ЦК КПЧ — отвечает в ЦК за идеологические вопросы, вопросы международных связей и за работу МВД.

²⁹ Новомеский Лацо — известный словацкий поэт и деятель культуры. Осужден и реабилитирован вместе с Гусаком. С 1968 г. — член Президиума ЦК КПС. Известный переводчик советской поэзии (интересно отметить, что в вышедшем в 1969 г. словацком переводе «Доктора Живаго» стихи в романе переведены им).

³⁰ Репрезентяк — «Репрезентачни Дум» (чешск.) — известное кафе в центре Праги.

³¹ Лебл Эвжен — чехословацкий экономист; в 50-х годах приговорен к пожизненному тюремному заключению. После 1968 г. живет на Западе.

³² Индра Алоис — просоветский консервативный политик. После оккупации ЧССР в 1968 г. убежал в Москву; теперь он — председатель Национального собрания и член Президиума ЦК КПЧ. В августе 1968 г. ему было поручено, по решению советского руководства, сформировать революционное рабоче-крестьянское правительство, которое должно было «приветствовать» советские войска в Чехословакии (этот замысел был сорван, благодаря воззванию Президиума ЦК КПЧ и решительному сопротивлению президента Л. Свободы).

³³ Хагер Курт — член Президиума ЦК СЕПГ, идеолог Ульбрихта. Первые публичные нападки на новую чехословацкую политику в 1968 г. содержались в его статьях и выступлениях.

³⁴ «Белая книга» (к событиям в Чехословакии) — документ, составленный «группой советских журналистов» и опубликованный в СССР осенью 1968 г., цель которого — оправдание военной интервенции СССР в Чехословакии. В целом примитивно составленный сборник, полный фальшивок, лжи, антисемитской пропаганды и т. д.

³⁵ Догналова М. — консервативный депутат Национального собрания. В 1970 г. потребовала в Национальном собрании новых политических процессов — над Дубчеком и его единомышленниками.

³⁶ КАН — («Клуб ангажованных нестрианику» — чешск.) — «Клуб ангажированных беспартийных», организация, которая хотела объединить беспартийных с целью активного участия в общественной жизни.

К-231 — «Клуб 231», организация бывших политзаключенных в процессах 1948-1958 гг., добывающаяся их полной судебной и политической реабилитации.

³⁷ Манифест «2000 слов» (его автор — чешский писатель Людвик Вацулик) опубликован в июле 1968 г. Манифест подписали тысячи деятелей культуры, искусства, науки, спорта, многие политики и т. д.

³⁸ Славик Вацлав — член секретариата ЦК КПЧ, занимался вопросами культуры и литературы. Исключен из КПЧ в 1969 г.; в настоящее время работает простым рабочим.

³⁹ Шик Ота, академик, известный чешский экономист, с именем которого связывается экономическая реформа в Чехословакии в 1968 г. В 1968 г. он был первым заместителем председателя чехословацкого правительства. В настоящее время живет в Швейцарии.

⁴⁰ В июле 1968 г. «варшавская пятерка» (т. е. Брежнев, Ульбрихт, Гомулка, Живков и Кадар) оскорбительным образом потребовали от Дубчека, чтобы он приехал отчитаться о событиях в ЧССР.

⁴¹ Манифест — наставление Президиуму КПЧ, опубликован накануне встречи в Чиерне-над-Тиссой. Манифест, озаглавленный «За социализм, свободу, суверенитет и союзничество», подписали в течение нескольких дней около двух миллионов чехословацких граждан.

⁴² Колдер Драгомир — в 1962-1968 гг. член Президиума ЦК КПЧ и секретарь ЦК КПЧ, один из руководителей самых консервативных сил в КПЧ.

⁴³ Симон Визенталь — директор еврейского центра по расследованию преступлений нацистов. Летом 1968 г. разведкой ГДР было якобы перехвачено его письмо, из которого вытекает, что «пражская весна» — дело рук сионистов и поддерживается ими.

⁴⁴ В июле 1968 г. недалеко от гор. Соколов в Северной Чехии найдено оружие, якобы подброшенное американцами для чехословацкой контрреволюции. Расследование показало, что хотя оружие было американского происхождения, но вазелин в нем оказался из ГДР, а рюкзаки были советские.

⁴⁵ Иван Удадьцов — историк, специализирующийся по Чехословакии. На самом деле — офицер высокого ранга КГБ, долгие годы — ответственный сотрудник посольства СССР в Чехословакии.

⁴⁶ Млынарж Зденек — юрист, в 1968 г. — секретарь ЦК КПЧ и председатель правовой комиссии ЦК. Он первый заявил, что после оккупации нельзя продолжать после-

январскую политику и ушел из Президиума ЦК. Исключен из КПЧ; в настоящее время занимается энтомологией.

⁴⁷ Якеш Милан — консервативный политик, председатель ревизионной комиссии ЦК.

⁴⁸ Моц Станислав — в настоящее время — главный редактор центральной партийной газеты «Руде Право».

⁴⁹ Шпачек Йозеф — бывший первый секретарь Южно-Моравского областного комитета партии, член Президиума ЦК КПЧ. Принадлежал к прогрессивному крылу. В настоящее время — рабочий; исключен из КПЧ.

⁵⁰ Рузинь — Пражский международный аэропорт (недалеко от него находится тюрьма с тем же названием).

⁵¹ Шальгович Вильям — в августе 1968 г. был начальником чехословацкой госбезопасности и зам. министра внутренних дел. За содействие советским органам при оккупации ЧССР и за помощь при ее подготовке был 23 августа 1968 г. решением чехословацкого правительства смещен со своего поста, после чего сбежал в Болгарию и скрывался там долгие месяцы. Теперь он «реабилитирован» — занимает пост председателя Центральной ревизионной комиссии компартии Словакии. В 1975 г. назначен председателем Словацкого национального совета.

⁵² Бартоломейская улица — штаб-квартира пражской полиции; там находятся и органы госбезопасности.

⁵³ Дзур Мартин — министр вооруженных сил во время «пражской весны». Это он первый позвонил Чернику и сообщил ему об оккупации. Поздно вечером 20 августа советские военные советники при чехословацком Министерстве обороны интернировали его, чтобы он не мог дать распоряжение армии защищать страну.

⁵⁴ Кучера Богуслав — министр юстиции; представитель партии чешских социалистов.

⁵⁵ В августовские дни вся Прага пестрела надписями, осуждающими оккупацию. В надписях отразился талант и юмор чехословацкого народа. Вспоминаются, например, надписи, сделанные азбукой:

«Ленин, проснись, Брежнев сошел с ума!»

«Ваши отцы — освободители, вы — захватчики».

⁵⁶ По старой легенде, умирающий чешский князь Сватоплук дал своим трем сыновьям связку прутьев, — вместе их ни один не мог переломить, по отдельности — легко. Этим Сватоплук хотел продемонстрировать важность единства.

⁵⁷ Пинкава Й. — рабочий, в 1968 г. был членом Президиума ЦК КПЧ.

⁵⁸ Эрбан Эвжен — бывший социал-демократический политик; в настоящее время — член Президиума ЦК КПЧ, председатель Национального Фронта.

СМРКОВСКИЙ Йозеф — род. в 1911 году. С 20 лет — член коммунистического союза молодежи. С 1939 по 1945 гг. находился в подполье, выполняя различные партийные поручения. В 1945 году становится заместителем председателя чешского Национального собрания. В 1951 он был арестован. Несмотря на продолжавшееся два года следствие, где к нему были применены пытки, он не давал никаких показаний. В 1953 году приговорен к пожизненному заключению. В 1955 был освобожден, но реабилитирован только в 1963 году. Был членом ЦК КПЧ, министром лесного и водного хозяйства. В апреле 1968 года становится председателем Национального собрания Чехословакии и одним из наиболее популярных политиков пражской весны. В сентябре 1969 года его исключают из ЦК КПЧ, и в октябре того же года он перестает быть председателем Национального собрания, и вскоре его исключают из партии. С 1970 года он жил на пенсии, отстраненный от всех дел, находясь под неустанным надзором полиции. Йозеф Сморковский скончался 15 января 1974 года.

Писатель о писателе

Абрам Терц

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

(По книге Г. Владимова «Верный Руслан.
История караульной собаки»).

*« — Он не зверюга. Он просто
травмирован службой».*

Г. В л а д и м о в. «Верный Руслан».

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ:

Руслан — караульная собака, честный чекист,
русский богатырь.

Хозяин — охранник.

Главный хозяин — начальник лагеря.

Трезорка	— народ.
Тетя Стюра	

Потёртый — бывший зек, вечный спутник
Руслана.

Ингус — интеллигент, в некотором роде автор
повести Г. Владимова.

Инструктор — собачий бог, alter ego Ин-
гуса.

Джультбарс — собака, alter ego начальника
лагеря (к нему обращен эпиграф настоящей статьи).

...Значит, снова — лагерь. Знакомые запретка и
провокола. Эти слова, кажется, — «запретка», «выш-
ка», «шмон», «вертухай» — не только въелись в на-

циональное самосознание России, в ее язык и стиль жизни, но и обогатили наречия Европы и Америки, вошли в состав крови нынешнего мира. Как теперь без «запретки» что-то понять, объяснить — в смысле, что происходит, и, вообще, мироздания, земли и неба?.. Это наш космос — «запретка», наш дом, наш квадрат цивилизации. За него не выпрыгнуть, как не мог, предположим, античный мыслитель выйти за рамки «полиса», или, допустим, китаец за границы Небесной Империи, огороженные китайской стеной. И каким бы свободным, широким, в данный момент, нам ни рисовалось наше жизненное пространство, хотим мы или не хотим, мы — дети ГУЛАГа, пепел Освенцима, если взглядеться. И, просыпаясь утром посреди каких-нибудь французских парников или бразильских прерий, если прерии еще существуют, мы всегда, приглядевшись, узнаем опознавательные знаки эпохи: проволока, вышка, бараки и вертухай на вышке. Культура. Полис.

...Тем временем лагеря, запрятаные в землю, исчезнувшие, продолжающие, тихим маневром, затягивать и затягивать сети, — рожают и рожают. Давным-давно закопанные, истлевшие или спалённые кости становятся, странным образом, теперь чуть ли не единственной плодоносной почвой, говорящей — зябкими побегам — о самом важном, о главном. О том, чем жить нам сейчас, сегодня, и во имя чего исчезать. Не говорю о немцах, не знаю, но русские лагеря еще породят и уже породили словесность удивительную в мире, от которой не скроетесь, не убежите, доколе и вы живете и все мы с вами живем в двадцатом веке — за проволокой. Попытки забыть, отвязаться, списать на Сталина, хватит, надоело, устали, ну были ошибки и все вышли, не наша вина, партия признала, — это тягостное молчание, длящееся над убиенными душами, заведомо неповинными, аукнется и еще как аукнется...

Новая повесть Владимова написана по следам и от имени собаки, специально обученной, натасканной на то, чтобы водить, под конвоем, заключенных, «делать выборку» из той же толпы и настигать за сотни верст рискнувших на побег сумасшедших. Собака — как собака. Доброе, умное, любящее человека больше, чем сам человек любит своих сородичей и самого себя, существо, предназначенное велением рока, условиями рождения и воспитания, законом квадрата выпавшей на долю ему лагерной цивилизации, нести обязанности охранника и, если понадобится, палача.

О собаках существует большая литература. Имею в виду — художественные образы, от «Белого клыка» до «Каштанки». Верный друг человека, собака, в присутствии которой сам человек как будто делается мягче и яснее, более похожим на себя — со стороны преданного и немного иронического собачьего взгляда, на страницах книги становится нашим незаметным и неотступным проводником, тенью, помогающей разобраться, понять, кто же мы такие — двуногие твари, то кажущиеся богами по отношению к четвероногому брату, то каким-то нелепым, чудовищным отклонением от общей животной нормы, от вселенских представлений о добре и зле. Короче говоря, собака не только в быту, но и в литературном своем отражении помогает человеку познать самого себя.

Верного Руслана — если определять этот образ в общелитературных категориях и в собственно-авторской, предложенной Владимовым, шкале измерений, заведомо переключившей человеческие понятия на собачий язык и обратно, — иначе не назовешь, как еще одной, и притом итоговой вариацией на тему «положительного героя» в советской литературе. Соответственно, и со стороны социально-этических нормативов, Руслан вполне совпадает с представления-

ми о «передовом человеке», не выведенном, однако, специально, в инкубаторе, в качестве нравоучительной куклы, а взятом из жизни, как есть, как естественное ее порождение. Более того, Руслан — это «идеальный герой», которого так долго искали советские писатели, рыцарь без страха и упрека, рыцарь коммунизма, служащий идее не за страх, а за совесть, отдавший себя без остатка идее, вплоть до способности в любой миг пожертвовать за нее жизнью. Понятия о честности, о верности, о героизме, о дисциплине, о партийности, о нерасторжимом единстве личной и общественной воли — всё то, на чем воспитываются с детства миллионы и миллионы двуногих и что именуется научно «моральным кодексом коммунизма», выражено в этом характере с чистотой, поистине ослепляющей. И то обстоятельство, что перед нами не человек, а собака, не меняет сути вопроса, но сообщает положительным свойствам Руслана только бóльшую органичность, простоту и трогательное правдоподобие, позволяя занять ему, может быть, первое место в лучшем ряду положительных героев. В этом отношении я бы осмелился провозгласить повесть о верном Руслане вершиной, апофеозом тех идейно-воспитательных устремлений, которыми полнится вся коммунистическая пропаганда, рассматривающая искусство, мораль, политику, а порою и самую жизнь как собственный придаток.

И в то же время все эти положительные и героические начала, собранные в Руслане, так что он вырастает в живой памятник нашей эпохи, возбуждают у нас, читателей повести, скорбь и ужас, жалость и смех, горький смех: вот, оказывается, до чего можно довести человека, можно извратить собаку, обернув все добрые, природные задатки нашего естества на дело, противное жизни, на возведение и поддержание — клетки. Ведь не какие-то непонятные, неведь откуда свалившиеся на землю «злые существа»

служат охранителями и исполнителями власти, символами которой навсегда останутся запретка и колючая проволока, а мы сами, обыкновенные люди и собаки, наделенные порою незаурядными талантами по части ума, верности, храбрости, самоотверженности, умения стоять до конца на страже порядка, принимаемого за идеал человеческого устройства. Тем более это относится к основной персоне повести, к верному Руслану, показавшему чудеса высшей собачьей добродетели — верности, к Руслану, который для службы, ради хозяина — «на всё готов, пусть даже и умереть». В переводе на гражданские правила эти вполне натуральные, идущие от собачьего сердца добродетели можно довольно точно передать словами, более штампованными, к сожалению, но вмененными в закон человеку: «преданность делу партии Ленина-Сталина».

К этим достоинствам собаки следует прибавить присущие Руслану деловые качества — старательность, ряд профессиональных навыков (умение, скажем, производить ту же «выборку») и беззаветная смелость в борьбе, заставившие его остаться последним, героическим защитником режима, уже павшего в его измерениях и кинутого всеми. Правда, Руслану — с воспитательной точки зрения — недостает истинной злобы и жестокости, жажды первенствовать и руководить. Ему, что называется, не хватает апломба, нахрапа:

«— Смел, но не агрессивен. Некоторая эмоциональная тупость, — говорил с сожалением инструктор...»

Он слишком добр по природе и вместе с тем умен, рассудителен, самолюбив в лучшем смысле этого слова, чтобы лезть в лидеры, в вожди, и эту злобную роль вожака в лагерной стае берет себе, без зазрения совести, — Джульбарс. Зато недочеты Руслана в агрессивности с лихвой искупаются пре-

данностью делу, честным и бескорыстным служением, на которое не тянет и Джульбарс, с падением лагеря переходящий в приспособленцы. Итак, Руслан — богатырь лагерной России (не зря его назвали «Русланом»), золотая середина, честный коммунист, каких уже мало осталось, рядовой патриот, пламенный середняк, добросовестный охранник — каменная опора Советской власти. Он — народен, этот Руслан, но он и партиен, идеен, и потому, что всё же он — собака, то есть создание Божие, существо нелицемерное, органическое, мы, читая повесть Владимова, любим и понимаем Руслана. Вы посмотрите: разве сам он, лично, кого-либо убивает, над кем-то измывается, разве он садист, кровопивец? — да нет совсем, он даже и кусать особенно не хочет, у него одна производственная забота, ради которой он, собственно, и живет: это — чтобы соблюдался порядок, элементарный порядок, и шествующие привычными колоннами арестанты сохраняли бы предустановленный строй...

Вот произнес слово — «строй», и оно в моем критическом сознании сразу развалилось на два значения: ну, первым делом, естественно, строй арестантов, распределенных по пятеркам, в окружении собак и автоматчиков («шаг вправо, шаг влево — стреляю без предупреждения!»), и другой, более отвлеченный, обширный, но всё же «строй» — государственный, ведущий всех по пятеркам в светлое будущее... Ах, слова, слова! Они всё сами знают — без нас, — слова! И если вы назвали, предположим, общество себеподобных и всю мировую историю — «строем», то так и останется на века — за вами — «строй», в виде сомкнутых колонн, бредущих из зоны в зону.

Но при чем здесь Руслан, такой славный, спокойный и человечный пес? При чем здесь мы с вами?! А при том, что в случае чего — а случай

этот представился и совпадает с нашей эпохой — все лучшие возможности и способности человека, самые святые, уверяю вас, самые святые! — переключаются, сами того не ведая, с добра на зло, с правды на обман, с преданности человеку на умение заворачивать человека в «строй», а если он заартачится, брать за руку, за ногу, брать за глотку, рискуя, если потребуется, и собственной головой, и превращать глупую кучу по наименованию «люди», «народ» в гармонический этап арестантов — в «строй». Кто это изобрел, кто выдумал такую науку, по которой обучают и людей, и собак? Где искать виновника, первопричину? Кто-то валит (попроще) на Сталина, кто, более дальновидный, видит впереди Ленина за этим строем колонн, Ленина, бросающего палку в грядущее — «апорт!». Кто, наконец, прозревает самого Карла Маркса в зачатке злоупотреблений, в начале марша, за который всю меру ответственности в конце концов должен нести Руслан, собака... Ведь если так продолжать, то, наверное, мы доберемся до самых истоков истории, до грехопадения человека. И это — правильно. Кто первым убил? — Каин! Кто предал? — Иуда. Но если все-таки, признав и Каина, и Иуду за наших основоположников, перейти на более доступную непосредственному восприятию почву, то опять виноватым в конечном счете окажется — Руслан! Может быть (для поблажки говорю), высочайший Инструктор, предусмотревший запретку, учивший ходить по бревну — сам на четвереньках, делать «выборку» и так далее, вначале и не думал, что всё так плохо кончится? Наверняка — не думал, а просто учил собак и приспособливал к будущему, научному мировоззрению... Но нам-то, собакам, предоставлено самим разбираться в подаренном нам квадрате, в пределах «зоны», истории. С них, основополагателей, не спрашивается, а с нас — спросится. И здесь, со стороны автора, Владимирова, вторгается

в мозг и совесть еще одно мистическое понятие — Служба, то есть, говоря по-секретному, — система...

Мы питаемся слухами — даже в литературе. И вот лет двенадцать назад пронесся по Москве, среди интеллигенции, слух, что, дескать, появился рассказ, никем еще не читанный, неизвестно чей, — про то, как вскоре после смерти Сталина и преждевременной реабилитации, когда лагеря позакрывали, осталась без дела на местах, по соседним деревням и поселкам, масса караульных собак, специально приспособленная для несения лагерной службы, и чуть только местные, вольные толпы сойдутся, скажем, на первомайскую демонстрацию или какое-то еще предусмотренное мероприятие, так сейчас же те собаки вылезают из своей конуры и принимаются строить вольняшек в арестованные колонны — как при Сталине. (Эхо: как при Сталине!). Не знаю, был ли, не был написан уже тогда этот чудесный рассказ, передававшийся, может быть, еще до его написания, — изустно, но та история с реабилитированными собаками, продолжающими, честь по чести, держать лагерную вахту в назидание потомству, — по-видимому, и легла основанием в землю, послужив кульминацией нынешней книги Владимова. Возможно, из этой смутной истории о лагерных овчарках, более преданных, оказалось, режиму, нежели сам режим, и выросла повесть о верном Руслане, исполненная доброты и сочувствия к тем оставленным Сталиным собакам, без дела пропадающим, и доискивающаяся до сути, до вопроса о том, как всё это произошло, как могло такое случиться, что, при всех прекрасных намерениях и задатках, собака поставила предел человеку: «шаг вправо, шаг влево — считается побегом!»?

Здесь мы переходим к утопии, в условиях которой вырос и воспитался Руслан, ничего, кроме пред-

ложенного ему «нравственного кодекса», и не нюхавший в жизни. В условиях, где тренировка, дрессировка на «отличника по злобе», на «отличника по недоверию к посторонним» (когда «посторонний», разыгранный чекистом в балахоне, изо дня в день предлагает яд, горчицу, втыкает иглу в ухо, внушая понятие собаке, что каждый «посторонний» — шпион, враг народа) начинается с рождения, ничего другого и не может воспитаться из существа, полного любви и ревностного доброжелательства к людям. Мог ли быть лучше Руслан, чем он есть, мог ли он испытать доверие к «постороннему», если еще щенком ему внушали — и не просто внушали при помощи слов, но всякий раз подтверждали слова чувствительным, болевым приемом, — что всё «постороннее», вынесенное за регламент «хозяев» — безусловное и абсолютное зло?..

Мы недоумеваем, почему «хозяева», «начальники» без конца повторяют фразы, всем, и самим «начальникам», осточертевшие, типа: «социалистический реализм», «культ личности», «антипартийная группировка Маленкова, Молотова, Кагановича и примкнувший к ним Шепилов». Разве нельзя, по наивности мы спрашиваем, ну хотя бы этого Шепилова, про которого мы только и слышали, что он — «примкнувший», чуточку сдвинуть направо или налево, ну, по крайней мере, ввести его, подлеца, в полный состав «антипартийной группировки» без этого ничего не означающего, приевшегося эпитета — «примкнувший»? Ведь тогда бы мы что-то поняли, почувствовали, полюбили: вот, наконец-то, сами хозяева предоставляют, хотя бы самим себе, некоторую свободу слова! Может быть, с этого «Шепилова», немного переставленного, началась бы новая эра, поднялся бы энтузиазм! коммунизм!

Нет, нельзя, и вы не понимаете, что если чуть-чуть видоизменить «Шепилова», — всё рухнет. Пото-

му что всё идейно-политическое воспитание собаки и человека держится на дрессировке. И нельзя вместо «ляг!» сказать «сядь!»: произойдет революция в сознании, и всё полетит под откос, и пусть уж лучше «примкнувший к ним Шепилов» так и будет «примкнувшим» — спокойнее.

И она себя — дрессировка, — знаете, оправдывает. Вот сейчас уже весь мир дрессируется на нескольких запавших в память словах: «антисоветизм», «антикоммунизм», «фашизм», «разрядка напряженности», «мир всему миру»...

— Так вы что — антикоммунист? Фашист? Противник разрядки? Поджигатель войны?!!!

— Что вы, помилуйте! Я всей душой — с вами! Я почти что коммунист. Только, пожалуйста, не произносите эти слова!..

Не идеология — дрессировка. Чем чаще повторять (с использованием болевых приемов), — тем сильнее. И неважно, что в результате бесконечных повторений — не останется любви (энтузиазма! коммунизма!). Зато собака обернется — человеком, а человек — собакой. Зато не идеология, не мировоззрение, но — радостные сигналы будут впрыснуты в жилы, в инстинкты жизни, в рефлексy:

«— Фас, Руслан! Фас!»

Можем ли мы после этого осуждать Руслана?

Мир, в котором ему довелось родиться, — прекрасен. Предустановленная гармония — запретка и проволока. Что может быть чище, что может быть справедливее в жизни, чем эти стройные колонны ведомых в небытие заключенных? Стекланный колапс Замятина в романе «Мы», проекты Оруэлла, сновидения Хаксли и Кафки сияют нам из преданных, любящих глаз Руслана. Он совсем не теоретик, он просто практик, исполнитель доставшегося ему счастья — «жить при коммунизме». В прекрасной, авторитарной системе, которая сама себе служит оправ-

данием и без конца купается в собственных лучах, нет и не возникает сомнений. Служба — «лучшее, что пришлось Руслану изведать». «Лучшей наградой за Службу была сама Служба», а злейшее из зол, страшнее самой смерти, — отстранение от Службы. Сами заключенные, норовящие так или этак нарушить мировую гармонию, выйти из строя, бежать, покинуть эту «светлую обитель добра и покоя», — лишь слабые и неразумные дети, с точки зрения Руслана, чего-то недопонимающие и потому подвергаемые моральному воздействию, перевоспитанию, чтобы поняли, наконец, «где им по-настоящему хорошо», — в лагере. Он не испытывает к ним, доколе они повинуются, злобы или ненависти, а лишь легкое сожаление к их детскому недомыслию и, как подобает боевому псу, честному служаке, помнящему непрестанно о долге, — «здоровое недоверие».

Как всякая утопия, лагерь замкнут в себе и представляет собою строгое подобие острова. Отсюда, в частности, так приставшая к живописанию лагеря литературная форма «робинзонады», то есть — округлого, отгороженного от прочей действительности микрокосма, самим собою довольствующегося и заставляющего испытывать повышенный интерес к элементарным приметам своего специфического — лагерного, островного — климата и колорита. Лагерь — мироздание, лагерь — государство, где всё, как подобает в обществе, в целостной системе, разложено по полочкам и, несмотря на экзотику местной флоры и фауны, соответствует макрокосму, только, может быть, в более чистом или утрированном виде. Лагерь — миропорядок, и в этом качестве — монады космоса и государства предлагает нам идеальную композицию в жизни и литературе, откуда, не прибегая к абстракциям, мы можем узнать, что такое мир вообще и человечество в целом.

В золотистых глазах Руслана весь мир — лагерь. Если бы он мог (если бы он только мог!), он бы превратил весь мир в идеальное состояние лагеря. Во всяком случае вверенный ему вольер, отведенное собаке пространство, он рассматривает как потенциальный лагерь, включая вольные, не обтянутые колючей сеткой поселки, которые, при всей безнаказанности отпущенной им по ошибке, временно, свободы, только и грезят, и просят, как бы достичь им счастливой кондиции лагеря. Оттого и все персонажи в повести Владимова, будь то вольные или зеки, охранники или собаки, располагаются по осям, проведенным запреткой и проволокой. И поэтому они символичны, эти персонажи, — по отношению ко вселенной. И это не выдуманная, не изобретенная художником символика. Лагерь — ядро — символизирует в своих суженных атрибутах то большое и широкое, что раскинулось за его границами в незаконном и самонадеянном образе. Лагерь — столица. Лагерь — феномен, повествующий ежечасно о сущности.

Все, кроме караульных собак с их лагерными навыками, вошедшими в плоть и кровь и поэтому составляющими внутренний стержень режима, его альфу и омегу, его первое и последнее упование, — обрисованы довольно условно. Но эти люди-символы и звери-символы, похожие на столбы, расставленные вокруг зоны, являют собой обязательные, насущные звенья в структуре. Достаточно услышать, как звучат их имена, более обобщенные, суммарные, нежели клички собак — «Руслана» и «Джульбарса», «Гильзы» или «Азы»: Х о з я и н, которого иногда еще называют «Сержантом», а в лучшем случае, конкретнее — «Вологодский» («Так, сколько помнилось ему, не обращался к хозяину ни один двуногий: — Здорóво, вологодский!»); Г л а в н ы й х о з я и н — лагерный сталин, именуемый временами столь же услов-

но, по форме общепринятого обращения к начальству: «Тарц Ктан Ршите Обратицца» (отчего Руслан заподозрил, что людей, как и собак, дрессируют, с тем чтобы они без промешки реагировали на позывные слова-сигналы); Потёртый (вечный лагерник); Инструктор (собачий бог); «Войдите в мое положение» (лагерный доносчик, стукач) и т. д.

Люди безличнее, бледнее и мельче собак. И это не только потому, что они — люди (как в «Маугли»), то есть существа коварные, неверные, нецелостные, повинующиеся рассудку, неспособному одарить человека счастьем полноты и единства в логике и поведении, в чувстве и долге, какое от рождения обеспечивает инстинкт зверю. Нет, и помимо Закона джунглей, собаки лучше, чем люди, впитали Закон проволоки и оказались в итоге его наиболее стойкими и последовательными адептами. Руслан и подыхая останется на посту, на страже лагеря, тогда как маршалы и министры, всей этой премудрой утопии Руслана и обучившие, позорно предавали ее и поспешно перекрашивались. Тончайшим инструментом системы, адекватным выражением Службы становятся не люди — собаки. Они скорее поддаются дрессировке и усвоенному однажды приказу уже не изменяют.

И всё же между людьми и собаками, судя по Владимову, устанавливаются контакты, взаимная близость, основанные не только на вечной, врожденной привязанности собаки к человеку, но и на общности понятий, мирознания, позволяющей нам рассматривать собачьи повадки как разновидность человеческой психики и идеологии. Взять, к примеру, того же Хозяина Руслана, лагерного надзирателя-профессионала. Будучи безусловно слабее и бесцветнее своего пса (он и более труслив, и более жесток, и менее самоотвержен), Хозяин как характер, косвенно просту-

пающий из-под его роли и должности, из-под его суммарной, символической клички — *х о з я и н*, в общем колеблется в тех же измерениях Службы, понимаемой как занятие вековечное и справедливое. Не так, как Руслан, не так ярко, но он тоже живет служебным вероучением, которое еще не окончилось с ликвидацией данного лагеря, которое еще придет, вернется и восстановит богоподобный порядок на попоранной земле. Не будучи таким же красивым, талантливым и героическим, как Руслан, *Х о з я и н* Руслана демонстрирует собою примерно такую же «золотую середину» в системе охраны, главным достоинством которой почитается — исполнительность. И он, как Руслан, не зол и не добр (правда, всё ж таки собака добрее). И он всё делает в меру, как положено по уставу, как честный службист, и зря не кусается (в отличие от Джульбарса и от Главного хозяина-вождя), проявляя известную широту взгляда в пределах, разумеется, отмеренных запреткой. Не пристрелил же Хозяин Руслана, хотя мог бы и пристрелить и уже намеревался привести в исполнение эту последнюю идею, доставшуюся ему в наследство от лагеря. Впрочем, не из жалости, не по доброте душевной — не пристрелил, а просто, должно быть, почуял в Руслане своего брата-охранника, как и он, отрешенного от Службы, и не выстрелил, опасаясь случайного самоубийства.*

Второй двойник Руслану (уже в роли антипода) — Потёртый. Бывший зек, изучивший всю эту Служ-

* Были случаи самоубийств в лагерях — в период их частичного, ударившего по сердцам упразднения, когда зашатались устои, Сталин и Берия, и бывшие чекисты, служившие верой и правдой, вдруг почувствовали себя не у дел, вроде бы потерявшими весь, доселе оправданный, смысл жизни.

Заглядывает опер в землянку, а там, в предвкушении близкой амнистии, обнаглевшие зеки дуются в карты,

бу, науку, — с обратной, изнутри, стороны. Бывший зек, отравленный лагерем, привязавшийся к лагерю, не способный уже жить на свободе ничем иным, кроме этих тягостных, мучительных воспоминаний о лагере. Одно слово — Потёртый. Как знакома, как близка нам эта фигура! Бывало, спросишь приехавшего, пригнанного по второму сроку арестанта: — А ты там случайно, на воле, не скучал по лагерю? — И, случается, человек этот, похожий на натянутую струну, пронзенный непонятной болью по свободе (вот именно — по свободе!), отзовется: — Скучал! Да еще и как! Как выпьешь немножко, так и, понимаешь, старик, так и тянет обратно в лагерь. Просто — тянет. Тоска!.. —

Ты душе — глоток озона:
Здравствуй, зона!

— писал лагерный автор, лучший лагерный поэт Валентин Соколов, просидевший ни за грош, с небольшим перерывом, семнадцать лет в лагерях (сначала семь — при Сталине, а затем десять — в наше время), а недавно пошедший, раскрутившийся по-новой, в третий раз, в лагерь, избравший себе псевдонимом горестно-ироническую кличку: Зека — Валентин з/к.

Так вот Потёртый из той категории, из этой породы людей, приверженных к лагерю, хоть больше всего на свете они ненавидят — лагерь. Как понять это

в открытую, да еще издевательски приглашают Хозяина: — Присаживайся, начальник, — сыграем!..

Им бы в другое время — за это!.. Но начальник ничего не ответил. Постоял-постоял и ушел. А через минуту в зоне — выстрел! Подбежали — лежит: в себя. Значит, честный был все-таки чекист — этот опер...

Правда, подобные эпизоды — в редкость. Но и Руслан ведь — редкость...

явление, это странное состояние души — не берусь рассудить. Только знаю, доподлинно знаю, что такое — бывает.

Вы говорите: «контрик»!
Вы думаете, просто это, —
Когда я вижу ваши контуры
В словах малинового цвета?
Я прохожу между кафтанами
И треугольниками лбов,
И вы мне серыми, картавыми
Словами тычете любовь
К обсосанному вами вымени...
И вами — в имени моем,
Ярсь, распластывает линии
Огромный сумасшедший дом...
Вы думаете, просто это?..*

Кстати, оттого Потёртому с его тоскливыми монологами на лагерную тематику и отдано столько внимания в повести о Руслане, о собаке, которая, строго говоря, не смогла бы понять эти скорбные и долгие речи и, тем более, перефразировать их своим собачьим сознанием. Так что — нарушение жанра? Искривление стиля? Если бы Потёртый, как символ, как характер, не оказался бы вдруг у Владимирова вариацией Руслана, представленного, однако, в этом лице с противоположной стороны — охраняемых. Вечный подконвойный (Потёртый) и вечный конвоир (Руслан) сходятся на одном — на невозможности расстаться с призраком лагеря, вроде бы внешне исчезнувшего, но запавшего в душу, совпавшего с биографией, с жизнью, останками которой оба они и питаются — бывшие противники, полюса, антиподы, только и могущие существовать в этом извращенном, противоестественном альянсе, претворенном уже в их природу, — жертвы и палача, охраняемого и охранника.

* Цитирую по памяти — Валентин з/к.

Итак, Руслан в Потёртом, после упразднения лагеря и предательства Хозяина, нашел антихозяина, которому он верен исключительно как символу отошедшей эпохи, как наглядному пособию, доказательству, что та эпоха была на самом деле, а не приснилась ему, притом — отрицательному символу, со знаком минус, да и то верен временно, до той блаженной поры, когда вернется, наконец, настоящий Хозяин и вновь всё поставит на свое законное место. Потёртый же, как мы знаем, по выходе из лагеря обосновался в близлежащем поселке, у тамошней бабы, тети Стюры, не в силах уйти далеко от уже не существующей, но притягивающей как магнит, пожравшей жизнь и душу — запретки. Таким образом, вместе с Русланом мы входим в новый, более пространный круг бытия, представленный персонажами повести — людьми и собаками. В данном случае тетя Стюра со своим псом Трезоркой больше, чем кто-либо другой, рекомендует общество вольных, «простой народ», то есть среду, не имеющую непосредственного касательства к идеальному, лагерному порядку, четко разделенному на конвоиров и подконвойных. Однако, выясняется, и сюда, в область свободы (разумеется, относительной) протянул свою цепкую руку Закон проволоки, калеча самую что ни на есть здоровую, народную почву и обращая всю страну в «большую зону», как ее называют зеки, различая от «малой зоны», от лагеря, от тюрьмы, находящейся в центре, всегда в центре, в самой сердцевине — «большой».

Тетя Стюра — единственное в повествовании человеческое существо, удостоенное собственного имени, хотя имя ее — Стюра — на русское ухо звучит странновато, возбуждая родные, интимные и вместе с тем туманные, неясные ассоциации. Даже сожитель ее, Потёртый, в минуты откровенной признательности, удивляется в радостном раже:

«— Стюра! а, Стюра? — спрашивал он. — Это что ж за имячко у тебя такое? Никогда не слыхал».

Автор не разъясняет загадки. Но, исходя из фонетической, музыкально-национальной окраски имени Стюра, позволительно услышать в нем (тем более в сочетании «тетя Стюра») нечто, пускай и расплывчатое, стертное, обобщенное (как прочие безликие имена — Потёртый, Казенный, Хозяин, Инструктор), но всё же, я бы решился, — нутряное, раздирающее, уводящее вглубь, в сырые, влажные клады матери-земли, тоскующее упование — Стюра! Дородная баба, очевидно доступная всем случайным постояльцам, от вчерашнего капитана (Главного хозяина зоны) до сегодняшнего последнего зéка (Потёртого), она являет собою — разумеется, в отпущенных ей сдержанным текстом пределах — состояние нации в целом, на нынешнее время, и, если угодно, служит олицетворением «народа», взятого в широком и неопределенном значении слова. Трудно в жизни найти бабу старому лагернику более добрую, понятливую и притом ничего для себя лично не желающую урвать от застрявшего в ее доме, кормящегося при ней мужика. Вероятно, к Потёртому, который сам по себе ничего уже не стоит и весь пропах дымящимися за его спиною лагерными рассказами, притянула ее обыкновенная бабья потребность кого-нибудь пожалеть. И эта потребность, надежда воскресить мертвого, толкает ее попытаться вдохнуть в Потёртого утраченную радость свободы, способность забыть о лагере, вернуться к нормальной жизни, к работе, к оставленной когда-то семье, ради чего Стюра готова отказаться от собственного недолгого бабьего счастья и не просто отдать прилепившегося к ней, полюбившегося человека, но заставить его уехать от нее и от лагеря. (Потёртый, понятно, на такое не способен, как не может Руслан оставить вверенный ему пост.)

И вдруг женщина, принадлежащая к разряду, который мы привыкли, по всем хрестоматиям, обнимать протяжным, нравственным, тоскующим определением — «женские образы в русской литературе» («есть женщины в русских селеньях!..»), то есть чуть ли не сама Россия в ее природном, почвенном образе, оказывается, при ближайшем рассмотрении, снова какой-то двойниковой аналогией караульному псу Руслану, прошедшему хорошую школу по «недоверию к посторонним» и натасканному на растерзание всякого диверсанта. Вот Потёртый, спохватываясь по пропавшей жизни, принимается в мечтах рисовать радужные картины — как бы надлежало ему раньше, с-полсрока, драпануть из лагеря, знай он тогда, заранее, что под боком, в тишине, обитает живая душа, сердобольная тетя Стюра, умеющая и уберечь, и обласкать арестанта. Но Стюра не дает ни минуты ни ему, ни нам, читателям, понежиться на мечтах о прекрасных истинных свойствах народа, всегда привечавшего «несчастненьких» — каторжных. Она бы тогда, выясня-ется, — дoloжила в оперативку.

«— Ты опять не то говоришь, — сказала она уже с тем вскипающим раздражением, с которого начинались их ссоры, доходившие до крика... — Нет, это не сомневайся — пустить бы пустила. И пожрать бы дала. И выпить. Спал бы ты в тепле. А сама — к оперу сообщить, вот тут они, на станции, день и ночь дежурили.

— Так бы и побежала?

— А как думаешь! Люди все свои, советские, какие ж могут быть секреты? Да, таких гнид из нас понаделали — вспомнить любо.

— Да кто ж понаделал, Стюра? Кто это смог?..»

Короче, из Стюры, из тысячей Стюр, понаделали верных Русланов, пользуясь для этого не только каким-то гнильем, отбросами народа, но, что самое печальное, его добрыми свойствами — вроде той же

верности, чувства истины и справедливости, вековой жажды родства, братства (понятия «свои» и «чужие»). Тренировка на «шпионов», на «изменников Родины» произвела на свет не какую-то особую, безнациональную нацию и не породу «новых людей», потерявшую представления о добре и зле. Нет, духовные и нравственные потенциалы народа остались (как тетя Стюра осталась тетей Стюрой), да плод с этой почвы уродился горький...

Приведу пример из жизни на тему антиномии — «беглые зеки» и «вольные люди». Недостреленные беглые, пойманные и водворенные в зону с помощью вот такой расторопной, добросердечной тети Стюры, прошедшие по всем кругам ада, избитые до полусмерти охраной и местным населением (даже дети плевали и пинали), рассказывают:

— Шли лесом. Встретили случайно двух деревенских девок. Надо было зарезать, да мы — пожалели. Ушли. А через час нас и взяли: девки донесли в сельсовет. До сих пор не могу простить себе, что мы их тогда не зарезали!

А ведь не звери ни эти беглые, ни девки — не выродки, не убийцы, не продажные твари и входят с двух полярных сторон в общее тело нации (ну, как Потёртый и тетя Стюра). Вероятно, как нравственно-психологические величины они в принципе могли бы поменяться местами, а ситуация останется старой, безнадёжной: надо бы было зарезать! — нельзя не донести!..

«Что вы сделали, господа!» — стоит в эпиграфе повести, обращенном, возможно, к невидимым «руководителям», «основоположникам», кто придумал эту самую, высокую, будь она проклята, науку: — Что вы сделали, господа, с человеком, с собакой?!

«— Да, таких гнид из нас понаделали — вспомнить лю бо», — вопиет тетя Стюра,

приходя в себя, начиная высвобождаться из туманного наваждения.

«Зачем ты это сделал, брат?» — хотел спросить умирающего Руслана дворовый пес Трезорка, оказавшийся свидетелем его последней героической службы, а потом и последним его защитником-телохранителем: — Зачем ты такое сделал над близкими, над собой?!

Трезорка, как и тетя Стюра, проливает свет на категорию «народа», не причастную к зоне с ее жесткими кастами конвоиров и подконвойных и промышленную кто где и чем придется, применительно к обстоятельствам жизни далеко не легким, но лишенным сакраментальных обязанностей лагерного охранника. Трезорка — на языке социальной антропологии — это, так сказать, рабоче-крестьянский пес, лицо беспартийное, неофициальное, не военное, а сугубо гражданское и даже частное, каких в газетах величают обычно «простым советским человеком», а в быту кличут по-старинному — «мужиком». «Криволапый, низкорослый, с раздутым животом», Трезорка, как и Стюра, его хозяйка, принадлежит к беспородной помыкаемой «массе», весьма пестрой, разномастной по характерам, однако живущей не по приказу, не замороженной марксистской наукой, а — собственным, пускай недалеким, умом и опытом, руководствуясь здравым смыслом, каким от века обходился и обходится русский народ. По отношению к Руслану, идеальному герою, Трезорка выступает в нескольких, как бы исключających друг друга аспектах: он, бесспорно, и низшее существо, склонное к подобию страсти, к мелким хитростям и компромиссам, и одновременно чем-то превосходящее лагерного вояку — хотя бы своей принадлежностью к низкорослому, но веселому и вольному племени, в выборе поведения, способное если и не на такие уж ответственные, героические дела, то всё же и на бо́льшую широту, дру-

желюбие, терпимость, сердечность, и на подлинное благородство.

Но если нам понятны преимущества безыдейного Трезорки перед дрессированным Русланом, как понятен, в общем, и его грустный упрек, обращенный караульному псу, то большее и тревожнее пытаться отвечать на вопрос, почему в глазах «народного» Трезорки Руслан остается все-таки недостижимым идеалом, возбуждая обожание, преклонение, отнюдь не лицемерные, но связанные, по-видимому, с изначальной потребностью в чем-то светлом и справедливом. Что ему мало одного «культа личности» и подавай немедленно следующий? Или ему не хватает хозяйственных «успехов и достижений», которые, на поверку, богаче представлены в том же Трезорке, нежели в великолепном Руслане? Или нужен ему непременно крепкий, авторитарный порядок в обществе, где бы все ходили по струнке и отдавали честь по форме вышестоящим собакам-начальникам? Нет, конечно. Трезору нужен символ абсолютного пса («настоящего человека» — как сказали бы люди), символ высший, непреложный; а Руслан для этой комиссии больше всего и подходит. Руслан не только — «верен». Верен и Трезорка своему курятнику, что даже и порядочнее и перспективнее, чем быть верным — лагерю. Руслан — «верующий». Руслан — озаренное сверхприродной идеей «веры» существо, презревшее всю суетность, всю низкопробную выгодность и обыденность жизни, доколе нет в ней этой неистовой, сжигающей его изнутри «веры». Не просто дрессированное (все — дрессированные), но — пошедшее дальше, за и над дрессировкой, к последней цели. Трагедия Руслана не в том, что не оставили его в покое, как большинство собак, на уровне Трезорки, и произвели над ним душевную вивисекцию (ну, были бы все простыми собаками и виляли бы хвостами!). Трагедия Руслана, и да простит меня читатель за подобное сравнение, —

трагедия России, чьим не просто очередным порождением-вырождением выступает Руслан, но единственным борцом, знаменосцем, — что нет иных свершений для алчущей высшей правды и подвигов души в отмеренном ему, историческом круге жизни, чем подлый лагерь, за который он и принял законную гибель. Он мог бы спасти детей, тонущих в море, переправлять чужестранцев через Альпы и Кордильеры, лезть под танки, оберегать слепых и беспомощных пророков для счастья всего человечества (как это делали его братья, «животные-герои» Сетона-Томпсона — только он сделал бы это быстрее и самоотверженнее), а ему досталось, выпало на долю, — всю жизнь стеречь арестованных. Ну, он и перестарался...

По своим природным, духовным достоинствам Руслан явно превышает отведенные ему эпохой, историей — кондиции. И остается одиноким, непонятым богатырем, Русланом, служащим в охранниках. Поэтому, вероятно, Трезорка — ради этих колоссальных, загубленных потенций Руслана — и прислуживает ему, и становится, плача над ним, его осуждая, его же душеприказчиком, не в силах, однако, переложить на свои кривые, низкорослые плечи тот тяжкий груз, на который был падок Руслан...

А ведь добрый был пес! И добр человек, и добр народ, этого пса взрастивший и этим же псом ограниченный, препровождаемый в ад, где все на всех доносят и стерегут друг друга. Так в чем же дело, где выход, господа?! И кого нам надо зарезать, а на кого доложить оперу?.. Круговая порука!

И наше положение было бы беспросветным, и не помогли бы нам ни Руслан, ни Потёртый, ни тетя Стюра, ни Трезорка, когда бы автор, собравшись с силами, не ввел, между прочим, сюда, в мыслимую картину лагеря-государства, еще одного актера — собаку по романтической кличке Ингус. Ингус — это от-

ступление от общих правил, выход за границы исторического опыта, за навыки человеческого и собачьего царства — в сторону безотчетной свободы. Ингус — рядом с Русланом, не говоря о прочей своре, — чистейший интеллигент, аристократ. Притом натура — художественная, поэтическая. Быть может, гениальная. Что там чеховская Каштанка, откликавшаяся радостным лаем на восклицания: «— Талант! Талант!». Каштанка — при всей нашей симпатии к ней — всё же из породы Трезорок. А Ингус — это Ингус! Принадлежа по рождению и профессии к ведомству караульной Службы, он эту глупую службу попросту игнорирует, наделенный сверх меры пониманием вещей, нестандартным мышлением и способностью производить всё то несложное, чего от него так долго и уныло добиваются хозяева, — безо всякой дрессировки, без труда, но зато и без видимого рвения и желания преуспеть. Занятый мыслями, которые одному ему ведомы, в грустной и праздной мечтательности, позволяющей, если искать аналогии в русской литературе, сравнивать Ингуса с Татьяной Лариной, в мечтательности, которая словно заранее прозревает, что ждет его, не от мира сего существо, в нашей земной юдоли, он влечется к природе, к лесам, однако, не с тем, чтобы вернуться к первообразной форме волка, но предаться мягкому и чистому созерцанию — «поэзии безотчетных поступков». Видите ли, уйдя в лес, Ингус делает никому не нужные, бесцельные — по в а л я с и к и ! Вспоминаются Мандельштам, Пастернак...

Случайно ли Мандельштам, более всего склонный, как вспоминают с неодобрением современники, к «чистому искусству», первым в русской поэзии написал, казалось бы, вопреки собственному вкусу и призванию — сатиру на Сталина, за что и поплатил-

ся по всем стандартам эпохи*. Что ему, Мандельштаму, спрашивается, не сиделось в его «башне из слоновой кости»?! Сейчас, когда все мы стали умными и рассуждаем, и спорим, кто дальше, кто сильнее двинет Россию вперед — ленинисты или фашисты, патриоты или западники, либералы или сторонники, напротив, новой авторитарной разрядки, как-то забывается этот ранний опыт, приведший Мандельштама на каторгу, а Пастернака к «Доктору Живаго». Но на водяную кишку — на апокалипсического змия — поливающую людей — до смерти, в льдышки — на сорокаградусном морозе — кинулся Ингус! И возглавил, невольно, сам о том не заботясь, лагерное восстание испытанных караульных собак — Ингус. Тоже мне — представитель чистого искусства!..

Так что не станем презирать этих мечтательных интеллигентов (хлипких, как сказал товарищ Ленин, дряблых, как добавил товарищ Сталин). Мордовать интеллигенцию вошло у нас в обычай: всё равно не ответит, не попрет же она против народа, ежели именем народа ее хорошенько осадить, хлопбыстнуть, — уж больно совестливая, хлипкая. Да и вообще прослойка по сравнению с народом. А между тем в композиции жизни, начерченной в книге Владимова, одна надежда, мечта, еще как-то пробующая если не порвать, не перегрызть змею, то хотя бы вздохнуть по свободе, — Ингус...

Правда, вторым номером, следом за Ингусом, на злую кишку, замораживающую людей на катке, бросается Руслан. И это опять говорит многое в его пользу: значит, не просто он заклятый опричник, а несет в душе запас великих неудовлетворенных возможностей. И всё же Ингус выше, тоньше — духовнее Руслана. Если Руслан — герой, то Ингус — поэт, подчас,

* «Мы живем, под собою не чуя страны...» и т. д. — 1933 год.

в особенности у нас в России, прокладывающий дорогу — герою. Очеловеченная собака, Ингус, более всего человечна не своим исключительным умом или иными прекрасными собачьими статьями, но, главным образом, заложенной в нее — свободой воли, вплоть до свободы выбора, на которую и люди-то не всегда оказываются способными. Оттого-то весь образ поведения Ингуса характеризуется непредсказуемостью — неожиданными поступками. И потому же ему в наибольшей степени свойственно сознание виновности, греховности роли, к которой его привязали хозяева, отчего он и грустит, и тоскует, и не находит себе места. Раз ты свободен внутренне — так и отвечай за себя!

В пару Ингусу, единственному интеллигенту в собачьем хороводе, дается (как Руслану — Хозяин, как Трезорке — тетя Стюра) единственный интеллигент среди здешних людей — Инструктор (у них и клички созвучны: Ингус — Инструктор). И в то время, когда Ингус совершает свой самый яркий непредсказуемый поступок и, подымая собачий бунт, достигает высшей очеловеченности, Инструктор, привязанный к Службе лишь любовью и интересом к собакам, тоже бунтует и, сойдя с ума, обращается в собаку. Это отвечает общему образному строю повести, где люди представлены псами, а псы людьми. Однако безумный Инструктор, встав на четвереньки и гавкая по-собачьи, свидетельствует своим непредсказуемым поступком не о падении человека, а, напротив, о его, человека, духовном прозрении. Ибо Инструктор, сойдя с ума, замещает собою убитого Ингуса, становится полноправным Ингусом в его звездный час.

« — Я Ингус, поняли! Ингус! — выкрикивал он свои последние человеческие слова. — Я не собаковод, не кинолог, я больше не человек. Я теперь — Ингус! Гав, гав!»

Вот как, значит, высоко сумел вознестись Ингус в системе предложенных ценностей! И, обращаясь в Ингуса, внезапно, одним махом, вырастая в наших глазах, Инструктор призывает собак уйти от людей в лесные дебри, где «они будут жить как вольные звери, одной неразлучной стаей, по закону братства, и больше никогда, никогда, никогда не служить человеку!» Что это — реминисценции Маугли, зов предков, поэзия джунглей? Нет, в контексте запретки лес знаменует не просто возврат к природе, к первобытной дикости зверя, но порывистое движение ввысь — к любви и свободе. «Никогда не служить человеку», уничтожившему человеческий образ, это и следует, в данный момент, сделаться человеком. Инструктор, сходя с ума, пытается пересказать питомцам завещание Ингуса — «последние человеческие слова».

Нужно ли пояснять, почему обоих «интеллигентов» за незаурядный интеллект ждет похожая участь? Одному — автоматная очередь в лоб, второму — психушка...

...Следуй за стилем и логикой повести о верном Руслане, но жди вопроса: возможно ли, допустимо ли сравнивать людей с собаками, да еще в рассуждении «большой зоны» — страны, народа, планеты?! Разве это не кощунство, не глумление над человеком и вообще над всем большим и светлым в нашей жизни? Пускай сам себя сравнивает с собакой! От этих обвинений мыслимых пуристов спешу оградить автора повести: он и сам не отделяет себя от собак и, кроме заглавного героя — Руслана, от лица которого строится повествование, смотрит на жизнь, если судить по художественному счету, грустным взглядом Ингуса. Тот, как известно, «когда хозяин начал его хлестать, очнулся наконец и поглядел на него — с удивлением и жалостью».

Два чувства — удивление и жалость — представляются определяющими, авторскими чув-

ствами, не только доминирующими в книге, но и позволившими Владимову написать эту книгу. Начнем с удивления, которое не сводится к тому, что автор как будто всё время задает загадки читателю, удивляясь на им же самим описанные факты: как такое могло произойти, что вот люди и звери вдруг поменялись ролями? или — почему прекрасные семена, посеянные в каждом живом создании, вдруг произросли и трансформировались на Службе в собственную противоположность? Помимо этой собственно-концептуальной стороны произведения, о которой уже говорилось, чувство удивления, здесь преобладающее и связанное с «собачьим взглядом» на вещи, позволяет всем обыденным, простейшим приметам действительности, давно примелькавшимся, утратившим содержание и форму, как бы заново оттиснуться в нашем удивленном сознании. Господи, да как же мы раньше не удивлялись, видя всё это! Тем самым, возбуждая удивление, мир становится достойным того, чтобы его воспроизвести, закрепить на бумаге, чтобы его запомнить и осмыслить. Эпоха, действительность, быть может, спервоначала, сгоряча, обиженная, что художник так непочтительно с ней обращается и «всё искажает», ставит с ног на голову (те же люди и собаки, предположим), в конечном счете должна быть и будет благодарной художнику за то, что тот ее таким удивительным образом увековечил, и, значит, она уже не канет, не исчезнет бесследно в Лете, как прошли без памяти какие-нибудь обры или хазары. Не будь, допустим, Руслана, верного Руслана, от нас не осталось бы в итоге положительного героя в этом девственном и гордом обличи, да еще почерпнутого из глухой, вымороченной среды лагерной «вохры», где, кажется, никогда никаких героев и не снилось, а только одни — «мусора» да «вертухай»...

Нет, на месте чекистов я был бы доволен. Я был бы счастлив от повести «Верный Руслан»: это ведь

подобротнее зыбких воспоминаний о Блюхере и о Рюмине. Говорят, Рюмин страшно кричал, когда его волокли на расстрел... А вот Берия, напротив, вел себя спокойно. «Погодите, придет еще на вашу голову Берия!» — повторяют время от времени лагерные начальники нынешним арестантам, с угрозой и с надеждой. Да и среди зеков сегодня кто-нибудь из отпетых стариков-бериевцев, досиживающих четвертак за свои и за чужие проделки и пристроенных начальством на самые деликатные должности — от лагерного «библиотекаря» до созерцательного «кладовщика», — в чем проявляется бережное отношение «своих» к «своим», пусть временно и потерпевшим крушение товарищам, нет-нет, а воскликнет, заламывая руки: — За что?! Одного не понимаю — за что? Мы же были — солдатами, верными солдатами! Вернее никого не было! Нас бы вернуть, позвать!..

Эх, ты, верный, вечный идеалист — Руслан...

Для собаки многое в человеческом поведении кажется невероятным, странным, и поэтому «собачье восприятие», примененное к тексту столь последовательно, открывает простор всевозможным формам художественного «остранения», вливающего свежие силы в искусство, а возможно, и совпадающего с его странной, необъяснимой природой. И «остранение» здесь, у Владимова, не просто очередной формальный прием, с успехом использованный, но универсальный способ видения и постижения жизни. Потому что поистине странен и удивителен мир, в котором мы родились, а раз странен, то, значит, заслуживает, чтобы его изобразить, описать. Так что не надо сразу обижаться на собак, с которыми нас сравнивают. Они хорошо поработали и помогли созданию повести.

Возьмем для иллюстрации какой-нибудь частный случай восприятия привычных вещей, которые, благодаря участию собаки, становятся неожиданными и начинают играть новыми красками, наводя на раз-

мышления. Вот, к примеру, Руслан наблюдает митинг в честь приехавших молодых строителей, на котором кто-то из местного руководства зачитывает по бумажке приветствие, а кто-то из новоприбывших — тоже по бумажке — отвечает. Произнесение речей «по бумажке» — от главы государства до последнего, выдвинутого на трибуну работяги — давно уже стало бытом, над которым мы все посмеиваемся, видя в нем очередное, не нужное никому торжество казенного пустословия. Но в глазах Руслана ораторы не «читают по бумажке», а ей, бумажке, читают, ей рапортуя, а не людям («...Развернул бумажку и стал ей говорить что-то длинное-длинное...»; «Своей бумажке он говорил уже чуть покороче...»). И этот небольшой сдвиг стереотипной формулы, не меняя сути дела, меняет ракурс, заставляя острее почувствовать и всю нелепость подобных речей, и их, так сказать, вышний бюрократический смысл, когда люди живут и говорят не друг для друга, а для бумаги, заместившей человека и общество.

Еще более остранный, гротескный образ, наводящий на мысли о судьбах родины, истории, приобретают два истукана в скверике перед станцией, всем хорошо знакомые в лицо, так что нет нужды называть их по имени; и тоже — посредством собачьего восприятия, которое в данном случае неожиданно оказывается осмысленнее и даже историчнее, нежели наш обыденный, притерпевшийся к этим статуям взгляд. Удивление как бы промывает нам глаза и помогает глубже узнать уже известные вещи.

«...Два неживых человека, цвета алюминиевой миски, зачем-то забрались на тумбы и вот что изображают: один, без шапки, вытянул руку вперед и раскрыл рот, как будто бросил палку и сейчас скомандует «апорт!», другой же, в фуражке, никуда не показывает, а заложил руку за борт

мундира — всем видом давая понять, что «апорт» следует принести ему».

Удивительная пара, и что бы она, читатель, могла обозначать?!.. Однако хватит удивляться и вспомним о жалости, с какой посмотрел Ингус на своего хозяина, о второй, не менее важной побудительной пружине нашего повествования.

Первое, непосредственное впечатление от повести «Верный Руслан» располагает сравнивать ее либо с книгами о лагерях, либо с рассказами о животных, вроде «Холстомера» или чеховской «Каштанки». Но возможен и более растяжимый взгляд, вписывающий книгу Владимирова — не по формально-тематическому, а по нравственно-проблемному, в первую очередь, признаку — в более широкую и концептуальную, что ли, традицию русской словесности, начатую Акакием Акакиевичем Гоголя и продолженную Достоевским. Русская литература всегда была исполнена трепетного внимания, интереса и любви к страдающему брату, в чем, возможно, полнее всего сказались ее скрытые или явные христианские устремления. Но сейчас речь пойдет не вообще обо всей громадной, необозримой массе «униженных и оскорбленных», о которых писали и будут писать русские авторы, но только об одной, специфической категории лиц, которых, с разной долей допуска, можно обозначить существами в нравственном смысле погибшими, падшими и как бы уже заранее потерянными для человеческого к ним снисхождения и сострадания. Оттого я и назвал в качестве зачинателя этой традиции Гоголя с его «Шинелью» (можно, разумеется, выбрать и иную точку отсчета): Акакий Акакиевич Башмачкин — не просто «бедный человек», но насекомое, никому не интересное, не нужное, словно бы от рождения вычеркнутое из списка достойных на жизнь, а тем паче на серьез-

ное писательское участие. И это существо подверглось у Гоголя анатомическому, жестокому и сострадательному исследованию, которое безо всяких поблажек и сентиментальностей привело в итоге к человеческой реабилитации Акакия Акакиевича.

Различия столь велики, что естественно задаться вопросом: а какая, собственно, связь между Башмачкиным и Русланом, и разве похож этот мизерный, замордованный, но всё же человек на могучего, героического красавца-пса, который, хотя мы успели к нему привязаться, всё же, извините, собака? Конечно — не похож, почти не похож. Но мы здесь имеем на примете отнюдь не прямую, не бросающуюся в глаза, а скрытую, генетическую связь, которая формирует единство литературы (при всем разнообразии материала, идейных запросов и вкусов) в качестве целостного, органического и развивающегося тела, позволяющее писателям вчера находить — в одном, совершенно определенном месте — то, что завтра, в иной вариации, другие авторы обнаружат и продолжат в другом. Потому мы и можем говорить: «русская литература» (как бы подразумевая некий движущийся, но единый организм), пускай в начале стоит Акакий Акакиевич, а в конце на него непохожий, самостоятельный Руслан.

Впрочем, есть тут и более близкое социально-психологическое, жизненное родство. Оба персонажа, возбуждая сочувствие авторов, принадлежат к казенной, безликой, исполнительской Службе, которая по существу исчерпывает их интересы, предопределяет роковую судьбу и лишает шансов проявиться по-иному, в другом измерении, нежели вот в этой запрограммированной форме ничтожного чиновника или казенного караульного пса. И посмотрите, оба они в своих лимитах по-своему счастливы и находят в Службе

высокий резон, непреложный смысл бытия, принимая ее за единственную возможность существования*.

Чтобы почувствовать по-настоящему, какую дозу авторской симпатии и понимания снискал Руслан, следует помнить, что такое караульная собака вообще с ее суровыми функциями — не этот конкретный, персональный Руслан, уже открывшийся нам изнутри как осмысленная неповторимая личность и потому вызывающий у нас братские чувства, а — сама его должность пса-охранника в глазах бесчисленной охраняемой массы. Эти глаза, тоскующие и проклинающие, глаза затравленных тысяч ни в чем неповинных людей, составляют грозный эмоциональный фон повести, хоть и не ими одними оцениваются повадки Руслана. Если бы — только ими, без авторского вмешательства, без авторского вхождения в искаленную, но по-своему добрую и любящую душу собаки, то эта хозяйская тварь, покуда она исполняет свою паскудную службу, никакого глубокого отклика не пробудила бы в нас, кроме, в лучшем случае, холодного отчуждения. Палач — ведь это всегда однозначно: палач. Да, собака не виновата, что ее приставили, научили стеречь и мучить людей по всем правилам охраны. Но там, где нормальные человеческие отношения извращены до приведения в действие какого-то адского замысла, где человек поставлен рабом собаки, она в своем служебном рвении немедленно для него обращается в гнусного, бесчувственного зверя, которого и

* При всей несопоставимости «департаментов», в которых им выпало служить, к Руслану во многом применима гоголевская характеристика должностных качеств Акакия Акакиевича, также исполненная чрезвычайно противоречивых авторских чувств и движений — от ужаса до восхищения, от смеха до скорби:

«Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать: он служил ревностно; нет, он служил с любовью...»

пришибить не жалко. Другое дело, что человек свободнее (внутренне), рассудительнее и отходчивее собаки, так что отставленный от должности Руслан возбуждает в Потёртом не только привычные навыки арестанта, но и дружеские симпатии. Но в работе тот же Руслан, взятый обобщенно, как идеальный охранник, достоин, чтобы ему отвечали тем же, чем сам он промышляет, — хитростью, презрением, насмешкой, ненавистью, инстинктивной жаждой любыми путями избавиться от всемогущего пса.

В лагере складываются десятки рекомендаций, быть может, большей частью вымышленных, легендарных, на эту тему — избавления. Если, допустим, идешь в побег, рекомендуется намазать подметки салом заблаговременно зарезанной собаки (лучше — щенячьим), и пущенные в погоню русланы, говорят, не возьмут след, заботятся...

Правда, и здесь, в этих условиях борьбы не на жизнь, а на смерть, в виде исключения случается какое-то странное, необъяснимое взаимопонимание между загнанным человеком и торжествующей караульной собакой. Когда, например, идущий в побег лагерник, проползший запретку и проволоку, прорезавший в заборе дыру, глубокой ночью, на четвереньках, с ножом в зубах, уже вылезает на свет Божий и сталкивается в тесном проходе, нос к носу, с нечаянно подоспевшим животным. Секунду, другую, они стоят молча, два зверя, глядя в глаза друг другу. И внезапно собака уходит, поджав хвост, забыв о долге, даже и гама не подымая, словно почуяв исключительную, сверхъестественную напряженность момента. Однако и человек после этой встречи не решился уже на побег...

Все эти лагерные сказания позволяют нам лучше войти в поставленную писателем задачу, в его круг проблем, — показать, что даже и здесь, в зачерствшем, казенном звере, не достойном, кажется, ни оп-

равдания, ни снисхождения, теплится живая душа. Что и это обойденное судьбою, обманутое разумом существо, предназначенное до конца дней влачить позорную вахту, принимаемую за высшее счастье, заслуживает нашего внимательного, участливого взгляда.

Но вернемся к гоголевскому Акакию Акакиевичу, положившему начало этой литературной традиции. Гоголь — первым, без скидок, напротив, сгущая краски в своем ни на что не годном, кроме механического скрипа пером, чиновнике — заметил свет. И если до Гоголя Петербург прекрасно обходился без Акакия Акакиевича, словно того и не было, словно тот и не жил на земле, то теперь, после «Шинели», тень его навсегда вошла в состав невского тумана, промозглого петербургского климата, и нам уже вовек не избавиться от режущего сердце вопроса, внезапно произнесенного мертвенными устами: «З а ч е м в ы м е н я о б и ж а е т е ? . . .»

Здесь не место вдаваться в историко-литературные завитки этого нравственного развития, этой художественной школы, в которой затем высшая роль анатомика и врачевателя потерянных душ уготована была Достоевскому. Достоевский вывел на авансцену словесности длинную вереницу падших и погибших созданий. Достоевский научил нас понять и пожалеть убийцу (Раскольникова), досконально изучив его сумрачное сознание, и сделал это с помощью другого падшего существа — проститутки Сонечки. Это был следующий, после Гоголя, шаг — и даже не шаг, а пролет лестницы, пройденный одним шагом, — к нижним ступеням ада. Достоевский — за нас — снизошел к самым последним, отверженным, и поставил — последних — над нами. В частности, поэтому Достоевского мы почитаем христианским писателем...

Не сравнивая масштабы, влияние, значительность, глубины этих исследований, список кото-

рых, в принципе, можно было бы и продолжить, считая долгом причислить новую повесть Владимова к подобному ряду явлений русской словесности, снизошедшей не только к несчастным, но и к растленным душам, не только к жертвам, но и к убийцам. Из лагерного опыта, который, подобно лаве, выплеснулся в нашу эпоху из каменных недр на поверхность, который, как опыт жизни вообще, глубок и огромен, поучителен и разнообразен, автор Руслана извлек преимущественно один пласт бытия, доселе мало изученный: лагерная охрана, люди и звери караульной Службы. Этот сорт общества мы презираем (и правильно делаем), мы смеемся над ним (тоже правильно) и справедливо негодуем перед тем, что сотворили и еще сотворят эти люди. И Владимов, как мы, ужаснулся этим зверствам, этой убогой, тотальной психологии, всегда чреватой новым нашествием лагерей. Но Владимов, сверх того, ужаснулся, во что он себя обратил, этот человек, как он над собой надругался. И взглянул на него «с удивлением и жалостью»...

Мне не известно, какое мирозерцание исповедует Г. Владимов как человек и писатель, что, впрочем, не так уже важно, когда мы имеем дело непосредственно с текстом, говорящим порою больше, чем намеревался сказать автор. Но чтение его повести, проникнутой понимающим состраданием не только к гонимым, но и к гонителям, невольно навлекает на память вечные заповеди, которые далеко не всегда дано человеку исполнить, но Богу — дано... Когда сейчас порою, именем православия, произносятся рекомендации в пользу добровольного мученичества по образцу первых веков христианства, вновь жгучую силу обретают слова св. Григория Богослова:

«...Закон мученичества таков: не выходить на подвиг самовольно, щадя гонителей и немощных, а вышедши — не отступать; потому что первое есть дерзость, а второе трусость».

Вот именно — «щада гонителей», помня, что и они живые души и, значит, не пойдет им во благо грех мучительства и убийства.

Нет необходимости в литературной статье ссылаться на великие богословские авторитеты. Однако и более скромный опыт рядового, современного мученичества учит, что возможна, в самом деле, та возвышенная, справедливая и, кажется, недоступная нам точка зрения на жизнь и на смерть, непроизвольно повинувшись которой, верующий человек, страдающий за веру в лагере, плачет и молится за тех, кто всегда его только ненавидел и преследовал. Причем делает это не из отвлеченных морально-теоретических соображений, а по первому зову собственного сердца. Мне вспоминается старик — из категории, называемой официально сектантами, — русский старовер-странник, плакавший, услышав по радио о кончине Ворошилова, тогда как у прочих зеков естественной реакцией были — либо холодное равнодушие, либо откровенная радость: умер старый палач!

— Что вы расстраиваетесь, отец Мина! Ворошилов, как говорится, свое уже пожил. А сколько он зла причинил — и таким, как вы, людям, — вы это знаете, вероятно, лучше меня...

— Так потому и печалюсь: ведь его душенька сейчас в ад идет!

И старец залился слезами.

Само начальство тогда, само правительство и партия не слишком сокрушались о смерти бывшего маршала и президента: Ворошилов свое отжил. И, может, во всей стране искренне его пожалел один дедушка Мина...

Повесть Владимова «Верный Руслан» чужда морализаторских тенденций, и не стоит из нее выводить какое-то четко означенное вероучение или практическое руководство. Но отзвук, но эхо тех нравственных и собственно-писательских побуждений, которые

толкнули Достоевского с низойти до убийцы и содрогнуться наказанию, которое он сам себе придумал, переступив черту, пусть во имя самых прекрасных и прогрессивных идеалов гуманности и всеобщего счастья, — здесь слышатся. И вот что особенно отрадно: новейшая русская словесность, в окружении стольких застенков и лагерей, сумела подняться на такую высоту понимания предмета, что извлекла из этих страданий не риторически-программный, а соединенный с нутром всякой твари урок — в том числе и для тех, кто следует неумолимо Закону Проволоки.

Большая литература, в которую повестью о собаке вошел Владимов, плохо поддается тематическому делению: вот это, дескать, о «рабочем классе» или о «лагерях». Потому-то, не возражая, что «Верный Руслан» — это просто история собаки, караульной собаки, и я позволил себе задаться некоторыми гипотетическими вопросами, возможно выходящими за рамки материала. Разумеется, форма — есть форма: запретка и проволока, за которую не выйдешь. Но если у той запретки — в кольцо — вся жизнь, весь мир — и люди и звери?..

ОТ РЕДАКЦИИ: При всей спорности некоторых положений публикуемой статьи, мы считаем, что в ней дан глубокий анализ повести Георгия Владимова «Верный Руслан».

Е. Эткинд

«ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ» АЛЕКСАНДРА ГАЛИЧА

*Придумывайте, сочиняйте для всех
тех, кто не умеет читать; пишите для
тех, кто умеет писать.*

Беранже

*Где крепили прозы кристальной
крупницы...*

Б. Пастернак. Анне Ахматовой.

Когда это началось? Когда частью нашей жизни стал этот голос, о котором сам его обладатель, создавая песню двадцать первого века, повествует из будущего: «...Скажет хозяйка: «Хотите послушать старую запись? И мой глуховатый голос войдет в незнакомый дом». Кажется, в начале шестидесятых мы слышали песню о Леночке — сержанте милиции, и о физиках, которые «раскрутили шарик наоборот», и еще о пенсионере, который «коньячку принял полкило», поглядывая, как над его головой «облака плывут в Абакан», те облака, которые счастливее, чем он, — ведь им не нужны ни амнистия, ни пенсия. С той, уже теперь далекой, поры Галич — неотъемлемая часть нашего общественного бытия: он приходит на наши дни рождения, он встречается с нами Новый год, он помогает нам в трудные дни. Помогает советом, примером и, может быть, главным, чем призван помочь своим соотечественникам и современникам поэт: он произносит

то самое, о чем другие молчат — то ли по робости, то ли по неумению выразить. Августовская трагедия 1968 года потрясла всех, а что сказала русская литература, голос народа? Приглушенным шепотком бежала от одной компании к другой эпиграмма, поминавшая авиационную катастрофу, в которой погиб журналист Непомнящий:

Протянул Непомнящий
Ноги братской помощи.

Было еще два-три публицистических всплеска, но ведь как подобные возгласы ни талантливы, они не отличаются устойчивостью, они, как эфир, летучи. А от одного магнитофона к другому перелетала, размножаясь по еще не установленным законам (вероятно — в геометрической прогрессии) и достигая еще не установленных (вероятно — фантастических) тиражей, «Баллада о чистых руках», и тысячи людей, которые на Первомайских демонстрациях с веселым безмыслием распевали песню о тачанке и о кострах в синие ночи, теперь слушали и твердили про себя:

Над кругом гончарным поет о тачанке
Усердное время — бессмертный гончар,
А танки идут по вацлавской брусчатке,
И наш бронепоезд стоит у Градчан.

А песня крепчает: взвивайтесь кострами!
И пепел с золою, куда не ступи...
Взвиваются ночи кострами в Острове,
В мордовских лесах и в казахской степи.

Осторожный интеллигент, сто раз пуганный и проработанный, смирный обыватель, способный разве что обменяться с соседом анекдотом о Василии Ивановиче и Петьке, добросовестный службист, исправно посещающий собрания актива, — все они (или хотя

бы некоторые), вспоминая о собственной чести, со стыдом твердят про себя:

Недаром из школьной науки
Всего нам милее слова:
Я умываю руки,
ты умываешь руки,
он умывает руки —
И хоть не расти трава!

Галич говорил им: «Я умываю...» Но это было неправдой, это риторическая фигура. Он из немногих, кто живет вслух, кто взял на себя ответственность за Время и страну. Его поэзия отзывчива, но не по-газетному, а именно как поэзия, — этот чувствительнейший сейсмограф, регистрирующий даже слабые подземные толчки.

Наша официальная многотиражная литература существует вне физического пространства, — она не отмечает землетрясений, даже разрушительных. Чехословакия 1968 года — во сколько баллов толчок? Отъезд многих тысяч евреев, российских немцев — это ли не колебание земной поверхности? По сейсмической шкале, землетрясения различны — от «незаметного», до «очень сильного», до «катастрофы» и даже «сильной катастрофы», когда реки меняют русла. Наша литература не отмечает даже «катастрофы», — она живет собственной жизнью, то ли вспоминая о годах войны, когда советское общество, стоявшее на краю пропасти, было сплочено небывалым единомыслием, то ли рисуя баснословное нравственное благополучие и стремительно-феерическую безостановочность прогресса. Слабые подземные толчки не регистрируются, приборов нет. Рачительно ли это со стороны властей? Умно ли — разбить сейсмографы или запретить? Мало их осталось, но Александр Галич существует. И регистрирует. Его поэзия — искусство емкое, она обладает сжатостью стиха и зоркостью

прозы. Песни Галича нередко (как у его знаменитого предшественника, так много значащего для русской литературы, — Пьера Жана Беранже) — рассказы, новеллы, повести в стихах, с законченным и, бывает, анекдотическим сюжетом, с глубоко и точно раскрытым характером главного героя. Характеры, созданные Галичем во множестве песен-рассказов, типичны и новы: они открыты внутри еще не изученного, даже простым глазом не рассмотренного, общества и выявлены они скупыми штрихами — одним или двумя словами, речевым оборотом, мелкой бытовой подробностью. Среди его героев — шофер персональной машины большого начальника; вороватый директор комиссионного магазина; маляр, который, пьянствуя в компании истопника, решает судьбы мира; футболист, выдаваемый прессой за студента-любителя спорта; девушка-милиционер, одетая в платье из панбархата и вышедшая замуж за шаха; вчерашний лагерник, ныне пенсионер, в памяти которого, сколько ни глуши ее коньяком, прошлое неистребимо; недавний начальник концлагеря, поныне еще видящий во всех вокруг заключенных; советский чиновник, внезапно оказавшийся наследником заграничной тетушки; кассирша в продовольственном магазине, прошедшая через все испытания своего жестокого времени; молодой карьерист, успеха ради женившийся на нелюбимой дочке партийного бонзы; профсоюзная активистка, чиновница ВЦСПС, ездящая по заграницам, и ее муж, бабник, которому общее собрание сладострастно пришивает «аморалку» («а из зала мне: «Давай все подробности!»); художник, проработанный братьями и лишенный мастерской за увлечение абстрактной живописью; отставной сотрудник «органов», ныне томящийся в бездействии; командировочный, который «подклеил» в гостинице дамочку и экономит на угощении... Они представляют все слои об-

щества, эти маляры и спорткомментаторы, художники и пенсионеры, генералы и лагерники, билетерши и психи, спекулянты и санитарки... Более ста песен-повестей Галича — это наша Человеческая комедия, модель нашего общества, в котором новое, только что возникающее и даже еще не оформившееся, сосуществует со старым, уже гниющим, но еще чудовищно живучим.

По социальной и психологической содержательности песни Галича равновелики прозе, по сжатости — поэзии, пересказывать их трудно: получается жалкая газетная заметка.

Песня «Веселый разговор», например, — это повесть об осиротевшей девочке, которая стала кассиршей в магазине; схема ее дальнейшей жизни такая: приставал к ней завмаг Званцев, но она отбилась от его приставаний, а полюбила еврея Алешу, техника по счетным машинам; во время войны Алеша погиб, родилась у нее дочка, и снова к ней пристаёт Званцев, и она снова отвергает его, и тогда Званцев мстит за оскорбление, доносит на нее, — кассиршу обвиняют в хищении и по Указу она попадает в лагерь. Проходят годы, амнистия ее освобождает, она возвращается в свой продмаг, а дочь уже взрослая, и вот уже дочь выходит замуж за Званцева, и он за глаза посмеивается над своей тещей, и внучок ее — внучок уже ходит в первый класс... Повесть? По многообразию событий и жизненных конфликтов — даже роман. Персонажи очерчены с удивительной определенностью, каждый из них может быть развит до романной фигуры, но все и так — живые, и, несмотря на предельную сжатость, кажется, что они написаны подробно; их даже больше, чем в нашем убогом пересказе. А сжатость — за счет речи, характернейшей речи. Песня начинается с повествования, в котором

звучит голос героини; это ее манера говорить, ее интонация:

А ей мама ну во всем потакала,
Красной Шапочкой звала, пташкой вольной.
Ей какава по утрам два стакана,
А сама чайку попьет — и довольно.

Потом, в рассказе о Званцеве, уже два голоса, даже три — завмага, кассирши, автора:

Начал Званцев ей, завмаг, делать пассы,
Интересно, мол, узнать, что за птица.
А она ему в ответ из-за кассы:
«Дожидаю, мол, прекрасного принца».

И рассказ об Алеше — сквозь нее, ее голосом:

Был он техником по счетным машинам,
Хоть и лысый еврей, но хороший.

А вот о мести Званцева, о его доносе — внутри авторского рассказа звучит сперва ее голос, потом его:

Ну и стукнул он, со зла, не иначе,
Сам не рад, да не пойдешь на попятный...

А может быть, это все с ее слов рассказывает подруга, соседка, которую она посвящала в подробности своей жизни? Не соседка ли говорит:

А как свадьбу сыграли в июле,
Было шуму на Песчаной на нашей.
Говорят в парадных добрые люди,
Что зовет ее, мол, Званцев мамашей.

«Прозы кристальной крупницы» — сколько их здесь, этих крупниц, позволяющих определить события в пространстве и во времени! Такие «крупницы» — это и челка, которой трясет она, сидя всю жизнь за щелкающей кассой, и гибель Алеши — «... под Щелко-

вым — в щепки полк», и сто тридцать пятая статья, по которой ее привлекли за недостачу, и Указ, и амнистия, и одна из Песчаных улиц, где она живет, и первый класс, в который ходит внучок. Такие «крупницы» — это и словечки, в каждом из которых спрессованы эпоха и общественный круг, где словечко это родилось, отпечаток которого оно несет на себе: «какава», «делать пассы», «всех отшила», «хоть и лысый еврей...», «стукнул он со зла», «доченьке девятый годочек», «обнаружили ее в недостаче», «на этап пошла по Указу». Словечек таких немало, ими изображены люди этой драмы, устрашающий «участок» московской повседневности сороковых-шестидесятых годов. В рефренах материализованное Время движется в цвете: кассирша, которой в начале — двадцать, трясет черной челкой, потом пегой (после гибели Алеши она стала седеть), потом рыжей (после лагеря она покрасилась), наконец — белой. Сколько же лет прошло? Действие началось перед войной, году в сороковом, кончается оно, когда внуку семь, — значит, лет через двадцать пять, где-то в середине шестидесятых годов. Галичу свойственна такая железная хронологическая определенность: действие локализовано в истории; конфликты — не просто общественные столкновения, у каждого своя дата; детали отличаются непререкаемостью, их тоже можно датировать годом и даже иногда месяцем.

Детали — это золотые крупницы реальности; мыто их узнаем с безошибочностью абсолютной. Пройдет лет десять, историки нашей литературы погрузятся в разыскания, — но еще трудней придется современникам той хозяйки («...хотите послушать старую пленку?»), через сто лет. Будут ли они знать, наши внуки, как важна мелочь в песне «Леночка», где гость-эфиоп сидит на Старой площади — «сидит с моделью вымпела». Или в песне «Красный треуголь-

ник», где муж Парамоновой рассказывает, как он «с Нинулькою гулял, с тети-Пашиной»:

Поясок ей подарил паралоновый,
И в палату с ней ходил, в Грановитую...

Его прорабатывают на собрании, где «первый был вопрос «Свободу Африке», но это не слишком увлекает сослуживцев:

Ну, как про Гану — все в буфет за сардельками,
А я и сам бы взял кило, да плохо с деньгами...

Потом жена прощает его, они вдвоем идут в ресторан «Пекин»: «Она выпила Дюрсо, а я Перцовую...»

Каждая деталь у Галича не только поразительна точна, но и уходит вглубь быта, где соединяется с другими, обрастает ими. «Нинулька» — сначала про нее сказано, что она «тети-Пашина», — и что герой «и в «Пекин» ее водил, и в Сокольники». Проясняется всё позднее; оказывается «тетя Паша» — гардеробщица, а Нинулька торгует на базаре:

И тогда прямым путем в раздевалку я,
И тете Паше говорю, мол, буду вечером.
А она мне говорит: «С аморалкою
Нам, товарищ дорогой, делать нечего.

И племянница моя, Нина Саввовна,
Она думает как раз то же самое,
Она всю свою морковь нынче продала
И домой по месту жительства отбыла».

Тут что ни слово, то говорящая деталь; тетя Паша, которая в песне-повести почти не действует, охарактеризована исчерпывающе — жаргонным словечком «аморалка», ироническими казенными оборотами «товарищ дорогой» и «по месту жительства отбыла», подчеркнуто официальным «Нина Саввовна»... А вот еще один второстепенный персонаж, секретарь рай-

кома «товарищ Грошева», которая «с улыбкой говорит»:

Схлопотал он строгача, ну и ладушки,
Помиритесь вы теперь по-хорошему.

Нужны ли длинные характеристики — после таких снайперских попаданий? «Товарищ Грошева» слышна, видна, понятна — до конца понятна, сложности-то в ней никакой: всего четыре слова — и социальный тип готов.

Вернемся к деталям материальным — просто перечислим некоторые из них. Вот они в «Балладе о том, как я ездил навещать своего старшего брата, находящегося на излечении в психбольнице в «Белых Столбах», или «право на отдых»:

Первача я взял ноль восемь, взял халвы,
Пару «Рижского» и керченскую сельдь...
...Мы пивком переложили, съели сельдь,
Закусили это дело косхалвой...
... А братан — в пиджак, да и к поезду,
А я булабочкой деньги к поясу...

Или в песне «Композиция № 27», где звучат переплетающиеся троллейбусные разговоры:

— Он не то, чтоб достиг, он подлез...
— А он им в ЦУМе пылесос и палас...
— А она ему: «Подлец ты, подлец»...
— И как раз у них годичный баланс.

И там же дальше:

— Говорят, уже не первый сигнал...
— А он ей в чай намешал нембутал...
— А им к празднику давали сига...

Или в «Вальсе его величества», где указано, что «поллитра всегда поллитра и стоят всегда трояк», и

что пить надо третьим, последним, потому что ему, третьему, выгоднее других: он

...первому по затылку
Отвесит шутя пинка...
А после он сдаст бутылку
И примет еще пивка.

Заметим: стоимость бутылки из-под водки равна стоимости пива. Галич точен не только в датах, но и в ценах. Впрочем, цены — те же даты:

На одни, считай, учебники
Чуть не рупь уходит в месяц!..
...А сырку к чайку или ливерной,
Тут двугривенный, там двугривенный...
(«Фарс гиньоль»)

Или в пьесе «про тещу из Иванова», где рассказывается, как художника «за абстракцию» лишили мастерской и договоров и как

Тонька вмиг слетала за «Кубанскою»:
То да сё, яичко, два творожничка...
Он грамм сто принял, заел колбаскою
И сказал, что полежит немножечко.

А теща Ксения Павловна «на кухне ... вела дознание»:

«Он откуда родом?» — «Он из Рыбинска». —
«Что рисует?» — «Всё натуру разную.» —
«Сам еврей?» — «А что?» — «Сиди — не рыпайся.
Вон у Лидки без ноги да с язвою!
Курит много?» — «В день полпачки 'Севера'». —
«Лидкин, дьявол, курит, вроде некрута,
А у них еще по лавкам семеро». —
«Хорошо живете?» — «Лучше некуда!»

В малых бытовых деталях — уважение к реальности, к трудовой жизни людей, не привыкших быть

в центре писательского внимания; после того как в литературе не стало Зощенко, про них забыли, вроде и нет на свете, городских этих горемык. Александр Галич присматривается к ним с неторопливостью и добрым вниманием, и такая щемящая тоска охватывает нас, когда мы узнаём убожество их прозябания, беспросветное их одиночество, повседневность их беды — особенно одиноких женщин, которым хуже всех. «Командировочная пастораль» — монолог служащего, который живет в гостинице, и вот повел он в ресторан женщину, которая надеется на дорогой ужин, а он ей:

Под столом нарежем салца
И плевать на всех на тутошних.
Балычок? Прости, кусается,
Никаких не хватит суточных.

Про ту женщину мы знаем мало, но и, кажется, достаточно: «туфли-лодочки», «юбка черная», «в глазах червоточина». А роман их может длиться только до полуночи, потому что — «курва здешняя коридорная». Боже, какая тоска! А еще другая — женщина из «Песни про генеральскую дочь», которой смутно помнится, как росла она в Ленинграде, на Обводном канале:

А там мамонька жила с папонькой,
Называли меня лапонькой,
Не считали меня лишнею,
Да им дали обоим высшую.

И теперь, в Караганде, она счастлива, когда к ней приходит «сучок», — женатый шофер, выпить водки и завалиться спать:

А он проснулся, закурил «Беломор»,
Взял пиджак, где у него кошелек,
И прошлепал босиком в коридор,
А вернулся и обратно залег.

Он сопит, а я сижу у огня,
Режу мелко на водку лучок,
А ведь все ж тки он жалеет меня,
Все-тки ходит, все-тки дышит, сучок!..

И ведь опять это — целый роман, и опять каждый персонаж изображен с непостижимой полнотой и отчетливостью; даже жена шофера, «мадама», у которой «месяцá» (отчего сучок-то и появился) и которая «крутит мордою» («Так мне плевать на то, я не гордая»), и сам шофер, который «из гулевых шоферов, он барыга, и калымщик, и жмот», и генеральская дочь, которая теперь работает продавщицей в карагандинском гастрономе — она ждет, что «завтра с базы нам сельдь должны завезть. Говорили, что ленинградскую!»

Я себе возьму и кой-кому раздам,
Надо ж к праздникам подзаправиться, —
А пяток сельдей я пошлю мадам,
Пусть покушает, позабавится!

Униженные и оскорбленные... Сколько их в песнях-повестях Галича, и сколько в них человечности, простой, бесхитростной доброты, как в том, другом шофере, который после аварии в больнице жалеет умершего «в отдельной палате» начальника, вспоминая, как в войну они вместе «под этой кожаночкой ночевали не раз и не два. И тянули спиртягу из чайника, под обстрел «загорали» в пути»... А теперь он, шофер, в больнице, и кормят его не так, как начальника, которому «создают персональный уют», и все-таки думает он не о себе:

Я с обеда для сестрина мальчика
Граммов сто отолью киселю —
У меня ж ни кола, ни калачика,
Я с начальством харчи не делю.

Да, Человеческая комедия нашего общества. Но ведь не романы пишет Галич, а песни, жестко ограниченные по длительности. Ни одна не может выйти за пределы нескольких минут, занять больше двух, от силы трех страниц текста: пятнадцать строф-куплетов с рефреном — это уж очень много, это наибольшее пространство из возможных. На таком крохотном пространстве раскрываются характеры, определяются общественные типы и обнаруживаются сложные отношения между людьми. Необходима концентрация — небывалая. Слово должно вбирать в себя громадную энергию. Праздных слов быть не может. Но ведь песня не терпит и перенасыщенности, тяжести — она должна прежде всего петься. Галич соединяет это в единстве своих песенных повестей. Как? На такой вопрос ответить трудно. Искусством Александра Галича будут заниматься исследователи, они постараются ответить — как? Наметим лишь несколько решений.

Прежде всего — многостильность внутри одного эпического монолога. Знаменитая песня «Облака» начинается медлительным раздумьем, и речь, сперва нейтрально-литературная, в конце строфы становится жаргонной:

Облака плывут, облака,
Не спеша плывут, как в кино,
А я цыпленка ем табака,
Я коньячку принял полкило.

Вторая строфа построена сходно и в то же время противоположно первой. Она начинается с тех же замедляющих повторов (облака плывут... не спеша плывут...), но упирается не в жаргонное просторечие, а в торжественно-символическую гиперболу:

Облака плывут в Абакан,
Не спеша плывут облака.

Им тепло, небось, облакам,
А я продрог насквозь на века.

Первая строфа как бы движется вниз, вторая — похожая — круто вверх. А третья соединяет особенности первой и второй: начинается с символической метафоры высокого стиля, заданной в конце второй строфы, и обрывается низким, жаргонным, заданным в конце первой:

Я подковой вмерз в санный след,
В лед, что я кайлом ковырял.
Ведь недаром я двадцать лет
Протрубил по тем лагерям.

Стилистически-интонационные зигзаги продолжают. В дальнейшем будут и возвышенно-песенные повторы, изображающие неторопливую природу («Облака плывут, облака, в милый край плывут, в Колыму...» «Облака плывут на восход...»), и тоскливая ирония («Я в пивной сижу, словно лорд, и даже зубы есть у меня»), и сухо-прозаические даты («А мне четвертого перевод, и двадцать третьего — перевод»). В заключительной строфе соединяются стилистические контрасты прозы и поэзии, низкого и высокого, бытового и космического, внешнего и внутреннего:

И по этим дням, как и я,
Полстраны сидит в кабаках.
И нашей памятью в те края
Облака плывут, облака.

Сплетение стилевых разнородностей и само по себе обладает концентрирующей силой. Прозаический быт пенсионеров, бывших эков, слит с вечной красотой равнодушной природы — это слияние и есть движение жизни, воплощенной в плывущих облаках, которые одновременно и реальные облака, и воспоми-

нения; они и признак внешнего мира, и часть внутреннего.

В других песнях сталкиваются не стили одного монолога, но различные голоса. В песне «Без названия» пошляк-обыватель советует:

Не судите! Малюйте зори.
Забивайте своих козлов.
Ну, какой-то там чайник в зоне
Всё о Федре кричал... Делов!

Сразу возникает другой голос — Осипа Мандельштама; звучит его монолог:

— Я не увижу знаменитой Федры
В старинном многоярусном театре.

И еще голос, пародийный, повторяющий эти строки и глумящийся над трагическим голосом поэта:

...Он не увидит знаменитой Федры
В старинном многоярусном театре.

Голос обывателя в песне крепнет, но крепнет и опровергающий его мужественный голос автора, в котором сначала — ирония, даже сарказм:

«Не судите, да не судимы...»
Так вот, значит, и не судить?

а потом, в заключение, прямая формула гражданской ответственности:

Нет, презренна по самой сути
Эта формула бытия:
«Те, кто выбраны, те и судьи».
Я не выбран, но я судья!

Многоголосие в песнях Галича со временем усложняется. В его цикле «Литераторские мостки» оно особенно сильно. Разные голоса звучат в песне «Сню-

ва август», памяти А. Ахматовой, где есть и патетические авторские размышления — о том, чего не могла знать его героиня, о Чехословакии 1968 года:

И разве не в августе снова,
В еще не отмеренный год,
Осудят мычанием слово
И совесть отправят в расход?

И народный напев, так много значивший для Ахматовой:

Ах сени мои, сени,
Кленовы ворота,
На кой тебе спасенье,
Ты та или не та?

И повествование почти прозаическое:

Она придет, иззябшая, под утро
И никому ни слова, где была.

И чуть переиначенные скорбные строки Ахматовой:

— Прости, но мне бумаги не хватило,
Я на твоём пишу черновике.

В стихах памяти Пастернака, Зощенко, Мандельштама, Михоэлса, Ф. Вигдоровой — то же многоголосие, порой напоминающее монтаж: не в этой ли точке пересекается Галич-поэт с Галичем-кинематографистом? В песне «На сопках Маньчжурии» смонтированы не только разные стили, но и разные сюжеты: кабак, в котором шарманщик крутит свою музыку и где «делясь тоской, как барышами, подпевали шлюхи с алкашами»; Тамарка-буфетчица, ее воспоминания, ее прошлое и настоящее; чудак, заказавший бутылку боржома и с почтительной робостью поцеловавший Тамаркину руку; вальс «На сопках Маньчжурии», чьи

строки звучат рефреном... Впрочем, есть у Галича песни, в которых монтаж сюжетов носит еще более парадоксальный и удивительный характер: сшиваются эпизоды из разных эпох, из разных стран, различных и порой даже противоположных стилей. Эти песни, построенные на монтаже, становятся особым жанром, — чем-то вроде стихотворной киноповести.

Еще один принцип, позволяющий Галичу добиваться высокой степени сжатости: ассоциативность слова. Об этом говорилось выше, но в иной связи, в иных терминах. Особенно в жанровых песнях каждое слово представляет целый речевой пласт, а значит — целый общественный слой. Герой «Баллады о прибавочной стоимости» рассказывает, как он узнал о заграничном наследстве: со мной, говорит он,

...недавно случилась история:
Я купил радиолу «Эстония»,
И в свободный часок на полчаса
Я прилег позабавиться классикой.

Ну, гремела та самая опера,
Где Кармен своєю бросила опера.
А когда открывал Эскамилио,
Вдруг свое я услышал фамилию.

Что ни слово, то длинный хвост ассоциаций, позволяющих без дальнейших описаний понять характер рассказчика: радиола (название официальное, «товароведное»), классика (слово, внушенное газетной речью), опер (жаргонное сокращение, особенно эффектно рифмующееся с «оперой»), открывал (в смысле — «кончил арию»). А дальше в тексте песни встречаются слова, из которых каждое обладает собственной особой представительностью: «Ожидают вас в **Инюр-коллегии**», «**Культ — не культ**, а чего не случается?», «Ну, **белышко** в портфель, **щетка-мыльница**: если

сразу возьмут; чтоб не мыкаться», «А я за это вам **джерси**», «Сел глядеть передачи по телеку»... А как выразительно даже имя! Приятели, которых «наследник» угощает в ресторане, называют его с ласковой фамильярностью Вовой — «ты не брезговай, Вова, одалживай!...», а там же в ресторане «...какие-то две с перманентиком всё назвать норовят меня Эдиком». И то и другое имя — целая характеристика, потому что и «Вова», и «Эдик» — это пучок ассоциаций. Галич вообще виртуозно играет именами; вспомним в «Красном треугольнике» варианты: «Я с Нинулькой гулял, с тети-Пашиной»; «А вернулся — ей привет, анонимочка: фотоснимок, а на нем я да Ниночка»; «...племянница моя Нина Саввовна...». В сущности, здесь вся характеристика и дана-то через имя. Столь же могучая выразительность в географических названиях: «От Караганды по Нарым вся земля как один нарыв. Воркута, Инта, Магадан, — кто нам жребий тот нагадал?..» («Песня про Синюю Птицу»), или: «Про Китай и про Лаос говорились прения...» — а затем еще два стиха со словами, обладающими ассоциативностью другого рода: «Но особо встал вопрос про отца и гения» («Разговор в вагоне-ресторане»).

Немало у Галича и книжных, литературных ассоциаций. Его припевы воскрешают в памяти цыганские романсы, — например, А. Григорьева («Басан-басан-басана»), или еврейские напевы («Тум-балалайка»), или популярные арии («Рамона, какой простор вокруг, взгляни... Рамона, моя любовь, мои мечты»). Его песни о поэтах насыщены вполне узнаваемыми чужими словами; так, в «Возвращении на Итаку» стихи О. Мандельштама звучат и в прямых цитатах («И только и свету, что в звездной колючей неправде...»), и в косвенных, передающих мысль поэта: его собственными образами:

Щелкунчик-скворец, простофиля-Емеля,
Зачем ты ввязался в чужое похмелье?

На что ты истратил свои золотые?
И скучно следили за ним понятия.

Или:

Глотай своего якобинства опивки...

Или:

На улице черной, за вороном черным...

Или:

Везут Одиссея в телячьем вагоне,
Где только и счастья, что нету погони.

Еще одна существенная черта галичевских песен — построение сюжета. Галич владеет в совершенстве этим искусством: часто он начинает свое песенное повествование или монолог — от себя или от героя — неожиданно, как бы из середины действия, иногда словно продолжая разговор:

Врач сказал: «Будь здоров, паралич!»

Или:

Кивал с эстрады ей трубач...

Или:

Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут
спрашивать...

Или:

А ей мама ну во всем потакала...

Или:

У жены моей спросите, у Даши...

Или:

Все завидовали мне — эконо денег!

Начавшись из середины, сюжет или монолог развертывается стремительно, динамично. Он организован в строгую форму куплетов, часто сопровождаемых многозначительным рефреном, который, даже если не варьируется, меняется от раза к разу, потому что меняется его внутренний смысл: то он звучит иронически, то скорбно, то комично. Это, однако, особая и сложная тема, которую здесь можно лишь бегло затронуть.

В «Человеческой комедии» Бальзака — три яруса: первый, самый большой — «Этюды о нравах», второй — «Философские этюды», третий — «Аналитические этюды». В первом живут многочисленные французы, простые и знатные, богатые и нищие; во втором и третьем Бальзак, пользуясь порой фантастическими образами, выявляет законы общественной жизни и — шире — бытия.

«Человеческая комедия» Александра Галича построена по тому же принципу. Здесь есть свои «Этюды о нравах», распадающиеся, как у Бальзака, на сцены частной, провинциальной, столичной, военной жизни... Есть тут и свои «Философские этюды», обобщающие суетность общества и бытия, истории и современности; к ним относятся такие песни, как «Заклинание», «Ночной дозор», «Еще раз о чёрте» и многие другие. Здесь тоже автор использует ассоциативные возможности читателей, слушателей, исполнителей; встречаясь с чёртом, который приходит к поэту, мы вспоминаем разных его предшественников от Мефистофеля до Воланда, — ведь и другие черти вкрадчиво уверяли своих Фаустов:

И ты можешь лгать, и можешь блудить,
И друзей предавать гуртом!
А то, что придется потом платить,
Так ведь это ж, пойми, потом!

Но реальность чертовщины в нашу пору несравнима с предшествующими эпохами. Песня «Еще раз про чёрта» — завершается простым и поэтому особенно страшным куплетом, опровергающим фантастичность:

Тут чёрт потрогал мизинцем бровь
И подвинул ко мне флакон.
И я спросил его: — Это кровь?
— Чернила, — ответил он.



В тридцатые-сороковые годы, собираясь вокруг праздничного стола или в прифронтовом лесу, и молодые и пожилые пели песни, в которых чаще всего звучало местоимение «мы». Это были стройные, иногда лиричные, иногда торжественные, но неизменно классические песни, точнее, песни советского классицизма. Они были начисто лишены жизненной конкретности, и наиболее достоверной жизненной деталью в них было сообщение о том, что «расцветали яблони и груши». Нередко песни той поры, вневременные и внепространственные, были сказками, балладами, вроде знаменитой: «Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля!..» или «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер...»

Потом эти песни стали достоянием истории, их сменили романсы Булата Окуджавы, в которых тоже не было примет времени и места, но был пронзительный лиризм. И они нередко сказочны, но сказки это другие:

Капли Датского короля или королевы —
Это крепче, чем вино, слаще карамели
И сильнее клеветы, страха и холеры...
Капли Датского короля пейте, кавалеры!

Окуджава — это период романтизма в истории нашей песни. Он вытеснил Лебедева-Кумача, как Жуковский — Сумарокова, как романтизм пришел на смену классицизму в начале прошлого века.

Но после Жуковского пришло новое искусство — реалистическое, в центре которого оказалось уже не зыбкое настроение поэта, не его лирическое отношение к себе, к другим, к миру, а самый этот мир, сами по себе эти другие. Песни Александра Галича появились по тому же самому закону, по которому реалистическое искусство появилось, вытеснив классицизм и романтиков. Это — высокая зрелость не только нашей песни, но и вообще нашей поэзии шестидесятых-семидесятых годов.

Критика и библиография

Виолетта Иверни

КОМЕДИЯ НЕСОВМЕСТИМОСТИ

Маркс уверял, что «история действует основательно и проходит через множество фазисов, когда уносит в могилу устаревшую форму жизни. Последний фазис всемирно-исторической формы есть ее комедия. ...Почему таков ход истории? Это нужно, чтобы человечество весело расставалось со своим прошлым» (К. Маркс, «Введение к критике гегелевской философии права»).

Эти бы слова — да Богу в уши. Устами бы Маркса — да мед пить. А взяв в руки небольшую книжку с кукольными фигурками на обложке — «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» — вот он и мед!

«Роман-анекдот» — это наше, родное, это только в современной России могло родиться, где академическое слово «сатира» не блесит: этакая мускулистая дива с голливудскими зубами и готовностью номер один во взоре. И то — обман. На самом деле — старушка-побирушка, и зубы вставные, и остается только готовность номер один.

Но живей живого — старый добрый фольклор, скомороший промысел: сверху, может, и заваливающая побасенка, а внутри — перец и порох, красные угли и горечь. Анекдот у нас — такой урожайный жанр,

В. Н. Войнович, «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», роман-анекдот в пяти частях. YMCA-PRESS, Париж, 1975 г.

что пора уж быть и анекдотоведению — то ли как части литературоведения (ибо анекдот — повествование), то ли театроведения (ибо он несомненно драматургичен и строится часто на диалоге), то ли общей истории (ибо ею рожден и ее отражает), то ли обществоведения (ибо в разных человеческих обществах рождается в разных количествах, с разной скоростью и в разной степени засоленности).

Что касается романа - анекдота, то опыта критики такового уж и вовсе нет, поскольку не было до сих пор прецедента. Между тем подобное определение жанра компрометирует любое солидное критическое начинание, ибо заставляет искать литературную форму, способную отразить этакий хитрячок-прищур, тайное подмигиванье и явную улыбку автора «Приключений Чонкина», которые на самом деле — всего лишь дно его серьезности, дно злости, дно упрямства (сколько угодно плодите слепых, я — вижу!), дно будничного взгляда обыкновенного гражданина (да не с большой буквы, а как в автобусе — стоящему у выхода человеку: «Гражданин, вы здесь встаете?»), дно последней — бессвязной, и неотвязчивой, и уязвимой — жалости.

А что такое смех, как не вычерпанные до конца слезы? Пересохшие до капельного края, до самого тонкого мыслимого кромушка, за которым дальше — разрушение разума. Смех — тоска по слезам, слезный голод, безъязыкое сострадание, размес сухого горя, попытка анонимного катарсиса.

Что такое смех, как не заклятие зла: ткнуть в него именем, чтобы скукожилось и сгнуло! Что такое смех, как не петушиное слово решимости, как не веселая броня Истины, ее нарядные доспехи, ее игрушка и копьё!

Истина-амазонка, воительница, во всем своем одическом блеске и пышности, как ни в чем не бывало примостилась за спиной маленького, кривоногого и

красноухого солдата последнего года службы Ивана Чонкина. И местожительство под названием «роман-анекдот» ее ничуть не унижает: лучшее свидетельство того, что и анекдот может быть произведением большой литературы.

Не знаю, что имел в виду Войнович, дав своему герою такую фамилию, но для меня она связывается с ЧОНОм — частями особого назначения, попросту юными карателями первых лет советской власти. В книге это приобретает тройное звучание: совершенной обратности смысла привычной аббревиатуры характеру героя; роли, которую отвел ему автор в структуре романа; его сюжетной роли — сюда включается комический оттенок: часть особого назначения в качестве охраны при поломанном самолете.

Разнообразные происшествия начинаются с Чонкиным потому, что он их не ждет и не желает. Он охотно закончил бы службу при своей летной части, оставшись никем не замеченным, но тут случается ЧП: в 120 километрах от аэродрома совершает вынужденную посадку самолет — заклинило мотор. Починить его на месте нельзя, запасных моторов на складе нет, поэтому начальство решает поставить там часового из самых завалящих и ненужных солдат и выбирает Ивана Чонкина.

Достать новый мотор не удастся до самого начала войны, потом о Чонкине забывают, полк передислоцируется, а он так и остается в деревне — примаком у Нюры Беляшовой, возле избы которой приземлился злосчастный самолет.

Задумавшись над речью товарища Сталина по радио, Чонкин допускает потраву Нюриной коровой опытной грядки колхозного селекционера Кузьмы Гладышева, после чего Гладышев посылает на Чонкина донос в некое Учреждение, «не столько военное, сколько воинственное», которое вело «системати-

ческую войну против собственных граждан, по принципу: бей своих, чтоб чужие боялись». Работники Учреждения приезжают арестовывать Чонкина, но он хорошо помнит, что часовой — лицо неприкосновенное, оказывает «серым» вооруженное сопротивление и берет их в плен, поскольку они привыкли иметь дело только с безоружным населением.

Пропавшее Учреждение начинают разыскивать представители городской власти, узнают на рынке, что оно отправилось в деревню Красное, а из телефонного звонка в Красное заключают, что Учреждение арестовал Чонкин со своей бандой, хотя председатель говорит: «Чонкин со своей бабой». Против банды Чонкина высылается полк регулярной армии, одетый в маск-халаты, несмотря на жаркое лето, и вооруженный бутылками с керосином (которыми неизвестно как пользоваться), а также пушкой с тремя снарядами.

Чонкин успешно отбивает атаку полка, но последний снаряд из пушки наносит ему контузию. Командир дивизии, командовавший операцией, вначале награждает его орденом за героизм, но тут выходят на свободу представители Учреждения и показывают ордер на арест Чонкина. Генерал награждение отменяет, объяснив окружающим, что Чонкин героем притворялся, чтобы втереться в доверие, а на самом деле он изменник родины. Серые увозят Чонкина с собой. Таков сюжет романа-анекдота.

Несмотря на то, что из пяти объявленных частей вышедшая книга содержит только две, она вполне может быть рассмотрена как законченное литературное произведение, ибо содержит отчетливо видимые приметы его композиции: завязку (экспозицию) — 1 и 2 главы, кульминацию — 7 глава II части (потрава ПУКСа) и развязку — 41 глава II части (арест Чонкина).

Из первой части экспозиции, в которой действие открывает нам деревню Красное, мы узнаем следующее:

что деревня Красное называлась раньше Грязное;

что деревни, относящиеся к одному колхозу, могут находиться на противоположных берегах реки, а соседние, расположенные на одном и том же берегу, — напротив, принадлежать к разным колхозам;

что появление потерпевшего аварию самолета может у жителей одной деревни вызвать совершенно противоположные реакции, связанные с их служебным положением: рядовые колхозники воспринимают его как неожиданное развлечение, а председатель колхоза Голубев убежден, что авария — это чистый камуфляж, и летчик — представитель Высшей Ответственной Комиссии, а появился он в Красном для того, чтобы снять голову с него, председателя Голубева;

что разговор на «вы» и без матюгов почти равносильна смертному приговору, во всяком случае означает серьезные служебные неприятности. Это заставляет предположить, что разговор на «ты» и с матюгами — есть явление будничное, и несмотря на реально содержащуюся в словах угрозу, на деле таковой не представляют (в чем мы впоследствии убеждаемся).

Вышеперечисленная информация, которую мы почерпнули из десяти начальных страниц книги, как мы видим, относится к совершенно различным плоскостям бытия и сознания: в первом случае она носит характер чисто формальный, во втором случае касается вопросов организационного характера, в третьем — затрагивает проблемы психологические, в четвертом — дает представление о неустойчивости содержания некоторых понятий и о склонности их становиться многозначными и даже многозначительными.

Однако, несмотря на качественные различия, все части данной информации в совершенно равной мере

обладают двумя стойкими признаками: во-первых, они являются абсолютно реалистическими и не содержат в себе какой бы то ни было деформации действительности; во-вторых, все они в равной степени обнаруживают нарушения логики. Отсюда мы вынуждены сделать вывод, что нарушения логики присущи самой описываемой в книге действительности.

Особое место занимает здесь кажущийся малозначительным факт переименования деревни Грязное в деревню Красное. Но это только на первый, поверхностный взгляд. На самом деле происходит не просто перемена неблагозвучного имени. Она прежде всего имеет целью запечатлеть глубокие внутренние изменения в жизни села, произведенные советской властью. Первоначальное название столь высокой цели в себе не несло — оно относилось скорее к проходимости деревенских улиц. При советской же власти явно изменилось отношение к слову как таковому. Из средства простой информации слово стало символом. Однако новое название дано было деревне раньше, чем реализовался его высокий смысл, из чего мы можем заключить, что слово стало не только символом, но и магическим заклинанием. Превращение слова в некую мистическую субстанцию является тем микроклиматом, в котором на свободе произрастают экзотические (с точки зрения неповрежденной логики) цветы дальнейших событий, а смыслы самых что ни на есть житейских понятий пускаются в бесшабашный разгул.

Ну что, например, криминального содержится в вопросе: «Правда ли, что у такого-то было две жены?» И, действительно, ничего криминального в этом нет, и, касаясь этот вопрос любого — даже не очень простого — гражданина Советского Союза, на него ответили бы в зависимости от знания предмета — положительно, отрицательно или неопределенно. Но воп-

рос касался товарища Сталина и был задан на политзанятиях по теме «Моральный облик бойца Красной Армии». Поэтому проводивший занятия старший политрук Ярцев «вскочил на ноги с такой поспешностью, как будто ему в одно место воткнули шило.

— Что?! — закричал он, трясаясь от ярости и испуга. — Вы что говорите? Вы меня в это дело не впутывайте».

Заметим, что последняя фраза старшего политрука Ярцева относилась, конечно, не к личной жизни товарища Сталина, в которую его никто и не собирався впутывать, а к вполне реальному судебному делу, которое он вычислил в уме со скоростью электронной машины.

Сцена, которую мы только что привели, происходит в летном полку, где служит Иван Чонкин, и входит составной частью во вторую половину экспозиции, раскрывающую перед нами систему взаимоотношений между людьми, принятую на родине автора, героя, а также и нашей.

Из этой главы мы уясняем для себя следующее:

что со старшими по званию и по положению можно обращаться непочтительно и даже глумливо (дежурный по части капитан Завгородний позволяет себе весьма далекие от уважительных выражения в адрес майора, начальника штаба, пользуясь тем, что майор страдает глухотой и к тому же боится всего на свете, поскольку совсем недавно переведен из пехоты, в летном деле ничего не смыслит и за любую оплошность может быть уволен в отставку);

что с равными себе по званию и по положению можно обращаться с робостью и даже подбострастием (командир батальона аэродромного обслуживания подполковник Пахомов с командиром полка, подполковником же, Опаликовым, которому он непосредственно не подчинен и который годами его младше, разговаривает с опаской, потому что знает, что Опаликов бли-

же стоит к начальству и раньше его получит полковника);

что нормально и законно в отношении с подчиненными вносить элементы собачьей дрессировки (Пахомов по отношению к старшине Пескову и старшина Песков по отношению к Чонкину);

что к одной и той же профессии (например, к военной) один и тот же человек может относиться противоположно в разное время дня: в зависимости от обстоятельств. (Старшина Песков в своем письме невесте Любе, проживающей в городе Котласе, перечисляет все преимущества военной службы перед гражданской, которые в основном сводятся для Пескова к тому, что он может в любое время дня и ночи отдать своим подчиненным приказ и они обязаны его выполнить, хотя образование у старшины — 5 классов. Это Песков пишет после того, как погонял по плацу Чонкина за то, что тот не умеет как следует приветствовать, а также ходить строевым шагом. Через несколько часов, сидя на гауптвахте, куда старшину укатал подполковник Пахомов, в свою очередь погоняв под хронометр, Песков в заключительной части письма пишет невесте, что «жизнь армейская, конечно, не сахар. Это же есть такие люди, которые пользуются служебным положением не для укрепления воинской дисциплины, а совсем обратное, с целью, чтобы издеваться над подчиненными. И, конечно, в гражданской жизни такого положения не бывает, потому что там каждый человек отработал свои восемь часов на производстве, считает себя уже свободным, и если какой инженер или мастер прикажет ему что-нибудь, так он может послать его куда подальше и правильно сделает».

Эту своеобразную диалектику взаимоотношений автор заканчивает следующим пассажем: «Со старшиной подполковник разговаривал не так, как час назад с командиром полка. Но и разговор старшины с

Чонкиным был мало похож на его разговор с подполковником. Что касается Чонкина, то он мог в таком духе разговаривать разве что с лошастью, потому что она по положению была еще ниже его. А уж ниже лошади никого не было».

Итак, если на нижнем уровне взаимоотношения между людьми всего лишь двойственны, то уже начиная с капитана Завгороднего — и дальше, на начальственном Олимпе, — они начинают петлять и путаться, включая по дороге вторые, третьи и... $N+1$ координаты. Нарушение простой зависимости во взаимоотношениях действующих лиц колеблет всю пирамиду и заставляет нас эту зависимость воспринимать не как критерий, т. е. фактор постоянно действующий, а как фактор сомнительный, как недостаточную вероятность. Это готовит нас к любым метаморфозам в отношениях, ибо там, где искажены критерии, допустимо все, что угодно.

Автор незаметно и даже как бы бесстрастно, но стремительно приводит нас к пониманию того, что в стране, где происходит действие книги, существуют некие неписанные законы, которые мы в дальнейшем — дабы не нарушать характера терминологии рассматриваемого произведения — будем именовать Правилами Игры. Правила эти отнюдь не находятся в состоянии покоя или, например, равномерного прямолинейного движения, а совершают неожиданные скачки и пируэты, требуя от граждан совершенно особого аппарата восприятия.

Обращаю внимание читателя на то, что термин «Правила Игры» принадлежит исключительно мне и в романе Войновича никак не фигурирует. Однако, по глубокому моему убеждению, именно в создании этого понятия состоит цель завязки, охватывающей две первые главы. Если оно в нас возникло, то цель достигнута, и нам остается руководствоваться им в дальнейшем, памятуя о том, что оно замечательно

своим непостоянством, алогичностью, а также абсолютной жизненной достоверностью.

Теперь, когда мы понимаем, сколь богата неожиданностями возникающая перед нами жизнь, как много в ней топей, трясин, замаскированных под натуральное благополучие ям, капканов с улыбочиво-невинной внешностью, которые — чуть оступись, истерзают твоё мягкое, невыгодное тело, — теперь только мы готовы к знакомству с главным героем.

«Дорогой читатель! Вы уже, конечно, обратили внимание на то, что боец последнего года службы Иван Чонкин был маленького роста, кривоногий да ещё с красными ушами. «И что это за нелепая фигура! — скажете вы возмущенно. — Где тут пример для подрастающего поколения? И где автор увидел такого в кавычках героя?» И я, автор, прижатый к стенке и пойманный, что называется, с поличным, должен буду признаться, что нигде я его не видел, выдумал из своей головы и вовсе не для примера, а просто от нечего делать. «Допустим, что это так, — скажете вы недоверчиво, — но зачем же выдумывать? Неужели автор не мог взять из жизни настоящего воина-богатыря, высокого, стройного, дисциплинированного, отличника учебно-боевой и политической подготовки?» Мог бы, конечно, да не успел. Всех отличников расхватали, и мне вот достался Чонкин. Я сперва огорчился, потом смирился. Ведь герой книги, он как ребенок — какой получился, такой и есть, за окошко не выбросишь. У других, может, дети и получше и поумнее, а свой все равно всех дороже, потому что свой.»

Предусмотрительность автора, касающаяся возможных к нему вопросов, обличает в нём человека, знакомого с Правилами Игры отнюдь не по рассказам, а чистосердечное признание в том, что он героя своего выдумал, свидетельствует о способности его к самокритике, одновременно являющейся и методом за-

щиты. Как мы видим, даже в прямом обращении к читателю автор не потерял основного принципа окружающей его действительности: мимикрии понятий.

Что касается главного героя, то его явное несоответствие тому, что мы привыкли вкладывать в это слово, подвигает нас на дальнейшее следствие по делу автора. Отличительным качеством Чонкина, с успехом затмевающим все остальные, тоже небезынтересные, является полная и категорическая неспособность воспринимать Правила Игры. По мнению чонкинского начальства, это происходит от его врожденной и безнадежной тупости. По нашему мнению, — от неистребимой естественности и внутреннего здоровья, которые позволяют ему воспринимать только то, что имеет разумное объяснение и оправдание. Разумное же объяснение могут иметь единственно вещи, соотносимые с природой, ее непреложными законами, нерушимой последовательностью и постоянством. Отсюда понятно, что Правил Игры Чонкину не осилить. Как раз это обстоятельство и объясняет выбор автора, к услугам которого было множество соблазнительно героических героев — от Остапа Бендера до Василия Теркина, а он ими пренебрег. Дело в том, что настоящих героев, рожденных для почетного караула у Мавзолея или хотя бы для изобретения четырехсот безболезненных способов отъема денег у государства, брала за глотку железная необходимость следовать Правилам Игры или творить контрправила с обратным знаком, но в том же духе. Чонкин же счастливо выпал из общего круга. У него не было возможности пройти через соблазн власти, поскольку в подчинении у него была только лошадь. А лошадь все-таки не способна дать настоящей школы руководства — во-первых, по той причине, что и Чонкин, а во-вторых, — как мы можем вывести из романа — потому, что у нее нет пальцев.

Преступное несоответствие Чонкина образу идеального солдата заставляет начальство махнуть на него рукой, от чего он немедленно выигрывает: «Его не посылали в наряды, не заставляли мыть в казарме полы, освобождали от строевой подготовки. Он даже в казарме почти не бывал, зимой спал обычно на кухне, а летом в конюшне на сене. Имея прямое отношение к кухне, питался по норме № 5, то есть по летней норме. Только от одной обязанности он не был освобожден — от политзанятий». На политзанятиях он и задал вопрос о двух женах товарища Сталина (его на этот вопрос спровоцировали), но, к счастью для Чонкина, вопрос был опасен столько же для спрашивавшего, сколько и для отвечавшего, и даже для него опаснее — потому что старший политрук. В обычное же время от Чонкина на политзанятиях ничего не ждали, и, стало быть, он не должен был врать, как другие. Так автор проводит своего героя через рифы Правил Игры и доставляет в целостности и сохранности к моменту, с которого начинаются свободные его действия.

Читатель к этому времени оглушен и растерян тем, как легко могут подвергаться распаду казавшиеся столь прочными нравственные нормы и законы логики, с какой бесстыдной поспешностью теряют они неприступный и победительный вид — стоит только подойти и трахнуть молотом, и полоснуть серпом, а потом сказать, что оно само совершилось и назвать это фатальной исторической неизбежностью. Глядя на то, как истаивают наши моральные и исторические критерии, как все на наших глазах двоится, троится, расслаивается, неудержимо и несобираемо ускользает и уползает, мы самым естественным образом хватаемся за соломинку, которую протягивает нам автор — за солдата Ивана Чонкина. Ничего нам больше не остается, как использовать его в качестве мерил, как по нему выверять события, как на зуб его восприя-

тия пробовать подлинность слов, понятий, характеров, причин и следствий, поступков и реакций, высокого и низменного, Добра и Зла. Ничего, что он смешной, — его внешняя несуразность сродни узловатой раскоряченной ветке, углом запекшейся и нелепо торчащей хлебной корке, так ведь ветка от этого — не уродливей, а хлеб — еще и вкуснее. А незаметно, тайком-молчком, схваченные за шиворот действием, им уволоченные и побившиеся уже об его камни да кочки, — мы при появлении Чонкина не смеемся, зато все, его окружающее, выглядящее вполне серьезным и даже драматическим, начинает вызывать смех неудержимый, какой-то подкожно-мышечный, потому что мы теперь воспринимаем все обстоятельства — как контрабанду (не авторскую, а историческую), как анекдот. Опоминаемся же мы тогда, когда готовы считать Чонкина — со всем его вышиваньем крестиком — настоящим героем, — в полном медальном смысле этого слова. И проверивши на его непомутненный глаз заодно и себя, в себе не обнаруживаем подобной невосприимчивости к Правилам Игры, отчего внутри делается как-то тепло и стыдно — душа, что ли, краснеет — и притом безо всякого вмешательства спасительного философского анализа, который в данном случае почему-то медлит прийти на помощь. «Если не будете, как дети...»

Не успел Чонкин остаться без начальственного присмотра, облеченный высоким званием и долгом часового при поломанном самолете, как выяснилось, что часовым его поставили в самом что ни на есть нужном месте.

Нюра Беляшова — та самая почтальонша, которую чуть не прибил упавший с неба самолет — еще до встречи с Чонкиным обнаружила ту же невозможность совместиться с Правилами Игры, что и он.

«С замужеством у нее не вышло, может быть, еще и потому, что была от рождения робкого харак-

тера, не могла собою увлечь, что ли, и один ухажер бросил ее за то, что была молчалива, мол, не о чем даже поговорить; другой добивался от нее, чтобы согласилась на то, чего он хотел, до замужества, и обиделся, что она ему не верит; третьему поверила — но он тоже бросил — за то, что слишком легко согласилась.»

Так и Нюра выпала из общего круга, потому что могла быть только самой собой, а за Правилами Игры было ей не угнаться. И в награду за это упал с неба самолет, а к самолету, тоже с неба, свалился Чонкин, и они соединились — не случайно, а по внутренней невозможности не соединиться.

Кроме Чонкина и Нюры, в книге существуют еще несколько персонажей, которых можно объединить понятием «нормальные люди»: председатель колхоза Голубев, Моисей Сталин и его жена Циля, два Мыслителя, проживавших в городе Долгове, и один покойник — председатель колхоза имени Ворошилова, который, поукрепляя немного колхозное хозяйство, затем все пропил и повесился, оставив записку, в которой было только слово «Эх», оснащенное тремя восклицательными знаками. Это самое «Эх!!!» все время висит над Голубевым, подобное «Мэне, тэкел, фарес» Валтасарова пира. О повесившемся председателе рассказывает в начале книги Федька Плечевой, озорник и нигилист местного значения, пилоту потерпевшего аварию самолета.

Все упомянутые выше персонажи прямого участия в продвижении сюжетной коллизии не принимают, кроме, разве, Голубева, который в ответ на вопрос первого секретаря райкома партии Ревкина, где находятся пропавшие работники Учреждения, произносит историческую фразу: «А их Чонкин арестовал со своей бабой», которую Ревкин — от плохой слышимости и от невозможности для него такого про-

исшествия — понимает как «Чонкин с бандой», что и дает толчок дальнейшему ходу событий.

Роль Голубева в этом деле — вопреки его желанию и без какой бы то ни было попытки ее исполнять, соответствует характеру его вполне осмысленных действий. Голубев старается как можно меньше совершать поступков, ибо знает, что любые поступки — независимо от их цели и смысла — подлежат наказанию. Но жизнь его складывается так, что он вынужден совершать какие-то действия, и всякий раз он обреченно вычисляет положенную за это кару. Голубев — узник и мученик вездесущих Правил, и избавление свое он видит только в том, чтоб казнь, наконец, совершилась (его очень приободряет рассказ Лешки Жарова, только что вышедшего из лагеря, что там кормят три раза день, работать заставляют только девять часов и показывают самодеятельные концерты с участием сплошь заслуженных и народных артистов). С началом войны Голубев облегченно вздыхает: теперь появилась возможность бегства: фронт. В том, что его гражданская, мирная жизнь много страшнее окопной, под пулями, Голубев ни минуты не сомневается. Не сомневаемся и мы с вами.

Моисей Сталин и Циля — единственные в романе люди, которых можно назвать счастливыми. Моисей — потому что он обладает уникальной возможностью не только не бояться встречи с грозным Учреждением, но и обставлять эту встречу с элегантно театральнойностью: «Ой, начальник! — покачал головой самозванец. — Зачем вы так строго со мной говорите? Вы даже не можете себе представить, что с вами будет, когда вы посмотрите мой документ. Вы будете вместе с вашим идиотом вылизывать с пола мою кровь языком. А потом я буду приходить к вам и буду снимать штаны, и вы вместе с вашим идиотом будете целовать меня в заднее место». «Дурак, — говорит он капитану Миляге, которому вдруг померещилось, что перед ним

папа товарища Сталина, и захотелось потрогать выбитые перед тем ударом Свинцова моисеевы зубные протезы: — «Дурак! У тебя руки в крови, а ты ими все хочешь трогать.» Потом он очень дружелюбно объясняет Миляге, что если кто-нибудь узнает, что Миляга арестовал и бил Сталина, «пусть даже не того Сталина и даже не его папу, а просто какого-нибудь Сталина, боже мой, вы даже не представляете, что с вами будет!»

Моисей в совершенстве знает Правила Игры и открыто на них плюет, потому что, согласно им, он — пользуется иммунитетом, перед которым дипломатический — ничто. Магия имени служит ему броней.

Что касается Цили, то единственным смыслом ее жизни является перечисление «великих людей, которых дал миру ее народ». В ее список входят: Маркс, Эйнштейн, Спиноза, Линкольн, Троцкий, Свердлов и Ротшильд. И никакие события — даже самые драматические — не отнимут предмета ее гордости. Впоследствии, услышав в очереди за керосином про Чонкина, арестовавшего Учреждение, она заносит его в свой список, безоговорочно сочтя его, во-первых, героем и, во-вторых, евреем (по созвучию с Ривкиным и Зускиным).

О двух Мыслителях, которые ежедневно обмениваются мнениями, гуляя по улице Поперечно-Почтамтской и поминутно оглядываясь — не слышит ли кто, можно сказать, что они люди вовсе не счастливые, а даже совсем наоборот. Они, подобно Чонкину, не в состоянии воспринять Правил Игры, однако по причине диаметрально противоположной: от искушенности, даваемой знаниями и близким знакомством с мировой культурой. В этом и лежит корень ошибки, которую они допускают в оценке окружающей действительности: они судят о ней, исходя из известных им фактов мировой истории, упуская разрушение критериев целесообразности и нравственности, произведен-

ное в ходе единственного в мире удавшегося социального эксперимента. Впрочем, процесс спора сам по себе служит для них источником неизъяснимого наслаждения. Это именно их мир, их ценности были раскрошены в пыль дружными совместными действиями серпа и молота, но они так и не сумели постигнуть до конца, сколь небрежливы к подручным средствам строители светлого царства социализма.

Настало время разглядеть и самих строителей, как они показаны нам Войновичем. К этой достойной рубрике следует отнести прежде всего партийное руководство — первого секретаря райкома товарища Ревкина, жену его Аглаю, секретаря по зоне МТС Борисова, парторга колхоза Килина, начальника райотдела знаменитого Учреждения Милягу и командира дивизии генерала Дрынова, который руководит операцией по разгрому «банды Чонкина». Общей особенностью поименованных товарищей является их неколебимая склонность совершать абсурдные действия или высказывать абсурдные мысли.

Секретарь райкома Ревкин первый обнаруживает пропажу Учреждения, причем не обычным — материальным — путем, а телепатически, изнутри почувствовав, что ему чего-то недостает — и очень нужного. Однако провидение его по началу не облакает в четкие рамки, поэтому он сам себя подозревает в нездоровых настроениях. Жена Аглая предлагает ему разоружиться перед партией, тогда-то он и идет в ведомство капитана Миляги и обнаруживает, что оно бесследно исчезло. Тут в голове его созревает превосходный проект — «чтобы в каждом районе было два Учреждения. Тогда первое будет выполнять свои функции, а второе будет наблюдать, чтобы не пропало первое. Ревкин отметил эту мысль на листке настольного календаря, но тут же явилась следующая: «А кто же будет наблюдать за другим Учреждением? Значит, нужно создать третье, а за третьим — чет-

вертое и так до бесконечности, но кто же тогда будет заниматься другими делами?» Получался какой-то заколдованный круг.»

Из всего этого явствует, какое значение секретарь райкома придавал вопросам контроля (включая контроль над ним самим со стороны того же Учреждения — вспомним, как он обнаружил пропажу).

Его жена Аглая, с которой он когда-то вместе проводил коллективизацию (тогда и познакомились), отличается еще большей твердостью: «Ее маленькое, но крепкое сердце не знало пощады к врагам, которых тогда (во время коллективизации — В. И.) в большом количестве отправляли в холодные земли. Она не всегда понимала гуманную линию партии, не разрешавшей уничтожать всех на месте. Теперь Аглая заведовала детским домом».

Воплощение понятий женственности и материнства, созданных Правилами Игры, Аглая отправляет мужа в следственную камеру (сиречь — в тюрьму, в лагерь, под расстрел), предварительно заверив его, что сына воспитает настоящим большевиком: он забудет даже, как звали отца; заботливо собрав мужу чехмоданчик, но отказавшись — по идейным соображениям — провести остаток ночи в одной постели.

Второй секретарь райкома Борисов и колхозный парторг Килин выступают во всем величии в истории с колхозным митингом, происшедшим в связи с началом войны. Услышав по радио о начале войны, колхозники собрались к правлению, ожидая подробностей, разъяснений и поддержки от руководства. Однако руководство к этому времени не получило никаких указаний сверху, поэтому толпу приказано было разогнать. Дозвонившись, наконец, до райкома партии, Килин услышал грозный вопрос Борисова: «Митинг провели?» Узнав, что парторг ждал указаний, «Борисов обрушил на плешивую голову Килина весь запас своего сарказма, как будто сам минуту назад не зво-

нил по всем телефонам в надежде на то же спасительное указание». Килин поспешил сообщить, что народ уже сам собрался, «как слышали радио, так тут же сбежались: мужики, старики, бабы с ребятишками». Однако в ответ на это Борисов попросил Килина приехать в райком и положить на стол партийный билет. «— Анархию развел, вот чего ты наделал! — Борисов ронял слова, как свинцовые капли. — Да где ж это видано, чтобы народ сам по себе собирался без всякого контроля со стороны руководства?

У Килина внутри все остыло.

— Так ведь, Сергей Никанорыч, ты ж сам... вы ж сами говорили: стихийный митинг...

— Стихийей, товарищ Килин, нужно управлять! — отчеканил Борисов.» Народ сгоняют снова — теперь уже силком. При этом бригадир Талдыкин, играющий роль вышибалы, т. е. проводящий в жизнь решения местной власти, весьма тонко подметил: «Для начальства, — для него народ вроде бабы. Ежли ты ее попросил, а она тут же тебе согласилась, то интересу никакого в ней нет. А вот ежли она сперва попротивилась, побрыкалась, а уж после ты ее взял, то в том и есть самое удовольствие.»

Столь незатейливо и точно Талдыкин сформулировал самую суть методологии, заложенной в Правилах Игры: должен быть протест (легкий, конечно, маленький); если его нет — надо его создать искусственно, это даст возможность продемонстрировать всю мощь власти, мощь же власти проявиться может только в насилии или — что точнее — в изнасиловании. В уникальной шкале ценностей, созданной строителями светлого царства социализма, это называется «советский гуманизм».

Генерал Дрынов совершил головокружительную карьеру за четыре года: от командира роты до командира дивизии. За это время он сумел донести на своего непосредственного начальника, заняв затем его

место, отличиться неизменно быстрыми и оперативными и столь же неизменно глупыми решениями во время финской кампании, а также осчастливить военную науку новым, выдающимся достижением: «на учениях приказал обстреливать личный состав своей части настоящими осколочными снарядами, максимально приближая обстановку к боевой. Дрынов утверждал, что при таком обучении погибают только плохие бойцы, которые не умеют окапываться. А в человеке, который не умеет окапываться, Дрынов вообще не видел никакого проку. Сам он любил окапываться».

Капитан Миляга самым положением своим — главы Учреждения — избавлен от одной утомительной необходимости: лгать. В основном это касается, конечно, подвластного ему населения. Но лгать — или иным образом идти против своего естества — Миляге вовсе не надо. Во-первых, по его всемогуществу, а во-вторых, по нетребовательности естества. Привыкнув к тому, что мир всегда соответствует его представлениям о нем, а несоответствие ликвидируется быстро и для Миляги безболезненно, он оказывается безоружным перед Чонкиным, действующим вразрез с представлениями Миляги. А попав в плен к посланной на поимку «банды Чонкина» воинской части и приняв ее за немецкую, Миляга тут же с присущей ему правдивостью объясняет, что он работал в русском гестапо, расстреливал коммунистов и беспартийных и хотел бы быть полезным немецкому гестапо в той же роли. Одну-единственную оплошность допускает Миляга, уже поняв, где находится: «Да здравствует товарищ Гитлер!» — кричит он, стремясь продемонстрировать свою лояльность по отношению к советской власти. Но у него есть веские оправдания: он едва оправился от мощного удара прикладом по голове, дело было ночью — не видать, где свои, где чужие, да и Гитлер сравнительно недавно перестал быть

товарищем. Однако, несмотря на все это, Милягу расстреливают.

Образы этих людей, при всей источающейся от них смешной и злой нелепости, неживой бессмысленности, в структуре романа не задаются как носители зла. Они всего только бесенята. Они суетятся, копошатся, семянят — создавая тошнотворно-назойливый узор быта, не содержащего в себе понятия «быть». Оборотень, перевертыш, недотыкомка, уродская рожа из-за угла, «все возможно», одновременно означающее «все невозможно», любовь, — сулящая ненависть, — это их форма и среда, питание и обиталище. Самое крупное в этом плане явление в книге — селекционер Гладышев.

Гладышев — гений деревенского масштаба. Знания его неохватимы. «Всех этих знаний Гладышев добился исключительно путем самообразования, ибо смешно было бы приписывать тут какую-нибудь заслугу церковно-приходской школе, где он окончил всего лишь два класса. Знания, накопленные Гладышевым, может, и пролежали бы в его голове без всякого толку, если бы не Октябрьская революция, которая освободила народ от всевозможного рабства и любому гражданину позволила карабкаться к сияющим и каменистым вершинам науки... Вдохновленный прогрессивным учением Мичурина и Лысенко, надумал он создать гибрид картофеля с помидором, т. е. такое растение, у которого внизу росли бы клубни картофеля, а наверху одновременно вызревали бы помидоры. Будущий свой гибрид Гладышев назвал в духе того великого времени «Путь к социализму», или сокращенно ПУКС.»

Вот и все. Тут должны умолкнуть все философы и социологи, все авторы и исследователи любых социализмов и любых к ним путей. Ибо отныне они будут натываться, как на ответ, на эту неприличную аббревиатуру, весь непередаваемый смак которой за-

ключается именно в сочетании неприличного с обыкновеннейшим (а что, ВЦИК лучше, что ли?) и означает — помидоры на картофеле (или жираф на носороге, или самолет на сапоге), короче говоря, — патологическое сочетание, названное полным именем. Слово сказано. Имя дано. И не смешочки пошлые, хиханьки-хаханьки, а — доказательство, аргументированно, без единой слабой или хоть слегка качающейся мотивировки, густо и тесно доказано. Это мы с вами проследили подробно и дотошно — с самого начала книги, с первых же страниц.

Как логическое продолжение экспериментов с ПУКСом, Гладышев осуществляет на практике еще одну свою теорию: «Для хорошего урожая надо удобрить землю дерьмом. Из дерьма произрастают травы, злаки и овощи, которые едим мы и животные. Животные дают нам молоко, мясо, шерсть и прочее. Мы все это потребляем и переводим опять на дерьмо. Вот и происходит, как бы это сказать, круговорот дерьма в природе. И, скажем, зачем нам потреблять это дерьмо в виде мяса, молока или хотя бы вот хлеба, то есть в переработанном виде? Встает законный вопрос: не лучше ли, отбросив предубеждение и ложную брезгливость, потреблять его в чистом виде как замечательный витамин?»

Ах, если бы Войнович все это из собственной головы выдумал! Правда, в жизни подобные вещи существуют не в качестве символов — а, к сожалению, в качестве продуктов широкого потребления. Но когда про это в книжке написано, то кто-нибудь может сказать, что это грубо, некрасиво — плохо пахнет, в общем. То есть поведение автора плохо пахнет. И звучит немusыкальнo. Но автор же не просто про дерьмо написал, он имел в виду создать символ, обобщение. То есть перед глазами у него было настоящее.., а в виду — символ. Что касается Гладышева, то идея его, ясно, выросла не на пустом месте — а по

причине, обозначенной выше, и еще — по более глубокой: он те самые Правила Игры, которые намозолили нам уже глаза и уши, заглотнул целиком, в первозданном виде — приблизительно так же, как открытый им во всей полезности своей продукт. Собственно, в образной системе книги они — тождество. Правила Игры и есть содержание символа, который автор имел в виду.

Когда Гладышев напоил Чонкина спиртом, полученным из любимого продукта, того начало мучительно и неудержимо рвать, хотя выпить вообще любил. Чонкин — антипод Гладышева. Человек — и гомункулус, они противостоят друг другу ровно настолько, насколько может Божеское создание противостоять наспех сляпанной, на гнилую нитку сшитой подделке.

Гладышев объяснил Чонкину, что человек произошел от обезьяны посредством труда. Тогда Чонкин спросил, почему лошадь не превращается в человека — ведь она работает больше всех! Это поставило Гладышева в тупик: в теории эволюции Дарвина и Энгельса, популярно излагавшейся в блокноте агитатора, про это ничего не было. Во сне Гладышеву явился колхозный мерин Осовиахим, который сообщил, что он от тяжелой работы превратился в человека, поэтому телегу таскать больше не будет. Вот только воевать он не может, потому что у него нет пальцев. Гладышев проснулся в поту, убедился, что все это ему приснилось, и тут обнаружил на лавке подкову, которой вчера не было. Выйдя из дому, он узнал, что Осовиахим ночью пропал. Однако потом Гладышеву было уже не до Осовиахима: не успел он сообщить Чонкину, что лошадь не может превратиться в человека, потому что у нее нет пальцев, как Нюрина корова съела гладышевский ПУКС. Затем по гладышевской анонимке приехали арестовывать Чонкина, а он сам всех арестовал. Потом был бой Чонкина с полком, который Чонкин в конце концов проиграл.

А вот уже после боя, когда Гладышев вышел, чтобы обозреть место сражения, он увидел на краю деревни убитого шальной пулей Осовиахима, под копытом которого лежал лист бумаги с надписью: «Если погибну, прошу считать меня коммунистом», что заставило Гладышева впервые за долгие годы перекреститься.

Образ Гладышева тайными узами связан в книге с образом Сталина. Гладышев выращивал свой ПУКС на маленькой грядке, а Сталин свой — на большой: двенадцать тысяч километров в длину и четыре с половиной в поперечнике. Гладышев свои знания получил путем самообразования — и Сталин тоже. Гладышев занимался различными изысканиями в области естественных наук, а Сталин, как известно, в области всех наук. Гладышев произносит вдохновенную речь о пользе дерьма, а Сталин — о войне с немцами: «Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу родину, начатое 22 июня, продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы».

«Чонкин слушал слова, произносимые с заметным грузинским акцентом, глубоко верил в них, но не все мог понять. Если лучшие дивизии врага и части его авиации разбиты и нашли себе могилу, то стоит ли так беспокоиться? Худшие части и дивизии разбить еще легче».

В выступлении Сталина столько же логики, сколько в теориях Гладышева. В сущности, оба они взаимозаменяемы.

Сталин не выступает в романе в качестве действующего лица, но он незримо существует за спинами реально видимых нам людей, как некая трудноуловимая, но несущая в себе угрозу неопределенность. Чонкин по-своему, конечно, любит товарища Сталина, но

никак не может поймать границы этого таинственного понятия и представить себе его так, как от него требуется. Реакция старшего политрука Ярцева на его вопрос о женах товарища Сталина убеждает Чонкина в том, что Сталин — личность невероятная, и в результате он видит сон, в котором политрук Ярцев, превратившийся в жука, сообщает ему, что товарищ Сталин — женщина, поэтому никаких жен у него вообще быть не могло. Доведение образа Сталина до края, до фантазмагии вполне оправдано: если уж представлять его необычайным — так до конца.

Сталин, который возможно и женщина — и Осовиахим, который возможно и человек — тоже сплетаются: по аналогии превращений, по созвучию имен (Иосиф — и Осовиахим, и оба уменьшительно — Оси), по внутренней оправданности метаморфоз в обоих случаях (оба заслужили: Сталин — славой, Осовиахим — работой), по абсолютному контрасту положений: живой бог — и рабочая скотина, олицетворение власти — и олицетворение безвластия; по закону построения софизма, наконец: если посредством труда животное может превратиться в человека, то им по справедливости должна быть лошадь, ибо она работает больше всех; если лошадь — человек, и Сталин — тоже человек, то, значит, они равны. И наоборот: если Сталин — существо надзаконное, всемогущее, то он может все что угодно, в том числе и превратиться в женщину; Осовиахим тоже превращается, стало быть они равны как обладатели чуда: готов и второй софизм. Что до правомерности пользования софизмами, то оно также вполне оправдано тем, что определенная нами как «Правила Игры» система философских, социальных, юридических, психологических и нравственных установлений, представленная нам Войновичем, основана именно на софистической логике. Стремительно разматывающееся действие романа, имеющее целью обнажение этой логики, при-

водит нас от первого, толчкового, абсолютно реалистического события (авария самолета) к последнему, фантастическому (заявление о посмертном приеме в партию убитой лошади). Идя от простой передачи событий к откровенной мистификации, автор на редкость легко и изящно — без малейшего нажима — показывает нам эту логику в действии.

При этом все события — и сюжетные, и фабульные — покоятся на прочном фундаменте достоверности. Войнович очень заботится о том, чтобы система аргументов была выстроена четко и видимо. Все события и поступки он мотивирует старательно и аккуратно, словно хлебные крошки со стола в ладонь собирает и боится просыпать. Он не делает вид, что его герои существуют сами по себе, без его участия: он присутствует не только откровенно стилизованной под лубок интонацией, не только текстом от собственного своего лица, но и явственно слышимым смехом, нескрытой иронией, определенно выступающим авторским отношением к происходящему.

Характер повествования — мирный, ненапряженный, прилежно-естественный. Каждая глава округло завершена, каждый переход из одного места действия в другое — как легкий перескок ручья через порог, кончающийся новой успокоенной гладью. А ткань, фактура, плоть прозы — движение как таковое. Материализованное и пойманное в силки обнаженной буквальности, оно обеспечивает комический эффект. Так смешит нас стремление ребенка исходить в определении предмета не из качеств или состояния его, а из своих собственных с ним взаимоотношений. Отсюда появляются, например, «кусарики» вместо «сухарики»: ребенку ничего не говорит «сухой хлеб», а смысл весь для него в том, что это надо кусать и что оно само колется-кусается и хрустит-кусается. Волшебство сути переносится с нежи-

вого предмета на действие, обручается с ним и создает стойкую структуру, ощущаемую все же как нечто подвижное, обманчивое, текучее — непрерывную и неизвестно из какого источника пополняемую свежесть, и мы ждем любых неожиданностей от самых знакомых вещей. А привычные понятия, с которых сдернут покров неприкосновенности, обнажают набитое опилками нутро.

Вынесение источника зла в над-действие (ибо никто из отрицательных персонажей таковым не является, в том числе и Гладышев, и Сталин: они только бациллоносители), существование его как фатума и как тайного приводного ремня событий, тоже служит у Войновича усилению комического эффекта. Чонкин — споря с теориями Гладышева, или уговаривая председателя выделить фронт полевых работ его здоровенным и любящим пожрать пленникам, или — еще раньше — оказывая им вооруженное сопротивление, или воюя против целого полка — на самом деле держит на мушке Правила Игры, и оттого никакой враждебности лично к этим людям, внезапно ставшим его врагами, не испытывает. Только он не подозревает о настоящем значении своих поступков — отсюда их комизм, хотя в собственном смысле они героические. Но Чонкин и о лаврах героя не помышляет, он руководствуется только и просто — здравым смыслом, не понимая ни того, что он герой, ни того, что по нормам его страны он совершает самое тяжкое государственное преступление, демонстрируя неадекватность этих норм здравому смыслу. Вот оно, любимое словечко наших психиатров! Ясно, как Божий день, что Чонкин подлежит немедленной изоляции в психиатрической больнице — да подольше, да подальше, пока не станет адекватным взбесившимся словесным фикциям.

Я позволю себе истолковать заданный автором жанр — роман-анекдот — как комедию несо-

местимости (между человеческой природой и природой идей, между человеческой сущью и предлагаемой ему формой существования, между содержанием и формой понятий, между словом и делом).

Если сопоставить «Приключения Чонкина» с близкой по теме поэмой Твардовского «Теркин на том свете» (созвучие фамилий кажется здесь не случайным, а взятым в контрапункт), то последняя сильно проигрывает по своей легковесности. В ней есть только констатация любопытных фактов, но нет и намека на попытку исследования причин и следствий. Она не без яда, но яд — несколько перестоявшийся, несмертельный: не тяжелое ранение, а укол. В этом смысле она напоминает репертуар наших конференсье-сатириков. У Твардовского Теркин — не без фальшивки: идеальный герой, тот самый отличник боевой и политической подготовки, только карьеру почему-то не делает (скорей всего — автор не дает: если Вася Теркин перестанет быть простым солдатом, то и смысл его иссякнет). В книге Войновича есть два персонажа, сходных характерами с Теркиным, — и в настоящей своей роли, если условием ставить исключение карьеристских устремлений: любитель круто пошутить солдат Самушкин и его деревенский двойник Федька Плечевой.

Войнович своей комедией несовместимости совершенно исключил возможность принимать советскую власть всерьез. Да сама она, к сожалению, принимает себя настолько всерьез, что сейчас, когда пишутся эти строки, есть все основания опасаться за судьбу Владимира Войновича. В своем открытом письме на имя председателя КГБ Андропова, где обнародованы подробности последней — майской — провокации КГБ, Войнович писал: «Я не боюсь угроз, Юрий Владимирович, за меня отомстит солдат Чонкин. В своих драчных обмотках он уже пошел по свету, и вашим инкассаторам его не победить».

Наша почта

ПО СЛЕДАМ ОДНОЙ ВСТРЕЧИ

Многоуважаемый Владимир Емельянович!

Недавно мы с Вами встретились в Риме и долго разговаривали, стараясь выяснить наши общие точки зрения и наши разногласия. Тогда Вы мне предложили опубликовать в «Континенте» даже самую острую критику, ибо такая критика могла бы принести пользу и повести к взаимному уяснению наших точек зрения и к углублению проблем, которые нас более всего интересуют.

Когда я прочитал во втором номере «Континента» ответ Александра Солженицына на критику Сахаровым известного «Письма вождям», мне пришло в голову, что возразив критически на этот ответ, мне, может быть, удалось бы выразить, по крайней мере частично, некоторые противоположные тезисы, касающиеся, как я думаю, не только одного этого документа, но и общей позиции определенного круга советских инакомыслящих, к которому, по правде говоря, я думаю, принадлежите и Вы, Владимир Емельянович.

Как я уже говорил Вам в Риме, меня — и не только меня — более всего беспокоит и огорчает трудность начать диалог между двумя крылами — так сказать, левым и правым — критиков советской модели социализма, диалог, который, я думаю, был бы очень полезен для обеих сторон. Вообще,

Главный редактор «Континента», Владимир Максимов, встретился с профессором-славистом Дж. Пачини, примыкающим к коммунистической группе «Манифест».

сегодня обе стороны обвиняют друг друга в трудностях такого диалога.

Конечно, нельзя отрицать, что европейские левые вообще относились глухо к проблемам социалистических режимов и не достаточно понимали их, тем не менее самая характерная черта в ответе Солженицына Сахарову, по-моему, это очевидный отказ от диалога и желание только повторять свои собственные мнения, как окончательные и неизменные, при явной конфронтации с чужими мнениями.

Оставляя в стороне обвинение, которое Солженицын бросает в адрес «западной критики», когда пишет, что она даже не прочитала его «Письмо», обвинение, которое, на мой взгляд, содержит этот самый отказ от диалога, но которое трудно опровергнуть из-за его общего и крайнего характера, я буду сразу говорить лишь о том, что сам Солженицын считает главным пунктом расхождения между ним и Сахаровым, то есть: до какой степени важна «Идеология» в Советском Союзе?

В своем ответе Сахарову Солженицын долго уговаривает нас, что Идеология играет очень важную роль в СССР и, следовательно, Сахаров неоправданно считает ее — Идеологию — только выгодным фасадом для утверждения неограниченной власти вождей. По-моему, совершенно очевидно, что Солженицын не понимает — или не хочет понять, — что идеология, о которой он говорит, и идеология, о которой говорит Сахаров, не имеют ничего общего между собой. В основе разногласия между ними лежит тот факт, что Идеология советской модели социализма, по мнению Солженицына, совпадает с марксизмом, а по мнению Сахарова, она является только маскировкой и искажением истинного марксизма. Это, по-моему, и есть главный пункт, который нужно глубоко изучить, чтобы

найти общий язык для плодотворного взаимного обмена мыслей.

Кроме западных левых, уже и Рой Медведев обвинил Солженицына в недостаточном знании марксизма, заметив, что приписывать марксизму все вины и ужасы сталинизма, может быть, демагогически и действительно, но совершенно бесполезно для положительной разработки проблемы.

Плодотворная дискуссия должна поэтому начинаться с вопроса о марксизме и, я думаю, это, наверное, понимает и сам Солженицын, который не может игнорировать тот факт, что у западной мысли есть солидные аргументы, чтобы считать марксизм конечным этапом интеллектуального развития, которое берет начало от самого христианства, проходит через просветительство, идеалистическую философию, классическую политическую экономию и все главные компоненты современной мысли и представляет синтез, который многим кажется самым богатым для сегодняшней мысли и вообще для сегодняшнего человека. Мне кажется совершенно ясным — и так должно бы казаться самому Солженицыну, — что до тех пор, пока отказываются считаться с истинной марксистской мыслью и остаются на поверхности, подменяя серьезный разговор демагогическими выпадами против марксизма, любой диалог с самой живой частью социальной современной мысли становится автоматически невозможным.

Второй, и по-моему основной, пункт разногласия между Сахаровым и Солженицыным (о других не говорю, чтобы не слишком растягивать письмо) — это вопрос демократии, которая является для Сахарова необходимым условием настоящего развития советских народов, как и любого народа. Для Солженицына же наоборот: ввести демократию в СССР — значит, идти на ненужный риск, которого следует избегать, потому что демократия

несовместима с русской традицией и совсем не оправдала себя в 1917 году в России. Он даже считает, что демократия вообще является системой управления, не представляющей достаточных гарантий гармонического развития народов и находящейся на самой грани краха в Европе; причина этого — по Солженицыну — в том, что она — эта демократия — социально эквивалентна имманентной и безрелигиозной мысли, которая сегодня терпит поражение всюду.

По этому поводу я бы хотел спросить Солженицына: понимает ли он, что таким образом он исключает все возможности начать диалог со всем живым в модерной и современной мысли и выступает не только против какой-то определенной формы демократического управления, а вообще против демократии, как права народа и человека управлять своей судьбой? Предпочитая демократии доброжелательный авторитаризм, он не понимает, что последний не в состоянии предоставить никакой гарантии «доброжелательности» и в любом случае приводит к угнетению, когда оказывается перед необходимостью поддерживать интересы каких-либо слоев населения в ущерб интересам других слоев.

Мне кажется, что Солженицын, отвергая диалог (возможно, из боязни, что его идеи не выдержат «боя» с идеями его «противников»), преграждает себе возможность — и это можно сказать тоже о его единомышленниках — внести положительный вклад в актуальную дискуссию о советской модели социализма, очевидно вредя таким образом самому делу, которое ему так по сердцу.

Я буду очень признателен, если Вы найдете возможным опубликовать это мое письмо в «Континенте».

С искренним уважением, Ваш

Джанлоренцо П а ч и н и

Дорогой Господин Пачини!

Получил Ваше письмо, которое (вместе с моим ответом) мы непременно опубликуем в очередном, 5-м, номере «Континента».

Заранее скажу, что в системе Ваших доказательств есть целый ряд слабых мест, которые легко опровергаются.

1. В своем интервью в мае 1973 (выдержки из него Вы можете прочитать даже в «Литературной газете» в статье некоего Корнилова из ТАСС) Андрей Сахаров прямо и недвусмысленно отмежевывался от социализма как доктрины вообще. Так что противопоставление Сахарова Солженицыну в этом смысле весьма несостоятельно и выглядит искусственной натяжкой.

2. Солженицын н и г д е и н и к о г д а не являл себя противником демократии как таковой. Он лишь считает, что в переходном к ней периоде народы нашей страны, напрочь отученные за шестьдесят лет от всяких навыков демократической жизни, должны будут пройти через промежуточную форму общественного существования. В данном случае — форму (пользуясь Вашей терминологией) доброжелательной автократии. Но и эта программа для него не рецепт, а только гипотеза.

3. При нашей встрече я заявил Вам о п р и н ц и п и а л ь н о й позиции «Континента»: вести диалог со всеми, кто хочет его с нами вести. Но согласитесь (Вы же ученый и убежденный позитивист!), что разговаривать с людьми, у которых, по Вашим собственным словам, «есть солидные аргументы, чтобы считать марксизм к о н е ч н ы м этапом интеллектуального развития», — это все равно, что дискутировать со знахарями, магами или паранормиками с уклоном в манию величия. Здесь-то и таится главный порок не только Вашей позиции, но и марксизма вообще: считать себя истиной в последней инстанции. Отсюда всё: непримиримость к

инакомыслию, применение запрещенных средств в политической борьбе, а затем, после победы, как естественное следствие — диктатура и концлагеря. Именно поэтому ни одна из форм социализма, будь то советская, китайская, кубинская или португальская (как известно, генерал Карвальо, начальник госбезопасности новой социалистической Португалии, во всеуслышание заявил, что революции надо начинать не с цветов, а с расстрелов инакомыслящих на стадионах), еще не показала нам ни одного примера политической терпимости или духовного плюрализма. Люди, считающие, что нашли окончательную истину, приходя к власти, неизбежно становятся палачами. И до чего же, дорогой господин Пачини, должен не уважать себя и других человек, считающий, будто историю земли можно увенчать какой-либо политической или экономической доктриной! Уверовать в такую нелепицу — означает повернуть ее, эту историю, вспять — к каменному веку, к растительному существованию, к обезьяне. И неважно, чем в конце концов будет вооружена эта обезьяна — палкой или самой утонченной кибернетической техникой.

Могу проиллюстрировать свои доводы опытом из наших с Вами взаимоотношений. Во время встречи в Риме Вы упрекали меня в том, что я дал интервью газете «Темпо». Генрих Бёлль, в свою очередь, сетовал на меня за то, что я (кстати сказать, будучи убежденным христианином и демократом) встречаюсь с членами фракции ХДС-ХСС и представителями их печати. Но никогда, нигде (а мне пришлось изъездить чуть ли не половину света) ни один так называемый консервативный деятель или журналист даже намеком не поставил мне в вину мои интервью левой прессе и мои встречи с левыми, а зачастую крайне левыми кругами.

Исходя из этого, дорогой господин Пачини, я

хотел бы спросить у Вас: так какая же из этих двух противоборствующих сторон стоит сегодня за политический и духовный плюрализм?

Теперь немного о терминологии. Люди типа Солженицына, Синявского, Некрасова, Галича и Сахарова по праву считались и продолжают считаться в России лидерами л е в о й оппозиции, потому что боролись и борются за духовную свободу и представительную демократию. Причем борьба эта, в отличие от борьбы левых на Западе, происходит не в уютных кафе и не с помощью абсолютно свободных и комфортабельно обставленных манифестаций, а в условиях жесточайшего террора и репрессий. Стоит только напомнить, что за свою деятельность большинство современных русских интеллектуалов платились и платятся смертью, каторгой, изгнанием. Если бы Вы знали, дорогой господин Пачини, с какой брезгливостью, с каким презрением произносит сегодня русский интеллект уал имена Шолохова, Кочетова, Грибачева, Софронова, а ведь всё это писатели; ф а н а т и ч е с к и преданные делу социализма, коммунизма, марксизма. И подобная реакция не имеет никакого отношения к сталинизму. Современные интеллектуалы России давно изжили в себе детскую болезнь борьбы с «культом личности». Реакция эта вызвана полным неприятием доктрины вообще. И мне, честно говоря, грустно, что архаическая теория, над которой у нас в стране смеются даже школьники, считается в среде образованного Запада «конечным этапом интеллектуального развития».

У Вас же здесь всё наоборот: те, кто за демократию и свободу — реакционеры и фашисты, а те, кто за диктатуру одного класса, за уничтожение личности в пользу коллектива, за террор против инакомыслящих (вспомните, например, недавние выборы в Миланском университете), величают се-

бя авангардом прогресса и цветом современной модерной мысли.

По этой причине и происходит то непонимание между изгнанниками из СССР и западными интеллектуалами, о котором Вы с такой горечью говорили во время нашей беседы. Но за ними — этими интеллектуалами — только теоретические построения, а за нами горький опыт миллионов и миллионов людей России и Восточной Европы, а опыт, как известно, убедительнее теории.

В ближайшем обозримом будущем (у нас есть веские основания для того, чтобы это утверждать) народы России и Восточной Европы сбросят с себя кровавое иго никем не избранных диктаторов и тогда все встанет на места. Слова обретут своё истинное значение. И белое назовут белым, а черное — черным. И я уверен, что на Суде Народов именно таких, как Александр Солженицын, назовут знаменосцами демократии и революционерами, а сторонники бессмысленной и суеверной догмы о мессианстве одного класса предстанут перед всем миром как мракобесы, реакционеры, душители свободы даже того самого класса, о котором они, на первый взгляд, так сильно теперь пекутся.

Простите, дорогой господин Пачини, но я плачу Вам откровенностью за откровенность!

Веря в Человека и его Божественное назначение, я и мои единомышленники из России категорически отказываемся согласиться с доктриной, провозглашающей себя «конечным этапом интеллектуального развития», откуда бы она, эта доктрина, ни исходила.

Если же это действительно так и чья-то очередная философская блажь восторжествует над свободным разумом, то человеческая история должна совершенно естественно завершиться всеобщим рабством Орвелловского толка.

Но я и мои друзья-единомышленники твердо убеждены, что этого не случится, и свободный от духовных и политических суеверий Человек в конце концов победит мертвую рутину всех и всяческих политических догм.

С искренним уважением, Ваш

Владимир М а к с и м о в

6 июля 75 г.

Вниманию авторов «Континента!»

АНКЕТА «КОНТИНЕНТА»

- 1. Ваше отношение к современной литературе?*
- 2. Влияние классиков на Ваше творчество?*
- 3. Ваш взгляд на задачи искусства и литературы вообще?*
- 4. В какой степени, по Вашему мнению, культура влияет на исторический процесс?*
- 5. Какова, на Ваш взгляд, роль религиозного мировоззрения в литературе?*
- 6. Ваши любимые или близкие Вам по духу писатели?*
- 7. Ваше отношение к Западу?*
- 8. Ваше отношение к России и Восточной Европе?*
- 9. Ваши литературные планы?*

Редакция намеревается регулярно публиковать наиболее содержательные ответы на предлагаемые темы.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ТРОГАТЕЛЬНОЕ ЕДИНОДУШИЕ

Еще задолго до выхода в свет нашего журнала вокруг него разгорелась, хотя и противоречивая, но весьма бурная полемика. Об этой полемике достаточно подробно писалось в мировой прессе, поэтому сейчас нам нет необходимости возвращаться к ней вновь.

Куда больший, на наш взгляд, интерес представляет реакция на уже вышедшие в свет номера. Наряду с самыми сочувственными и теплыми отзывами по ту и другую сторону железного занавеса (часть из них мы приводили в четвертом номере «Континента»), в печати появилось множество критических, а то и просто отрицательных оценок нового издательского детища.

Теперь, спустя год, можно, не боясь впасть в крайность, подразделить наших ожесточенных

критиков на три отчетливо выраженные категории.

1. ТАСС, АПН, газеты, Радио СССР и Восточной Европы, зарубежные листки, издаваемые в разных странах советскими посольствами.

2. Западные «левые»: «Франкфуртер рундшау», «Нувель обсерватор», «Шпигель», «Форвертс», «Цайт».

3. Крайние русские монархисты и националисты: «Знамя России», «Свободное слово карпатской Руси», «Часовой» и ряд других помельче и уже совсем неопознанной до сих пор ориентации.

Таких примеров множество, но на наш взгляд хватит и этого.

О содержании их критики красноречиво свидетельствуют некоторые заголовки, взятые наугад из этих публикаций: «Солженицын предаёт русскую землю», «Андрей Синявский — Абрам Терц», «Солженицын надругива-

ется над народом», «Иван не помнящий родства» (о Солженицыне же), «Диссиденты не представляют России» (монархическая «Знамя России»); «В упряжке дьявола» (социал-демократический «Форвертс»); «Король-то совсем голый» («Свободное слово карпатской Руси»); «Издание антисоветского журнала в Англии» (Московское радио); «На службе у Шпрингера» («Борба» — орган компартии Югославии); «На службе у империалистических разведок» (АПН — Москва); «Солженицын разоблачил и дискредитировал лишь самого себя» («Советская Россия» — Москва) и, как говорится, и так далее и тому подобное.

Воин «Часовой» идет еще дальше, недвусмысленно давая понять, что «Континент» — естественное продолжение печально известных операций советской госбезопасности, вроде «Треста» или похищения генералов Кутепова и Миллера. При

этом вышеозначенный листок не упускает случая завистливо вздохнуть о «золотых каплях», якобы обильно ниспадающих на вновь прибывших диссидентов.

Спешим успокоить незадачливых публицистов, тоскующих по «золотому дождю» из таинственных источников: если под этим самым злополучным «дождем» имеется в виду скромный аванс, выданный нам на взаимовыгодных условиях западногерманским издательством Ульштайн, то аванс этот нами уже покрыт и в настоящее время журнал выходит на свои собственные средства!

Но, говоря всерьез, мы хотели бы заметить в заключение, что при всей, казалось бы, полярной политической разнице наших противников, в их позиции явственно проступает одно стержневое качество: животная ненависть ко всему, кто мыслит, живет и действует не так, как они, ко всем, кто отвергает закостенелый

мир их, отживших свой век убогих догм и концепций.

Именно поэтому они так дружно сливаются сейчас

в чернильном экстазе инсинуаций и лжи против «Континента».

Действительно, трогательное единодушие.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Яков Бергер АНГЛИЙСКИЕ И ДРУГИЕ ПОЭТЫ

Что такое поэзия? Быть может, в первую очередь, способность видеть мир иными глазами, чем видят его простые смертные, чем видят его прозаики.

Начиная с 1962 года поэт Яков Бергер печатается в нью-йоркском «Новом журнале». За последние семь или восемь лет вышли пять сборников его стихотворений: «Весна в Ч.» (1966), «Ксантиппа вечности» (1968), «Что чудо жизни» (1971), «Поэты Востока и Запада» (1973) и, наконец, в самом конце прошлого года «Английские и другие поэты» (1974). Родившийся в Тель-Авиве в 1926 году, Яков Бергер жил с 1930 по 1956 год в Советском Союзе — в Москве, в Сибири и на Дальнем Востоке. Затем, в эмиграции — Израиль, Соединенные Штаты, Англия. Первые три сборника свидетельствуют о попытках автора найти новую, незнакомую нам музыку стиха. Он смело идет по еще неведаным или мало исследован-

ным в русской поэзии тропам экспериментирования, порою уводящим в темные (для рационального понимания) дебри, а порою приводящим к полным юмора и свежести словесным находкам. Яков Бергер по духу своему — пионер, открыватель новых земель, новых материков поэзии. Быть может, не все его экспедиции завершаются успехом, но он не боится риска и в этом его достоинство.

Последние два сборника Якова Бергера — в отличие от трех первых — всецело состоят из переводов. Обращаясь к творчеству поэтов разных культур и разных эпох, Яков Бергер не только обогащает свой внутренний мир, он как бы находит самого себя. А русского читателя он впервые знакомит со многими современными поэтами Запада (такими, как Иейотс, Элиот, Паунд, Каммингс, Оден, Спендер), которых в Советском Союзе огульно зачисляли в разряд «декадентов» и «модернистов» и почти не переводят.

«Я не знаю, буду ли я в Лондоне», — писал Яков

Бергер в первом своем сборнике (1966), не подозревая о том, что судьба забросит его в Великобританию, где ему суждено будет прожить много лет. С точки зрения творческой, выпавший на долю поэта жребий оказался благодатным. В то время как в своем сборнике «Поэты Востока и Запада» он пытался объять необъятное, от Омара Хайяма до Аллена Гинсберга, в новом своем сборнике «Английские и другие поэты» он сосредоточивает свое внимание на неисчерпаемом поэтическом богатстве именно английской культуры, с которой ему привелось познакомиться ближе, чем с какой-либо другой. Эмиграция имеет не только теневые стороны, она имеет и свои преимущества. Особенно же тогда, когда — как в случае Якова Бергера — поэт или писатель стремится приобщиться к новой культуре, постичь все тонкости откровенно чуждого языка.

В сборнике «Английские и другие поэты» мы находим, к нашему удовольствию, не только хорошо знакомых нам по старым переводам Блейка, Мильтона, Бернса, Байрона, Китса, Шекспира (хочется обратить внимание на прекрасно переведенный на

русский язык 130-й его сонет: «От солнца очи далеки любимой...»), но также и Одена, и Джона Уэйна, и Дилана Томаса, и Элиота. Именно у них находит Яков Бергер новую, незнакомую нам до сих пор, музыку стиха. Именно ею, этой музыкой стиха, поразят слух русского читателя такие самобытные стихотворения, как «Определение любви» Одена или «Гиппопотам» Элиота.

Издание автора,
Лондон, 1974, 48 стр.

СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА ЗЁРНОВЫХ

т. I На переломе. Три поколения одной московской семьи (1812 - 1921)

т. II За рубежом. Белград—Париж—Оксфорд (1921 - 1972)

Эта большая (два толстых тома) книга не принадлежит ни к одному из известных нам литературных жанров. Поэтому и судить о ее чисто литературных достоинствах — почти невозможно. Просто случилось так, что Николай Михайлович Зёрнов, еще юношей покинувший Россию (и позже ставший известным историком Православия), решил собрать рассказы

своей семьи о том, что было с ними в тот или иной период их скитальческой жизни, о том, что они помнят о своих родичах, предках, старших современниках, о том, что они думают о своих нынешних пристанищах и окружающих их людях.

И сколь прихотлива была судьба этих людей! Кавказ, Константинополь, Югославия, Франция, Англия, оккупация, Сопротивление... Не слишком ли тесно мешалась история с географией за последние шестьдесят лет? Не слишком ли разрушительным для целостности личности был страшный социальный динамизм этого периода?

Но было одно свойство у этих людей (у авторов рассказов), которое держало их в жизненном калейдоскопе, оставляя их равными и верными самим себе (а есть ли в этом мире другая верность?). Это — их постоянная религиозность. И именно отсюда — удивительная доброта в оценках других, и чуждых им людей. Тем-то, думается, и замечательна книга Зёрновых, что они не судят. Даже заклятых врагов и то — не судят.

И через оба тома, написанные столь разными людьми, проходит основная

личная тема, тема жизни создателя этой книги, человека большого духовного благородства и понимания — Николая Михайловича Зёрнова.

Изд-во YMCA-PRESS

т. I 1970, 480 стр.,
цена 2.50 фунта

т. II 1973, 561 стр.,
цена 3.50 фунта

Т. Лопухина -

Родзянко

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ТВОРЧЕСТВА СОЛЖЕНИЦЫНА

Написанная на основе докторской диссертации автора, книга Т. Лопухиной-Родзянко — ценный вклад в немалую уже литературу о творчестве А. И. Солженицына. Просто и ясно, без претенциозных украшений или потуг на оригинальность, в ней, вполне согласно заглавию, приведены в систему и изложены этические взгляды Солженицына, которые и определяют как традиционно христианские.

Вступление в книгу — «Роль художника в современности. Солженицын возрождает средневековые духовные ценности. Передает эти ценности через

свои художественные произведения».

Глава I — «Праведники».

Глава II — «Совесьть».

Глава III — «Зачем переносить испытания?» и

Заключение — «Солженицын как художник предостерегает человечество от трагических последствий предательства людьми Вечной Справедливости».

В легком, общедоступном изложении читатель найдет в книге Т. Лопухиной-Родзянко краткий итог большой академической работы, результат вдумчивого изучения произведений Солженицына, их анализа и оценки не в плане литературной критики или эстетического построения, но в плане раскрытия их духовного содержания.

Изд-во «Посев», 1974,
180 стр., цена 12.80 н. м.

ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЦИАЛ-ХРИСТИАНСКИЙ СОЮЗ ОСВОБОЖДЕНИЯ НАРОДА

Программа · Суд · В тюрьмах и лагерях

Составитель Джон Дэнлоп

С десятилетним опозданием мы можем прочесть,

наконец, почти полный текст политической программы («Народно-революционной хартии») разгромленного КГБ в 1967 году Всероссийского Социал-Христианского Союза Освобождения Народа (ВСХСОН). Уже одно это делает составленный Джоном Дэнлопом сборник политически интересным и важным изданием. Но сборник не только публикация известной до сих пор лишь понаслышке Программы ВСХСОН. Составитель присовокупил к ней еще раздел II — «Суд», — содержащий ряд материалов Самиздата о ВСХСОН (по большей части уже опубликованных за рубежом в «Посеве» и «Гранях») и текст приговора ленинградского городского суда по делу 17 членов ВСХСОН. (Текст приговора его основателям и руководителям, — Огурцову, Садо, Вагину и Аверичкину, — к сожалению, до сих пор неизвестен). А в разделе III — «В тюрьмах и лагерях» — мы находим все сообщения

«Хроники текущих событий» о членах ВСХСОН, касающиеся этого Союза отрывки из напечатанных в «Гранях» «Арестантских встреч» Петрова-Агатова, а в качестве послесловия — «Воспоминания участника» Б. Караватского и последние сведения о судьбе лидера социал-христиан Игоря Огурцова (от 21 июля 1974 г.).

Новое и поистине значительное в сборнике — это программа Социал-Христианского Союза, свидетельствующая о бесстрашии, цельности и последовательности политической мысли этой организации. В отличие от известной «Программы Демократического движения», как и от программных наметок Сахарова и Солженицына, это не проект того, что должно было бы быть в итоге вольного или невольного перерождения советской власти. В глазах вдохновителей социал-христианского направления, «вся история коммунистического господства представляет то скрытую, то открытую

войну между диктатурой бюрократов и народом» (стр. 40), «ее временное существование поддерживается исключительно обманом и насилием. Но нельзя обманывать вечно, и насилие будет низвергнуто силой» (стр. 54). Введение в «Программу» прямо говорит о «народной освободительной революции» и, подчеркивая, что «освобождение народов от коммунистического ига может быть достигнуто только вооруженной борьбой», требует «выработать революционную стратегию и тактику» (стр. 34). Не меньшее влияние, чем Бердяев и Джилас (как утверждает во введении к сборнику Дэнлоп), оказали на программу социал-христиан события 1956 года в Венгрии, которые они называют «первой победоносной народной революцией» (стр. 58) и готовы принять за образец и репетицию аналогичных событий в России.

Конструктивная часть «Программы», ответ на вопрос, какой строй должен занять место свергну-

той коммунистической власти и отвергнутого социализма, по свидетельству самой «Программы», подсказано именно венгерской революцией, в которой «общая воля отвергла как коммунистический путь, так и капитализм» (стр. 59). Как бы предваряя солженицынский призыв к нравственной революции, «Программа ВСХСОН» утверждает, что «революция совершается прежде всего в умах» (стр. 60), и конечной задачей своей деятельности ставит «христианизацию всей жизни общества» (стр. 62), в котором «взаимоотношения будут построены на всеобщей солидарности» (стр. 64). Как и у Солженицына, отношение социал-христиан к формальной демократии в ее теперешних формах — скептическое и сдержанное. Права человека и гражданина не только не умаляются, но вынесены в особый раздел «Программы»; государственная власть, однако, не должна становиться «призом для соперничающих по-

литических партий» (стр. 63), и в «Программе» ясно прослеживается тенденция переноса демократических начал с политических партий на «самоуправляющиеся персоналистические коллективы, организованные в национальные корпорации», посылающие своих депутатов в общегосударственное Народное Собрание. А кроме того, предусматривается и особый вид «блустительной» власти, призванной восполнить моральную нейтральность демократических форм; эта власть поручается Верховному Собору, составленному на одну треть из представителей Церкви, а на две трети — из избираемых пожизненно выдающихся представителей народа; этому Собору дается право вето с целью предупредить злоупотребления политической властью (стр. 74-75).

Вместе с тем «Программа» заявляет, что Всероссийский Социал-Христианский Союз Освобождения Народа «не относится враждебно к близким по духу, но имеющим свое-

образии программам, считая, что окончательный выбор должен совершиться после свержения коммунистической диктатуры» (стр. 61), иными словами, ВСХСОН безоговорочно признает основу основ демократии: право народа на выбор форм своего политического бытия.

Опубликование «Программы ВСХСОН», даже и через десять лет после ее создания, — важное политическое событие. Оно цельно и ярко показывает недооцененную (главным образом, очевидно, в силу ее подпольной скрытости) струю в русском освободительном движении, куда более радикальную, чем можно было заключить по доходившим до нас до сих пор сведениям.

В предисловии к сборнику составитель обещает выпустить еще в этом году «более полный очерк» на английском языке. Хорошо было бы выпустить его и по-русски!

Изд. ИМКА-ПРЕСС, 1975, 214 стр.

Николай Арсеньев О КРАСОТЕ В МИРЕ

(Сборник статей)

«Подбор статей в этой книжке случайный», — пишет в предисловии автор. В его глазах, эти статьи «связаны между собой лишь некоторой общностью тем, или вернее, общностью одной основной проблемы». Мы склонны выше оценить единство этого сборника. Нам кажется, что статьи в нем связаны гораздо тесней, и, прежде всего, самой личностью автора, его миропереживанием, ясным и чистым, несмотря на нелегкую, верно, судьбу политического эмигранта. Свет, от них исходящий, сродни (если так можно сказать о свете) свету ранних славянофилов, с их любовью к этому миру и к Божьей правде в нем... Но верность Арсеньева лучшим традициям русской дворянской культуры, его укорененность в ней — тема особая, тема оценки всего его творческого пути. Ей не место в краткой рецензии.

Сборник «О Красоте в мире» охватывает восемь статей: «О молчании», «Мистический фон в переживании Красоты», «Преображение Красоты в любви и творчестве Данте», «О лирической поэзии Шелли, Тютчева и Хуана де ла Крус», «Образы романтической Италии», «О лирическом стиле Пушкина», «Вода, горы, лес и поля», «Значение Красоты в наши дни».

Слово «Красота» Арсеньев пишет с большой буквы. Это не ошибка, ибо речь идет о той Красоте, которая, по слову Достоевского, «спасет мир». Центральная статья сборника — это «Мистический фон в переживании Красоты». Центральное понятие в ней — **прорыв**. Прорыв за пределы каждодневных сует мира сего, за пределы борьбы за все более богатое существование, за все большую пользу и целесообразность нашей деятельности, прорыв к утолению той жажды духа, которая не уто-

ляется в здешнем мире, но залогом и провозвестием утоления которой является нам Красота.

Книга «Красота в мире» написана в сущности о Боге и о подъеме к Нему по «лестнице Красоты». В ней рассказано о «диалоге любви» между изначальной Красотой и Полнотой бытия и пораженной уязвленной ею душой человека, о том, что «как лань жаждет потоков водных, так жаждет душа моя Тебя, о Боже!» (псалом 41).

Современной душе, нередко парализованной логикой научно-технического знания, книга Арсеньева как бы приткрывает вход в область другого не менее достоверного знания, в личную жизнь души и ее связь с Духом. Связь через Красоту с большой буквы, о которой мистики и поэты знают больше ученых.

Мадрид, 1974,
144 стр.

**TNE RULING ARCHBISHOP AND
DIOCESAN COUNCIL**

of North-American and Canadian Diocese
1841 Bathgate Ave., New York, N. Y. 10457

Редактору журнала «КОНТИНЕНТ», Мюнхен
М. Г.

Прошу не отказать поместить это сообщение в
Вашем уважаемом печатном органе.

Архиепископ Никон

**К СООРУЖЕНИЮ СВ. ВЛАДИМИРСКОГО
ХРАМА-ПАМЯТНИКА В ДЖАКСОНЕ, Н. Дж. США**

Св. Владимирское Общество выражает сердечную
благодарность русским людям во всех странах наше-
го рассеяния за быстрый и щедрый отклик денеж-
ными пожертвованиями на призыв Общества помочь
приобретению необходимого для Св. Владимирского
Храма-Памятника соседнего земельного участка в
10 акров. Благодаря поступившим пожертвованиям,
участок приобретен за 60 тыс. долларов с наличной
уплатой. Пожертвования поступили от многих лиц
и некоторых учреждений. Один русский воин из сво-
их трудовых сбережений пожертвовал 10 тыс. дол.
Он же два года тому назад на строительство того же
храма пожертвовал также 10 тыс. дол. Одно друже-
ственное церковное учреждение пожертвовало 5 тыс.
дол. Многие по 100 дол. и по несколько сотен дол.

с записью имен своих близких усопших и здравствующих на ежедневное поминовение в храме и многие меньшими суммами, вплоть до 1 дол. Отчет о всех пожертвованиях, после проверки его Ревизионной Комиссией, будет представлен Общему Собранию членов Св. Владимирского Общества и опубликован в печати. Для внутреннего оборудования и украшения храма Обществом заказан известному иконописцу священнику о. Димитрию Александрову величественный пятирусный иконостас в высоту почти до его верхнего свода и во всю ширину храма. Кроме того, предстоит роспись стен и оборудование храма утварью. Также на приобретенной земле необходимо построить приходский дом и дом для стариков. Для осуществления этого необходимы значительные средства. Между тем, после произведенных затрат осталась небольшая сумма денег, недостаточная для осуществления этих задач.

Св. Владимирский Храм-Памятник является памятником славного прошлого нашей родины — России и символом ее грядущего возрождения на несокрушимом Св. Владимирском фундаменте, и мы надеемся, что многие русские люди примут щедрое и дружное участие в этом святом деле.

Все пожертвования надлежит посылать по адресу:

St. Vladimir's Memorial Church, Box 18, R. D. 3, Jackson, N. J. 08527 U.S.A.

СОДЕРЖАНИЕ

Мера ответственности	5
Василий Гроссман — За правое дело	7
Александр Галич — Вечерние прогулки (Маленькая поэма)	41
Владимир Войнович — Происшествие в «Метрополе»	51
СТИХИ	
Владимир Корнилов	99
Геннадий Айги	106
РОССИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ	
Сергей Левицкий — Трагедия свободы — современный вариант	115
Анатолий Михайловский — «Национализм» и «интернационализм»	131
Михаил Агурский — Либерализм и радикализм как проявления социальной активности творческой интеллигенции в демократическом обществе	143
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Иван Кошеливец — Хроника украинского сопротивления	173
Димитар Бочев — Орфография и орфопоэс, или Всеобщая вина и анонимный виновник	200
Альгирдас Ландсбергис — Орвелл и Кафка все еще живы в Литве	207
Михайло Михайлов — Мистический опыт неволи	220

ЗАПАД — ВОСТОК

- Артур Кестлер** — «Мрак в полдень» 251
Карл-Густав Штрём — Опасения Китая по поводу советского нападения 273

РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

- Архиепископ Иоанн Сан-Францисский**
— Пневматология веры 285

ИСТОКИ

- Николас Бетелл** — Последняя тайна 299
Йозеф Смирковский — Неоконченный разговор 317

ПИСАТЕЛЬ О ПИСАТЕЛЕ

- Абрам Терц** — Люди и звери 367
Е. Эткинд — «Человеческая комедия» Александра Галича 405

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

- Виолетта Иверни** — Комедия несовместимости 427

НАША ПОЧТА

- По следам одной встречи** 455

- КОЛОНКА РЕДАКТОРА** 465

- КНИЖНЫЕ НОВИНКИ** 468



Континент

Ежеквартальный журнал, выходящий
на пяти языках:
русском, немецком, французском,
итальянском, английском

В журнале принимают участие:

**Раймон Арон, Иосиф Бродский, Александр Галич,
Ежи Гедройц, Густав Герлинг-Грудзинский, Игорь
Голомшток, Милован Джилас, Эжен Ионеско,
Лешек Колаковский, Роберт Конквест, Наум Кор-
жавин, Леопольд Лабедз, Виктор Некрасов, Лю-
дек Пахман, Андрей Сахаров, Андрей Синявский,
Александр Солженицын, Странник, Иозеф Чап-
ский, Зинаида Шаховская, Александр Шмеман,
Карл-Густав Штрём и другие авторы**

На страницах журнала современная
проза, поэзия, публицистика
авторов Восточной Европы

Главный редактор журнала
Владимир М а к с и м о в

Цена номера в розничной продаже - 12 нем. марок
Стоимость подписки на год - 40 нем. марок
Пересылка за счет подписчика

«Пользуясь правом нобелевского лауреата выдвигать кандидатов на Нобелевские премии и не имея возможности обратиться к нобелевскому комитету иначе, как посредством этой статьи в газете, — я прошу считать эти мои строки формальным выдвижением Андрея Дмитриевича Сахарова в кандидаты на присуждение Нобелевской премии мира 1973 года».

А. Солженицын

«В наше время, когда зло и насилие готовы праздновать свою победу над духом и над рассудком, мы обращаемся ко всем, кто имеет возможность это сделать, присудить Нобелевскую премию мира славному борцу за настоящую демократию, за права и достоинство человека, за подлинный, а не мнимый мир — академику Андрею Дмитриевичу Сахарову».

А. Галич, В. Максимов, И. Шафаревич

«Я поддерживаю кандидатуру академика Андрея Сахарова на Нобелевскую премию мира. Наша эпоха имеет в данном случае дело с редким и почти забытым традиционным типом русского человека, с типом «праведника». Сахаров напоминает нам о нашей ответственности и призывает к милосердию, не взирая на принадлежность к политическим партиям и на любые государственные границы».

А. Синявский